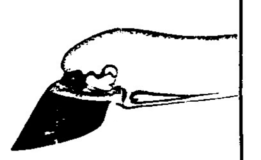
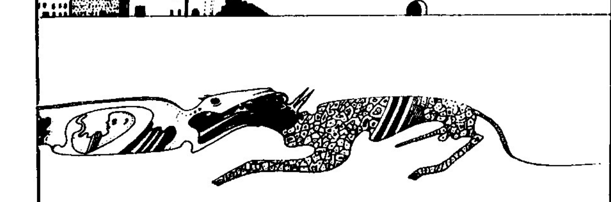
юрий мамлеев. живая смерть

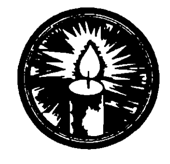




юрий мамлеев
живая смерть



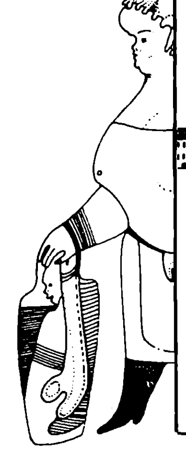




yury mamleev

a living death

a collection of stories

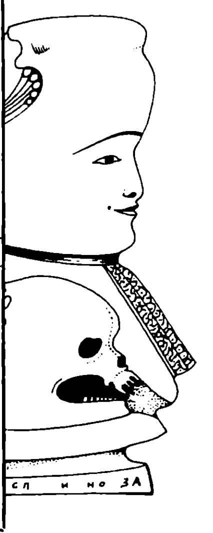


c.a.s.e./third wave publishing
paris - new york
1986

юрий мамлеев

живая смерть

сборник рассказов



издательство «третья волна»

париж—нью-йорк

1986

Редактор Джемма Квачевская
Художник Виталий Длуги
Обложка и иллюстрации Михаила Шемякина

PUBLISHER: C.A.S.E./Third Wave Publishing House

a project of
the Committee for the Absorption of Soviet Emigrees
C.A.S.E.
80 Grand Street, Jersey City, NJ 07302

ISBN: 0-937951-09-9
Library of Congress Catalog No. 86-25121



ранние рассказы

СЧАСТЬЕ

Деревушка Блюднево затерялась на окраине Подмосковья между запутанными шоссе, железной дорогой и заводскими городишками. Народец здесь живет богато, по-серьезному: в каждом доме пропасть еды, подушки, чарки и телевизор. Некоторые покупают даже толстые книги. Жизнь идет спокойная, размеренная, как мысли восточных деспотов. Иногда только для увеселения молодежь колотит кого попало или увлекается мотоциклами.

Все земные блага сошли на Блюднево, потому что обитателям, учитывая местную древнюю традицию, разрешено заниматься художественным промыслом: делать и продавать замысловатых деревянных бабок, лошадей, волков. Кроме того, есть возможность поворовывать.

Жизнь здесь настолько сыта и успокоена, что некоторые жители даже спят после обеда. Часа в два-три дня деревенька до того притихает, как будто весь народец уходит на время передохнуть на тот свет. Порой, правда, по улице прошмыгнет какой-нибудь козлик или ретивый мальчишка, играющий сам с собой.

Лишь у ветхого одинокого ларечка, где продаются конфеты, водка и сапоги, за низеньким, досчатым столиком, рядом с Божьей травкой, сидят за пивом непонятного приготовления двое дружков: один по прозвищу Михайло — толстый, здоровый мужик, необычайно любящий танцевать, особенно с малыми

детьми; другой: Гриша — лохматый мужчина, с очень отвислой, мамонтовой челюстью и маленькими печально-вопросительными глазками.

После очередного запоя они лечатся пивом, и выражение их лиц трезвое, смиренное.

— Что есть счастье? — вдруг громко спрашивает Гриша.

Михайло смотрит на него, и вся физиономия его расплывается, как от сна. Всего полчаса назад он, отобрав четырех малышей шестилетнего возраста, лихо отплясывал с ними в хороводе, покуда не упал, чуть не раздавив одного из них.

Не получив ответа, Гриша жадно макает свою кудрявую голову в пиво, потом нагибается к Михайле, хлопает его по колену и хрипло говорит:

— Слышь, браток... Почему ты счастлив... Скажи... Корову подарю...

Михайло важно снимает огромную Гришину ручищу с колен и отвечает: «Ты меня не трожь».

Гриша вздыхает.

— Ведь все вроде у меня есть, что у тебя... Корова, четыре бабы, хата с крышей, пчелы... Подумаю так: чево мне яще желать? Ничевошеньки. А автомобиля: ЗИЛ там или грузовик мне и задаром не нужно: тише едешь, дальше будешь... Все у меня есть, — заключает Гриша.

Михайло молчит, утонув в пиве.

— Только мелочное все это, что у меня есть, — продолжает Гриша. — Не по размерам, а просто так, по душе... Мелочное, потому что мысли у меня есть. Оттого и страшно.

— Иди ты, — отвечает Михайло.

— Тоскливо мне чего-то жить, Мишук, — бормочет Гриша, опустив свою квадратную челюсть на стол.

— А чево?

— Да так... Тяжело все... Люди везде, комары... Опять же ночи... Облака... Очень скушно мне вставать по утрам... Руки... Сердце...

— Плохое это, — мычит Михайло.

Напившись пива, он становится разговорчивей, но так и не поднимая полностью завесы над своей великой тайной — тайной счастья. Лишь жирное, прыщеватое лицо его сияет, как масляное солнышко.

— К бабе, к примеру, подход нужен, — поучает он, накрошив хлеба в рот. — Ты вот всех подряд дерешь... А баба, она не корова, хоть и пузо у нее мягкое... Ее с замыслом выбирать нужно... К примеру, у меня есть девки на все случаи: одна, с которой я сплю завсегда после грозы, другая лунная (при луне значит), с третьей — я только после баньки... Вот так.

Михайло совсем растаял от счастья и опять утонул в пиве.

— А меня все это не шевелит, — рассуждает Гриша. — Я и сам все это знаю.

— Счастье — это довольство... И чтоб никаких мыслей, — наконец проговаривается Михайло.

— Вот мыслей-то я и боюсь, — обрадовался Гриша. — Завсегда они у меня скачут. Удержу нет. И откуда только они появляются. Намедни совсем веселый был. Хотя и дочка кипятком обварилась. Шел себе просто по дороге, свистел. И увидал елочку, махонькую такую, облеванную... И так чего-то пужливо мне стало, пужливо... Или вот, когда просто мысль появляется... Все ничего, ничего, пусто и вдруг — бац! — мысль... Боязно очень. Особенно о себе боюсь думать.

— Ишь ты... О себе — оно иной раз бывает самое приятное думать, — скалится Михайло, поглаживая себя по животу.

В деревушке, как в лесу, не слышно не единого непристойного звука. Все спит. Лишь вдали, поводя бедрами, выходит посмотреть на тучки — упитанная дева, Тамарочка.

— В секту пойду, — бросив волосы на нос, произносит Гриша.

Михайло возмущается.

— Не по-научному так, — увещевает он. — Не по-научному. Ты в Москву поезжай. Или за границу. Там, говорят, профессора мозги кастрируют.

— Ух ты, — цепенеет Гриша.

— Ножами, — важничает Михайло. — В городах таких, как ты, много. У которых — мысли. Так им, по их прошению, почти все мозги вырезают. Профессора. Так, говорят, люди к этим профессорам валом валят. Очереди. Давка. Мордобой. Ты на всякий случай свинины прихвати. Для взятки.

— Ишь, до чего дошло, — мечтательно умиляется Гриша. — Прогресс.

— То-то. Это тебе не секта, — строго повторяет Михайло.

Гриша задумывается. Его глазки совсем растапливаются от

печали, и он вдруг начинает по-слоновьи подсюсюкивать что-то полублатное, полудетское.

— Все-таки нехорошо так, по-научному. Ножами, — говорит он. — Лучше в секту пойду. Благообразнее как-то. По-духовному.

Михайло махает рукой и отворачивается от него.

●

МАКРОМИР

Вася Жуткин — рабочий парень лет двадцати трех — был существо не то что веселое, но веселье которого имело всегда мрачную целенаправленность. Он, например, улыбался, когда шел к зубному врачу. Улыбался, когда у него вычитали из зарплаты. Обычное же его состояние — было подавленное.

Когда он пробегал по улицам, все принимали его за среднего расторопного человека. Между прочим, он почему-то не различал события своей внутренней жизни от домов, то и дело попадающихся ему в городе. Правда, больше всего он не любил огоньки, особенно ночные, дальние, тогда все сливалось для него в один ряд, и он забывал, где он родился, кто он такой, и что с ним было. Плясать же Вася Жуткин, напротив, любил. Плясал он на обыкновенном полу, всегда один, только для видимости вознося руки в воздух. Прогуливался же после пляски он, наоборот, в парах и всегда молчком, тогда как в пляске любил спеть.

Последние года три пальтецо он носил одно и то же, грязненько-коричневое, но понравившееся ему из-за сходства с цветом его волос.

Мать свою он забыл сразу, как только приехал в город на работы из подмосковной деревни; помнил он только огромный, отяжелевший зад одной старой коровы, который ему почему-то всегда хотелось подбросить. Вообще, надо сказать, что все тяжелое, особенно живое, Вася Жуткин не терпел. Поэтому больше всего на свете он боялся слонов. Один раз он даже сбежал из зоопарка в пивную, чтобы забыться..

Жил он в рабочем общежитии, и все почему-то считали его необычайно обычным человеком. Считалось, что он все время должен быть в пятнах.

Но действительность уже давно примелькалась ему. С ней, с действительностью, у Васи были самые холодные и странно-суровые отношения. Суровей даже, чем со своей любовницей, у которой он срезал на вечную память волосы с нижнего места и клал их около себя под левый кулак, когда, оглядываясь, обедал в шумной столовой.

К Богу у Васи было слегка шизофреническое отношение: не то, что бы он считал, что Бога не существует, но ему почему-то всегда хотелось плакать, когда он вспоминал о Боге.

Но как бы ни были банальны отношения Васи к отдельным элементам действительности, в целом к ней он относился причудливо, а, главное, — настороженно. Она казалась ему каким-то огромным блином, в котором стираются все грани. Ничтожное нередко превосходило великое. От этого Вася часто по-собачьи застывал, прислушиваясь в определенную сторону. Иногда ему казалось, что сквозь все предметы можно идти, как сквозь густой воздух и, таким образом, увязнуть в действительности, как в равномерном болоте.

Больше всего его смущало обилие людей. Они как бы вытягивали его из самого себя. Поэтому Вася часто пел.

Последнее время он взял привычку петь бегом.

Часто, поздним вечером, возвращаясь из магазина с краюхой хлеба под мышкой, он, одинокий, бежал по темным улицам, оглашая пространство зычным пением.

Казалось, сама темнота шарахалась от него в сторону.

Приноровился также Вася Жуткин к математике. Оттого и поступил в вечернюю школу, в седьмой класс.

Нравилась ему математика нелепостью внешнего вида своих формул.

«Ишь, закорючки какие, — думал Жуткин, — а зато, говорят, сила в них живет немалая».

Очень часто сравнивал он эти символы с живым, например, с собственными кишками.

Любовница от Васи под конец ушла. Остался только клок волос с нижнего места. Он по-прежнему клал его около левого кулака, когда садился есть в шумной столовой.

Всю субботу падал мокрый снег. Дальние огоньки города затерялись между хлопьями снега. Вася весь этот день бегал из стороны в сторону: то за колбасой скакал, то по переулкам песню пел, то кулаком на бегу махал. А в общежитии все время невозможно орал радиоприемник. В одних местах было очень светло, в других — слишком темно.

На следующий день, в воскресенье, Вася пошел в компанию. Это с ним бывало. Кроме него, там очутилось еще четыре человека — Миша, Петя, Саша и Гриша.

Еще не начали пить водку, как Васе захотелось выпрыгнуть в окно, с этажа. А этаж был десятый. Захотелось просто так, по-видимости, на спор, а, по существу, оттого, что он считал, что спрыгнуть что с десятого этажа, что с первого — все равно.

Миша стал отговаривать его, но очень сухо и формально, поэтому на Васю это не оказало никакого влияния. Петя же так заинтересовался спором, что забыл про красную икру. Саша просто заснул, когда услышал, в чем дело.

Вася с присущей ему практичностью одел на себя два пальто, чтобы смягчить удар, и деловито, но по-темному, встал на подоконник. Петя даже испугался, что проиграет пол-литра, и пошарил в рваных карманах.

Миша, по-прежнему, довольно механически, отговаривал Васю прыгать. Ухнув, Жуткин полетел вниз и, когда летел, то не понял разницы в своем положении; правда, ему захотелось раскрыть рот и изо всех сил гаркнуть на всю вселенную, чтобы заглушить всеобщее равнодушие.

И вдруг Вася увидел слона, который входил во двор и шел прямо к тому месту, куда он падал. Сердце его словно остановилось: больше всего на свете Васю озадачивали слоны...

Миша, Петя, Саша, посмотрев из окна на мертвого Васю, сели за стол. Но мы забыли про Гришу. Он спустился вниз, чтобы вызвать милиционера и прекратить это безобразие.

●

МИСТИК

Этот дворик расположен на окраине Москвы, на узенькой, деревянно-зеленой улочке, которая сама кажется маленьким, отрешенным городком. Изредка по ней пронесется Бог весть откуда и куда пыльный, громыхающий грузовик. На дворике, под серым, изрезанным ножами кленом, приютился тихий, уютно-грязненький уголочек с деревянным, покосившимся столом и скамейками.

Летним вечером, когда с нависающих крыш и чердаков двухэтажных дворовых домиков сыплется пение и визг котов, в уголочек тихо и достойно себе направляется Паша, здоровый, 40-летний мужчина с отвислым, как губы, животом.

Здесь, собрав народ, он, не торопясь, обстоятельно начинает свой длинный, смачный рассказ о загробной жизни, о том, как он побывал на том свете.

Слушать его приходят издалека, даже с соседских улиц. Некоторые приносят с собой миски с едой, платки, располагаясь прямо на траве. Одна грудастая женщина приходит сюда с годовалым ребенком на руках и, несмотря на то, что он вечно спит, всего поворачивает его лицом к рассказчику.

Рассказывает Паша обычно полуголый, в одной майке и штанах, так что видна его волосатая, щетинистая грудь; из кармана вечно торчит сухая вобла. Его ближайшие поклонники: два-три инвалида, сухонькая старушка в пионерском галстуке и угрюмый наблюдательный рабочий, цепочкой сидят около него, оттеснив остальных. Какой-то очень рациональный старичок в очках что-то записывает в кучки лохматых, комковидных бумаг.

И только перед самым началом из окна ближайшего дома появляется томная, худенькая фигурка Лидочки — местной, дворовой проститутки и самой первой почитательницы Пашиных загробных рассказов. У нее странное, забрызганное не то грязью, не то мочой, платье, томительные, точно ищущие Божество в небе глаза и пыльный, детский, из придорожных усталых ромашек венок на голове.

Паша оборачивает к ней свою грузную, отяжелевшую от дум голову и губами манит ее. Во весь плеск своих 19 лет Лидочка бежит к Паше.

Местные угрюмые, толстые, как лепешки, женщины уже привыкли к ней и, несмотря на то, что она гуляет с их мужьями, задушевно и глубоко любят ее. Любят потому, что мужья будут все равно изменять им или даже спать с собственной тенью, как длинный лопоухий мужик со второго этажа, а если бы не Лидочка и ее романы, женщинам не о чем было бы говорить длинными, пятнистыми вечерами. Ведь кроме загробных рассказов Паши, единственной отдушиной местных баб были их долгие, крикливые разговоры о похождениях Лидочки; эти разговоры чаще начинала та женщина, чей муж в данное время гулял с Лидочкой, и она обстоятельно, подробно, с увлечением рассказывала, сколько денег пропил ее муж с Лидкой, сколько кастрюль ей подарил, сколько гвоздей.

Это было очень интересно, поэтому женщины принимали Лидочку.

Лидочка пробиралась между скамеек и ложилась обычно на землю, у ног Паши, лицом к небу.

После проституции ее любимым занятием было глядеть на далекие облачка в небесах... Тогда Паша, откашлянув, начинал говорить, сначала, от стеснительности, себе в руку, а потом все громче и громче:

— Дело это было в аккурат под пятницу... По ошибке я попал на тот свет... Потом ошибку признали, и я вынырнул обратно.

В этот момент Паша острожно вынимал из штанов вяленую воблу и начинал ее понемножечку обнюхивать.

— Интереснейшая, я вам скажу, эта страна, загробный мир, — продолжал он. — Все там не так, как у нас. Сначала я было перепугался; как дите неразумное пищал, не зная, что делать... Плохо там, что со всех сторон, куда ни пойдешь, яма... Большая такая, как Млечный путь... С которого бока ни зайди, все по краю ходишь... Но потом ничего, попривык... Насчет баб там, девоньки, ни-ни... Потому что нечем... Все там вроде как бы воздушные. Но любить можно кого хочешь... Потому что любят там за разговорами... Если кто друг в дружку влюблен, то просто сидят и цельными временами разговаривают между собой всякую

всячину... Вот и вся любовь... И некоторые говорят, что лучше, чем у нас...

В этом месте обычно окружающие Пашу бабоньки, старушки охают и начинают причитать.

— Ужасти, — все время повторяет сухонькая старушка в пионерском галстуке.

— Если кто уж очень сильно втрескается, — оживляется Паша, — то на это пузырь есть... Из глаз любящих он отпочковывается и поглощает их в единый колобок. Но там они все равно в отдалении... По духовному... Только от остальных пузырей огорожены...

Вдруг глаза Паши заливаются звериной тоской, и он начинает поспешно кусать воблу.

— Ты что, Паша? — робко спрашивают его.

— Друга я там потерял, — пусто ворчит он в ответ. — Только во сне иногда мне является... Дело было так. Захотел я первым шагом, как туда попал, папаню с маманей разыскать. И деда. Но куды там! Людей видимо-невидимо! И не поймешь, не то светло, не то темень! Луны, солнышка и звезд — ничего нет. Только яма везде увлекает. Ну, вестимо, загрустил я, даже повеситься захотелось, бредешь, бредешь, и все по людям, и все мимо людей... А куда бредешь — не поймешь... Как среди рыб... Но тут подвернулся мне толстый, хороший мужчина. Ентим, вавилонянином оказался... А по профессии банщиком... Пять тысяч лет назад помер... Очень он мне чего-то обрадовался... Заскакал даже от радости... Отошли мы с ним куда-то вверх и завели разговоры. Рассказывал он мне, как помер; а помер он от цырюльника... Больно плох топор был для бритья, вот от етого дела он и скончался...

На дворе становилось тихо-тихо, как на собрании при объявлении крутых мер. И так продолжается час, полтора. Иногда только какая-нибудь старушка отгонит нахального мальчишку.

Наконец Паша кончает. Первой встает Лидочка. Ее глаза полны слез. Она поправляет венок у себя на голове и берет Пашу за руку.

Единственный, кому Лида отдается бесплатно, — Паша. И слезинки на Лидочкиных глазах — это маленькие хрусталики, прокладывающие путь к сердцам Паши и высших существ.

Когда все успокаиваются, Лидочка берет гитару и, усевшись на стол, поет блатные песни.

Наконец начинает темнеть. Первыми уходят Паша с Лидочкой.

Они идут в обнимку — безного переваливающийся пузатый мужчина и худенькая, стройная девочка в обмоченном платье. Паша иногда чешет свой зад.

Старушки смотрят им вслед. Им кажется, что над Лидиным венком из усталых ромашек пылает тихое, затаенное сияние.

— Святая, — часто говорят они про нее.

Лидочка любит Пашу и его рассказы. Правда, однажды она обокрала его на пустяковый денежно, но дорогой для Паши предмет: старую нелепую чашку, оставшуюся ему от деда. Но Лидочке так хотелось купить себе новые туфли, а не хватало нескольких рублей....

...Все наблюдают, как они исчезают в темной дыре подвала, исчезают, прижавшись друг к другу — как листья одного и того же дерева... Потом расходятся остальные.

●

ВИСЕЛЬНИК

Николай Савельич Ублюдов, впечатлительный, толстозадый мужчина с бегающе-замученным взглядом, решил повеситься. К этому решению он пришел после того, как жена отказала ему в четвертинке. Матерясь, расшвыривая тарелки и кастрюльки, он полез на стол, чтобы приделать петлю. Кончать в полном смысле этого слова он не хотел: цель была лишь припугнуть жену.

Закрепив веревку к своему воротнику, повернувшись лицом к двери и чуть запрятав ножки за самовар, он сделал видимость самоубийства, как бы повиснув над столом. Глазки свои Николай Савельич умиленно прикрыл, ручки сложил на животике и принялся мечтать. От жалости к себе он даже немножко помочился в штаны. Часто нервно вздрагивая и открывая глазки: а вдруг он на самом деле повесился?

Летний зной гудел в комнате, было очень жарко, и Николай Савельич иной раз приподнимал рубашку, дабы отереть пот с жирных боков. Ждать нужно было неопределенно: жена могла прийти из магазина вот-вот, могла и застрять часика на два-три. Николай Савельич, мысленно фыркая, иногда доставал из кармана брюк бутылку пивка, чтобы промочить горло. Под конец он немножко даже вздремнул.

Во время сна он особенно много обливался потом, и ему казалось, что это стекают с головы его мысли. И еще ему казалось, что у него, толстого и здорового мужчины, очень слабое и женственное сердце.

Очнулся Николай Савельич оттого, что ему взгрустнулось. Как раз в эту минуту, еле успел Николай Савельич замереть, в комнату всунулась физиономия соседа — Севрюгина.

Севрюгин был существо с очень грустным выражением челюсти и тупым взглядом. Первое, что пришло ему в голову, когда он увидел повешенного Ублюдова — надо красть. Он одним движением юркнул в комнату, прикрыл дверь и полез в шкаф. Вид же «мертвого» Ублюдова его не удивил. «Мало ли чего в жизни бывает», — подумал он.

Простыню и два пододеяльника Севрюгин запихал себе в штаны. «Не всякий знает, что у меня тощий зад», — уверенно промычал он про себя. Работал Севрюгин деловито, уверенно, как рубят дрова; раскидывал скатерти, рубашки, пробираясь своими огромными, железными ручищами к чему-нибудь маленькому, ценному. Изредка он матерился, но матерился здраво, обрывисто, без лишних слов.

Николай Савельич струхнул. «Лучше смолчу, а то прибьет, — подумал он. — Ишь какая он горилла и небось по ножу в кармане». Все происходящее показалось ему кошмаром.

«Хотел повеситься, а вон-те куда зашло, — опасливо размышлял он, осторожно переминаясь с ноги на ногу. — Только бы по заду ножом не тяпнул и убирался бы поскорей, придурошный... Как хорошо все-таки, что я не повесился, — умилился Николай Савельич. — Ишь сердце екает... Хорошо... Сейчас бы четвертинку». В это время Севрюгин, набив себя барахлом, подошел к Ублюдову. «Небось, уже гниеть», — тупо подумал он, оскалив зубы. Ублюдов притих и боялся задрожать. Обычно грязно-тупые глаза Севрюгина искрились тяжелым весельем. Он

осматривал Николая Савельича. «Ишь, пивко!» — вдруг гаркнул Севрюгин. И, не зная сомнений, схватил высовывающуюся из кармана Ублюдова бутылку.

Но тут Николай Савельич не выдержал. Инстинктивно он лягнул ногой врага... Что тут поднялось! От страха, что он съездил по Севрюгину, Ублюдов дико завизжал и рванулся, чтоб спрятаться. Оборвалась ненадежная веревка. Севрюгин же ахнул и поднял руки вверх.

— Помилуй, Николай Савельич, не казни! — заорал он.

Ублюдов между тем упал на пол, желая улизнуть, полез сам не зная куда. «Только бы тело мое жирное не унес, — вертелось у него в голове. — А с простынями, черт с ними».

На гвалт сбежались соседи. От страха и от желания исчезнуть Севрюгин совсем обомлел.

— Швыряются! — кричал он, размахивая большими руками. — Пужают... Симулянт!.. По морде бьет... Вешается.

Ублюдов же, неуклюже застрявший где-то под стулом, хрипло кричал:

— Не матерись... Людоед... Хайло... Ножи-то куда запрятал?!

Очень маленькая, задумчивая старушонка вдруг понеслась бегом из комнаты. Через минуту она вернулась с чайником и, уютно усевшись на кроватке, подпершись, стала пить чай вприкуску.

Особенно поразила всех нависшая с потолка веревка с оборванной рубахой. Какой-то физик высказал предположение, что это, дескать, массовая галлюцинация. Ему чуть не набили морду. Воспользовавшись криком, Севрюгин распихивал по комоду простыни. Обомлевший Ублюдов попросил у старушки чайку.

Между тем вернулась жена Ублюдова.

— Засудят твово мужика, засудят, — орала на него толстая соседка. — Будешь целый год без палки ходить... Ишь, шуму наделал!

— К психиватру ево, к психиватру, — галдели вокруг.

— Пошли вон. Я сам себе психиатр! — гаркнул Ублюдов.

Ему стало страшно жаль себя, и он чуть не расплакался. Его утешило только то, что огромный живот его был такой же довольный, как и прежде.

Ублюдова присудили — условно — к одному году исправительно-трудовых работ за нарушение общественного порядка и хулиганство. Но только жене он открыл свою душу.

— Врешь ты все, обормот, — ответила она ему. — Так я и поверила, что ты из-за четвертинки... Цельные десять лет пил... И вдруг... На девок, небось, заглядываться стал, дубина... Оттого и в петлю.

●

ДУШЕВНОБОЛЬНЫЕ БУДУЩЕГО

В кабинете психиатрической клиники 500 года от нашего с вами рождения, читатель, стоял довольно полный, лысенький субъект лет 35 с умеренным, геометричным брюшком. По тому восторженному жужжанию, которое издавала кучка врачей, окружавшая человека, было видно, что последний не совсем обычный фрукт.

— Безнадежен... Мы тут бессильны, — махнул рукой один старичок-врач и выпрыгнул в окошко.

— Скажите, больной, — томно обратилась к Горрилову (такова была фамилия пациента) молодая, сверхизнеженная девица-врач. — Вы что, действительно никогда не были в бреду?

— Никогда, — трусливо оглядываясь на врачей, пробормотал Горрилов.

— Больной, вы думаете или нет, когда отвечаете? — в упор сверляще-пронизывающим взглядом смотрел на него другой, несколько суровый психиатр.

— Не был, ни разу не был... Все равно пропадать... — твердил Горрилов.

— Какой ужас! Этот человек ни разу не был в бреду! Вы слышали что-либо подобное?! — заголосили вокруг.

После таких слов Горрилов почувствовал себя совершенно ненормальным и отрешенным от людей.

«И ведь действительно я ни разу не бредил; даже ни разу не воображал себя пастушком, как все нормальные люди, — подумал

он и вытер ладонью пот. — Боже, какой же я выродок и как я одинок!»

— Больной, — высунулась опять сверхизнеженная девица-врач, — скажите, но на самоубийства-то вы, надеюсь, хоть раз пять покушались?..

— Нет, и мыслей даже таких не было.

Шорох ужаса прошел по психиатрам. Кто-то даже сочувственно всплакнул.

— Один вопрос, — вмешался вдруг толстый, погрязший в солидность и, видимо, много передумавший врач. — Это-то у вас непременно должно быть... Вы же человек все-таки, черт вас возьми... Скажите, по ночам после вихря полового акта, у вас не возникало желание слизнуть глаза своей партнерше? — и доктор хитро подмигнул Горрилову.

Горрилов напряг свою память, выпучил глаза и с ужасом выпустил из себя одну и ту же стереотипную фразу: «Нет!»

— Ну все ясно, мои тихие коллеги, — проговорил врач, — Горрилов абсолютно невменяем. Надо его изолировать.

— Одну минуту, — влез, пыхтя от нетерпения, еще один доктор. — Уж больно интересный психоз, — добавил он, оглядывая больного, как подопытного шимпанзе, добрыми глазами ученого-экспериментатора. — Горрилов, опишите снова подробней свое хроническое состояние невменяемости.

— Пожалуйста. Встаю утром, точно в 9 часов, умываюсь, ем, стихи не читаю и никогда не читал; потом тянет работать; работаю, потому что есть в этом потребность и хочется заработать побольше; прихожу с работы, обедаю, покупаю какую-нибудь вещь и иду с женой — танцевать... Сплю. Вот и все.

В воздухе раздавались возбужденные крики...

— И вы подумайте, ни одного бредового нюанса... Никаких стремлений на тот свет... Какое тяжелое помешательство... Вы слышали, этот тип никогда не читал стихов... Уберите его, он нас доведет!

Но дюжие санитары-роботы уже выволакивали сопротивляющегося Горрилова.

— Ах, он сегодня мне приснится, — рыдала сверхизнеженная девица-врач. — Какой кошмар... Мне и так каждую ночь кажется, что меня загоняют в XX-й век!

— Ужас, ужас... Сенсационно, — проносились голоса по дальним призрачным коридорам.

А Горрилова между тем уносил далеко не похожий на наши автомобиль новой эры. Он мчал его к сумасшедшему дому. Сквозь то, что мы назвали бы окном, Горрилов мрачно смотрел на окружающие виды. Автомобиль катился относительно медленно, чтобы Горрилов мог видеть окружающий нормальный мир и впитывать естественные впечатления.

На высоких деревьях покачивались скрюченные люди: то были наркоманы. Они приняли особые вещества, вызывающие эротокосмические потоки бреда. Единственным минусом этих наркотиков являлось то, что они вызывали неудержимое желание вскочить куда-нибудь повыше... Горрилов видел чудесные, бредущие, светящиеся голубым фигуры людей. По их виду было понятно, что они разговаривают сами с собой в солипсическом экстазе. Собаки и те были вполне инфернальны — чуждались даже кошек.

«Только мне недоступно все это, — злобно думал Горрилов. — Какое это несчатье быть нормальным». Он прослезился от жалости к себе. «Да и слезы у меня какие-то соленые, грубые, как в пещерные времена, — тупо сопя, подумал он, — не то что у той девицы-врача... У нее они какие-то небесно-голубые, эстетные, как светлячки... И тело у меня дефективное, с мускулами», — и он посмотрел в окно. У нормальных людей были изнеженные тела, глубокие глаза поэтов и лбы мудрецов. Хорошо бы выспаться, — наконец решил Горрилов. — Потом поработать, смастерить чего-нибудь, купить костюм». Но тут же капельки пота выступили на его круглом, энергичном лице:

— Боже, о чем я думаю... Я опять схожу с ума.

Он посмотрел на своего водителя: — «Даже он бредит».

Водитель действительно разговаривал с духом своего далекого предка — Льва Толстого — и укорял его за неразвитость. Горрилову страстно захотелось совершить какой-нибудь нормальный, оправданный поступок. Но, кроме того, чтобы снять штаны, он ничего не мог придумать. «Какое я все-таки ничтожество», — устыдился он самого себя.

Они проехали мимо тюрьмы, где помещались те, кого в XX веке называли техническими интеллигентами. Эти бездушные, тупые существа, не знающие, как заправская электронная машина, ниче-

го, кроме формальных схем, сохранялись только для работы на благо изнеженных духовидцев, эстетов и мечтателей.

Наконец, автомобиль подъехал к известному почти во все времена зданию. Горрилова изолировали в довольно мрачную неприглядную комнату. Ее стены были увешаны абстрактно-шизофреническими картинами, чтобы способствовать излечению больного. Но напротив была комната еще хлеще: она была оцеплена токами и скорее походила на камеру.

Там находился последний человек, утверждающий, что дважды два четыре. До такого не докатился даже Горрилов.

●

НЕПРИЯТНАЯ ИСТОРИЯ

Доктор педагогических наук Анна Карловна Мускина, одинокая женщина лет 50, отличалась тем, что необычайно любила поесть. Говорила даже, что за утренним чаем она съедает целый батон хлеба. Работала она психологом и консультировала целую сеть детских психиатрических больниц. Зарабатывала она массу денег, рублей 500-600 в месяц, которые почти все бросала на еду.

Вторым замечательным качеством, которым она обладала — был ум. Это признавали все знакомые с ней, даже самые глупые и тупые.

Одним неприметным утром Анна Карловна, как всегда, выехала на работу. По причине своей парадоксальной толщины и отсутствию практической стороны ума (Анна Карловна любила только теорию) она никогда не ездила в автобусах и прочем общественном транспорте. Поэтому ровно в 8 часов 30 минут утра к ее дому подъезжал персональный автомобиль с вечно пьяненьким, лохматым шофером.

На сей раз первая остановка была в невро-патологическом

санатории. Только Анна Карловна вылезла из машины.как к ней подскочила кандидат наук Свищева. Видно, кандидатка готовилась к чему-то и лицо ее горело.

— Простите, Анна Карловна, — выпалила она, — вы профессор, а ходите в таком рваном пальто... Неудобно...

В ответ Анне Карловне захотелось поцеловать Свищеву.

— Милая вы моя, я страсть как не люблю одеваться, — ответила она. — Если хотите, купите мне сами пальто, я дам денег...

И сунув пачку десятирублевых бумажек в руки Свищевой, Анна Карловна покойненько покатилась вперед.

В приемной она первым делом передала для себя на дневные завтраки в столовую целый куль еды и 4 пачки чаю, три из которых нянечки с великой радостью присвоили себе.

Затем Анна Карловна прошла в свой кабинет и началась ее умственная деятельность. Она прочла ряд историй болезней и вызвала к себе врача.

— Алчность к еде есть? — строго спросила она его, указывая на помятую историю болезни.

— Нет, здесь нет, — выдавил из себя врач.

— Удивительно, — изумилась Анна Карловна и вызвала другого врача.

— Алчность к еде есть? — также в упор спросила она его, показывая другую карточку.

— Есть, — ответил тот.

— Замечательно, — провозгласила Анна Карловна.

«Этот больной обязательно выздравит, — шепнула она самой себе. — В нем есть положительное ядро». И Анна Карловна подписала под графой прогноз слово: благоприятный.

В 11 часов началась научная конференция. Анна Карловна почти ничего не слышала, что говорили выступающие, потому что была занята своим животом. Он казался ей живым существом, жирным и теплым, необычайно родным, как прилепившийся к телу пухлый ребенок. Она шевелила его, слегка покачивала, и от удовольствия изо рта ее текли слюни.

Ее отвлекло только, когда кто-то из врачей громко икнул. Это показалось ей чудным, необычным и оскорбительным. Чтобы отойти, она стала прислушиваться к научным речам.

— Все же он удивительно глуп, — решила Анна Карловна относительно выступавшего старичка. — Просто на редкость

глуп... И почему он шлепает всем диагноз: «идиотизм»... Это же надо: двух психопатов и одного неврастеника вывести в олигофрены...

Чем больше она слушала старичка, склонного подозревать всех в идиотизме, тем более самодовольней становилась.

«По существу, если бы я не тратила столько ума на еду, я вышла бы в мировые ученые», — подумала она.

А вскоре Анна Карловна уже сидела в небольшой комнатке-закутке, зажатой между уборной и изолятором для особо нервных. Туда нянечки из столовой уже принесли ее дневной завтрак: 4 стакана горячего чая, полкило колбасы, батон и курицу. Анна Карловна тут же тихохонько заперлась на ключ.

Надо сказать, что будучи очень простой почти во всех отношениях (на ученый совет она не раз являлась в галошах) в смысле еды Анна Карловна была очень горда и самолюбива. Иными словами, она никому не желала признаваться, что любит много и серьезно поесть; и чем интимнее она любила есть, тем более она стремилась это скрыть. По отсутствию практической стороны ума, она полагала, что почти никто не знает об этом ее влечении, особенно среди интеллигенции, а нянечек она за людей не считала.

Итак, наглухо запершись в закутке, она приступила к трапезе. Первым делом Анна Карловна жадно схватила за ноги курицу и стала ее кусать меж ног. При этом ей показалось, что курица чуть-чуть живая и таращится.

Набрав в рот как можно больше курятины и отложив остальное, она откинулась на спинку стула и начала сладостно проглатывать пищу, причем по мере продвижения еды вниз выражение ее лица все время менялось, пока не стало совсем блаженным и добрым, как у праведницы... Вспотев от радости, она продолжала в том же духе.

В два часа дня Анна Карловна уже была на второй очень серьезной, научной конференции, куда пускали только по пропускам... Обедать домой ее отвез все тот же, но еще больше пьяненький шофер... Опустившись в кресло и радостно ощущая себя пухлой булкой, она собиралась было нежно вздремнуть после обеда, как вдруг почувствовала звериную боль в животе. Не успев как следует ужаснуться, Анна Карловна потеряла сознание...

Очнулась она в своей постели, окруженная домработницей и

двумя соседками... Но боль все еще не проходила... Отпустив соседей, она стала размышлять в чем дело.

«Наверняка у меня заворот кишок, — решила Анна Карловна. — Объелась».

Вдруг она покраснела и перевернулась на другой бок.

«Как же я об этом скажу, — испугалась она. — Будут смеяться... Если заворот — все догадаются: объелась»...

Анна Карловна приняла болеутоляющее.

— Когда вызвать врача, сегодня? — спросила ее домработница.

— Нет, завтра, — оттянула Анна Карловна.

Весь вечер, ночь и утро прошли в том, что Анна Карловна, лежа в постели, чувствуя немного приглушенную и уже привычную боль, то подремывала, то думала, но думала о чем-то совершенно постороннем. То принималась считать тени на потолке, то раздумывала, сколько она будет весить в 80 лет. И в то же время чувствовала какую-то моральную неполноценность и даже конфуз оттого, что у нее заворот кишок. И только часа за два до прихода доктора Анна Карловна реально и с хватающей за сердце ясностью подумала о том, о чем разумеется знала уже с начала: если она не скажет про заворот кишок и ее не оперируют, то она неминуемо за два-три дня умрет... Но параллельно с этой безошибочной мыслью какой-то нелепый внутренний голос взвизгнул в ней решительно и бойко: «Обойдусь! Проскочу! Только бы молчать».

Сначала было она испугалась и шикнула на этот голос: «Как это обойдусь!.. Глупость-то какая!»

Но голосок еще настойчивей взвизгнул: «Обойдусь!»

Анна Карловна оторопела и совсем задумалась. Но по ходу своих рассуждений, она все более и более чувствовала, что ни за что на свете не хочет признаваться, что объелась. До того не хочет, что от страха перед разоблачением стала выглядеть совсем растерянной и полоумной. Поэтому, когда пришел врач, Анна Карловна позабыла, что обязательно умрет, если скроет, а думала только о том, как бы не проговориться, и сослалась на гипертонию. Обманутый врач быстро ушел.

И Анна Карловна опять осталась одна, в одиночестве своего живота, мыслей о себе и веселой туповатой домработницы.

Прошло еще несколько часов.

«Сказать или не сказать?!» Анна Карловна пересчитала все тени

на стене, почему-то раза два плюнула на пол. Постепенно она стала делать попытки решить, что сказать все-таки нужно. «Ведь, если не скажешь, умрешь, — тоскливо подумала она. — А, если скажешь — выживешь, все так просто и логично», — заключила она, недаром одной из замечательных особенностей Анны Карловны был ум.

Но сколько бы попыток принять положительное решение она не предпринимала, все они упирались в ее чувство. Она сама толком не могла понять это чувство; оно выражалось только упорным и тягучим: «Не хочу!»

Стараясь уяснить его перед собой, она пришла к тому, что не хочет себя раскрыть, из-за того что тогда вылезет на свет, на глаза людей, ее «бука», что-то родное и глубокое, свое, что никому нельзя показать, что делает её — ей. И вообще она вся обнаружится как препарированная лягушка.

Но было во всем этом еще что-то, что она не могла выразить даже перед собой. Это было нечто тайное, дурашливое и алогическое, но очень бодрое, хотя и направленное против всей формы жизни, как таковой.

На следующий день она на все махнула рукой и просто плыла по течению.

Приходил еще какой-то врач, но и ему она заявила, что у нее гипертония, и не дала себя осматривать...

Иногда, несмотря на боль, ей становилось нестерпимо весело. «Да кто это сказал, что я умру, — загоралась она. — Ну, положим во всех медицинских книжках так написано... Но мало ли чего в книжках пишут...»

Но даже в обычные моменты, когда веселье не посещало ее, некое страстное чувство не допускало мысль о смерти до глубины сознания и эта мысль витала где-то на поверхности, как будто речь шла о том, что умрет не Анна Карловна, а кто-то другой. Единственно ее смущало то, что она лишилась такого удовольствия, как еда, и она пыталась компенсировать это тем, что стала усиленно думать...

Иногда Анна Карловна впадала в какое-то совсем сумеречное и фантастическое состояние и тогда строила проекты, как она будет дальше жить, если заворот кишок вдруг сам по себе не доведет ее до смерти, а есть она не сможет...

Никто, за редким исключением, к ней не приходил и она чув-

ствовала себя страшно одиноко. «Хорошо бы живот отделился от меня и жил сам по себе, — думала Анна Карловна. — Он был бы моим хорошим знакомым, собеседником, обедал бы в кресле, спал в шкафу».

В два часа пришла Свищева и принесла обещанное пальто. После ее ухода, Анне Карловне пришла в голову шальная мысль, что она была бы весьма красива в этом пальто.

Она заставила домработницу помочь ей одеться и поставить в ногах на кровати большое зеркало.

«Как бы ни была я умна, — решила Анна Карловна, — все равно не мешает быть красивой».

Вообще ее воображение разгулялось, как никогда, и рисовало картину одну веселей другой.

Потом она опять впала в сумеречное состояние и мысли потекли пустые, далекие, странные, ни к чему не относящиеся...

В пять часов, когда Анна Карловна забылась, снова пришли врачи.

Они осмотрели ее тело и сразу увидели темное, зловещее пятно на животе. Это была гангрена, часть вывернутой кишки сгнивала. Тотчас вызвали скорую помощь и Анну Карловну повезли в больницу на операционный стол; по дороге она скончалась.

●

СМЕРТЬ ЭРОТОМАНА

На отшибе Москвы среди изрезанных улочек с маленькими домишками и длинными бараками стоит, как величественная, холодная тюрьма посреди моря уборных, огромное желтое шестиэтажное здание. Это институтское общежитие. С трех сторон к нему подходят извильные, грязные, уводящие в пропасть бараков, дороги. Три деревца, как чахлые, слабоумные невесты с венком птиц на голове, окружили здание. А в небе постоянными были только черные крики метущихся в разные стороны ворон.

Все обитатели здесь делились на местных и студентов.

Студенты казались местным злыми, учеными и нахальными. «Мы никогда не будем так хорошо жить, как они» — говорили про студентов. Местные же казались студентам лохматыми, придурошными и страшными, от которых надо бежать. Особенно пугали их черные дыры бараков и дети. Дети купались в грязной воде, снимали друг с друга штанишки. Студенты учили книги на заборах, прыгали по крышам сараев. Обе стороны шарахались друг от друга, как от непонятного.

Однажды весной в один из домишек около общежития въехала семья. Почти никто не обратил на это внимания всерьез, просто вместо одной семьи стала размахивать руками и находиться перед глазами всех другая семья.

Тем более не бросился в глаза младший член этой семьи — 17-летний полоумненький, как его считали, Ваня. Иногда только смеялись над ним.

Это был длинно-тонкий юноша с мягкой, нежной головой и осторожными ушами. Походка у него была тихая, крадущаяся. Даже в уборную он входил, как в античный храм.

Вполне полоумненьким его назвать было нельзя — скорее «не замечающим». Он действительно «не замечал» многое из того, что происходит вокруг. Он мог позабыть покушать, позабыть осмотреться кругом. Но зато хорошо вырезал бабок из дерева. Учился Ваня плохо, но не то чтобы по глупости, а по равнодушию; из предметов же обожал зоологию, особливо анатомию мелкокостных. Людское общество он любил, но только молчком. Постоит, постоит где-нибудь около кучки ребят — и тихо уйдет, как будто его и не было.

Никто не знал, чем жил Ваня. А, кроме самосозерцания, он жил вот чем. Каждый вечер, когда темнота поглощала окрестности, как брошенную комнату, Ваня пробирался к зданию. Ловкий и жизнестойкий, он по трубам и остаткам лестницы влезал на карниз четвертого этажа. Там до поздней ночи светилось окно: то было женское общежитие.

Ваня пристраивался на широком карнизе, удобно прижавшись к трубе, и долго часами смотрел внутрь. Он даже не кончал при этом: половое влечение у него было мутное, широкое, непонятное для него самого и всеобъемлющее. Ему хватало того, чтобы просто смотреть.

Странные мысли роились в его голове. Все девочки, особенно

раздетые, казались ему необычайно интеллигентными. Несмотря на то, что они всего лишь ходили или лежали, ему казалось, что они вечно пляшут.

«Откуда такое кружение», — недоумевал он.

У него было несколько состояний; это зависело от того, какие мысли ему приходили в голову, пока он лез по трубе к девочкам.

Часто ему внутри себя слышалось пение; иногда странно болело сердце из-за того, чем кончится все то, что происходит внутри, за окном.

«Миленькие вы мои», — часто называл он их, прослезившись.

Он не выделял никого из них, а любил всех вместе. Правда, он выделял их качества, и скорее даже любил эти качества, чем их самих. В одной ему нравилось, как она ела: изогнуто, выпятив бочок и обреченно сложив ручку. «Как все равно мочится или отвечает урок», — думал он. Другая нравилась ему, когда спит. «Как зародыш», — говорил он себе.

Но особенно нравилось Ване, когда кто-нибудь из них читал. Он тогда вглядывался в лоб этой девушки и начинал любить ее мысли. «Небось о том свете думает», — теплело у него в уме. Уставал он только сосредоточиваться на какой-либо одной избраннице. Поэтому очень легко ему было, когда они все ходили. Вся душа его тогда расплескивалась, пела, он любил их всех сразу, и в такт своему состоянию тихонько выстукивал задом по карнизу.

«Ну хватит. Побаловался», — так говорил он себе под конец и спускался вниз. Дважды его вечера были несколько необычны: он чувствовал в душе какую-то странность, воздушность и зов; еле-еле забирался вверх; и нравились ему уже не тела девочек, а их длинные, шарахающиеся тени; подолгу он любовался ими, иногда зажмуривал глаза.

Так продолжались целые годы. И целые годы были как один день. Иногда только мать покалачивала его.

Однажды Ваня полез, как обычно на четвертый этаж к своим девочкам.

Все было, как прежде: он так же, как всегда, слегка поцарапался о железку на третьем этаже, так же пристроился на карнизе, у окна общежития. Только теперь ему уже стало казаться, что он женат на этих девочках. Но он так же прослезился, когда маленькая студентка в углу уснула, как зародыш.

И вдруг окна не стало. Не стало и милых, гуманных девочек.

«Точно я опять на свет рождаюсь», — подумал он...

Часов в 11 вечера жирно-крикливый парень, назначивший свидание во дворе трем бабам, услышал за углом ухнувшее, тяжелое падение. Он подумал, что упал мешок с песком и просто так пошел посмотреть. На асфальте лежало скомканное, как поломанный стул, человеческое тело. Парень признал Ваню, полоумненького. Он был мертв.

●

ТОЛЬКО БЫ ВЫЖИТЬ

Домишко, о котором идет речь, расположен по Пищезадумчивому переулку, во дворе. Его давно пора снести, ан нет — он держится. На второй этаж ведет лестница, с шизофреническими углами и провалами. В квартирке под седьмым номером двадцатый год живут четыре семейства. У каждого из них свои привычки, психопатии, выкрики; если бы описать все их многолетние отношения, то получился бы длинный роман наподобие «Войны и мира», но с психоанализом, чертовщиной, мордобитием и одиноким заглядыванием в самого себя. Но мы опишем лишь один день

Утро начинается здесь с того, что одинокая старушка — Пантелеевна выходит умываться. Хотя в кухне никого нет, но она входит туда бочком, предусмотрительно повернувшись задом к окружающему пустому пространству. Когда же появляется народ, то она почти совсем встает на четвереньки, так что квартирантам виден только ее огромный, в ворохе платьев, зад. Двадцать лет назад она появилась таким образом на кухне.

— Не пужайте, мамаша, обернитесь, — сказал ей тогда громадный, лысый инвалид-сосед.

Мамаша спокойно и плавно, как лебедь, обернулась и вымолвила:

— А вы, граждане и лиходеи, иное, чем мой зад, и не достойны зреть. Личико мое вы никогда не увидите.

И опять спряталась.

С тех пор, на долгие годы, она замолкла перед соседями и во все общественные места входила пятясь задом к окружающему люду.

Теперь ей уже восемьдесят лет, она стала выгнутая, иссохшая, позабыла все слова, кроме детских, но ритуал свой исполняет так же вдохновенно и напористо, только кряхтя и опираясь на клюку. Все к этому привыкли и один раз был даже скандал, когда Пантелеевна по простуде позвоночника не повернулась к соседям задницей..

Вслед за Пантелеевной в кухню выпрыгивает шестидесятилетняя пенсионерка-Сонечка. Завидев старухин зад, она фыркает: Сонечка — единственная из обитателей, кто до сих пор не признает права Пантелеевны.

— Я Льва Толстого, ёлки-палки, каждую ночь читаю, — часто орет она по утру, стуча кастрюлей по плитке. — Я вам не Наташа Ростова... Запахами тут издеваться...

Огромный, лысый инвалид успокаивает ее, лапая своими чудовищными руками. Вскоре вылезает и его молодая, увесистая жена. От томительных, многолетних злоупотреблений половой жизнью у нее мертвая пустота под глазами и голодный, опустошенный взгляд, как у облученной кошки. Оба они с мужем эротоманы. И врачи в один голос говорят, что это кончится только с их смертью.

Каждый вечер, заперев кучу своих детей в уборную, они включив во всю свет, с громом, битьем посуды и стульев, начинают свое соитие. Целое стадо любопытных собирается во дворе, на крышах, заглядывая внутрь комнаты. Прежде всего, раздевшись, голые, супруги гоняются друг за другом почти до потери сознания. И лишь потом, полоумные, сбирают желанную дозу эйфории...

Последним на кухню втискивается Кузьма Ануфриевич Пугаев, солидный отец семейства, в составе равнодушной, хлопающей себя по лбу жены и жирной, откормленной тринадцатилетней дочки. О его-то состоянии сегодня и пойдет речь. Суть в том, что месяц назад в мозг Кузьмы Ануфриевича засела стойкая, богатая, с метастазами мысль: «только бы выжить». Это пришло ему в голову после того, как он увидел на улице, что широкий, с окно,

лист стекла, упавший с пятого этажа, разрезал пополам дюжего дядю с орденами.

Пугаев тогда страшно затерялся, струсил и бегом, оглядываясь на облачка, пустился к первому попавшемуся трамваю. С течением времени эта идея: «только бы выжить» разрослась у него, и нашла применение ко всему миру в целом, во всех его деталях и нюансах. Сначала он даже испугал свою равнодушную, вечно хлопающую себя по лбу, жену тем, что часто, ни к селу, ни к городу, стал повторять: «только бы выжить!» Пойдет в уборную, обернется и скажет, трусливо так, переморщенно: «только бы выжить!»

Всё окружающее у него стало поводом к этой идее. Обволок он ею и свою дочку. Насильно кормил ее мясом, салом и щупал, раздулся ли у нее живот.

— То-то дочка, — приговаривал он, — самоё главноё, выжить... Бойся мальчишек, двора и воздуха. Лучше всего бывает под одеялом.

Дочка надувается его мыслями, как молоком, и уже часто не ходит, а пробегает мимо людей на улице. Но жена мало реагирует на его духовные поиски. За это он иной раз бьет ее, но, от инертного умиления, оставшегося от первых лет любви, считает все же, что она понимает его... Сегодня Пугаев вышел на кухню голый, в одних трусиках. Это от озабоченности. Ведь дочка уезжает в санаторий.

Сонечка вспыхивает и выкатывается к себе, запершись на ключ. Из-за тонких стен доносится ее голос: «Хулиганье!.. Толстого надо читать. Толстозадый!» Лысый инвалид удивляется про себя, почему живот у голого мужчины бывает так похож на женский. «Пощупать бы его», — медленно думает он, опустив чайник на пол.

Только Пантелеевна, кряхтя, пробирается мимо всех, задевая задницей живот Пугаева...

Наконец, Кузьма Ануфриевич, одетый, выводит дочку за руку во двор. Все смотрят на него из окон.

Он положил свою тяжелую руку на голову девочки и тихо внушает: «Едешь ты, дочка, в санаторий... И запомни: живьем не давайся. Чуть что — бей в морду... Или жалуйся. Потому что, самое главное — выжить».

●

УЛЕТ

«Существую я или не существую?!» — взвизгнул невзрачный, но одухотворенный человечек лет тридцати пяти, и по заячьи нервно заходил по комнате. От умственного шныряния вены на лбу у него вздулись. «Вроде существую», — пискнул он, хлопнув себя по заднице. Потом подошел к шкафу и с плотоядным наслаждением, трясясь, выпил мутную брусничную воду из грязной чашки. Минуты две улыбался, а потом вдруг опять вспыхнул: «И в то же время не существую!» И пнул ногой угрюменький чайник. Потом Анатолий Борисович (так звали героя) выскочил в коридор.

— Хамье, перед глазами снуёте! — прикрикнул он на соседей, которые боялись Анатолия Борисовича из-за его робости.

Ему вдруг захотелось завернуться в одеяло и долго, комком, кататься по полу. «Какой-то я стал воздушный и как будто все время утекаю», — подумал Анатолий Борисович.

— Побольше реальности, побольше реальности! — провизжал он вслух себе, соседям и кому-то Неизвестному.

Последнее время что-то в нем надломилось. Это уже был не тот Анатолий Борисович, который мог бороться и быть возвышенным. Ему все стало загадочным. Загадочным и то, что он женился, и то, что ему тридцать пять лет, и то, что он родился в России, и даже то, что над ним висит, куда бы он ни пошел — небо.

«Определенности никакой нет, — решил он, — и точно меня все время смывает. Как бы совсем не сдуло».

«Странное существо моя дочка, — думал Анатолий Борисович, проходя по темно-змеиному горлу выходной лестницы. — Бьет меня по морде. А когда я ее бью по заднице, — никак не пойму, хорошо мне от этого или плохо?

Подойдя, вместо двери, к нелепой дыре, ведущей в серое, Анатолий Борисович увидел над ней лампочку.

«Надо бы ее проучить», — подумал он и швырнул туда камень. Лампочка разбилась. «На сколько минут мне будет легче от этого?» — обратился он к своему внутреннему голосу.

Наконец, Анатолий Борисович выскочил на улицу. На мгновенье

ему показалось, что все, что он видит — фикция. «Юк-юк», — довольно пискнул он в ответ. «И все-таки я не существую», — подумал он всем своим существованием и подошел выпить воды. Потом все стало на место.

«Как складывалась до сих пор моя жизнь, — рассуждал он, делаясь все незаметней. — Был период — я играл в карты. Тогда я был счастлив. Был период величия. Без него я не прожил бы дальше». Анатолий Борисович ускорил шаг и шел прямо по улице навстречу ветру.

«Утекаю я куда-то, утекаю, — думал он. — О, Господи!»

Мир давил своей бессмысленностью; «это потому что он меня переплюнул, отсюда и его бессмысленность, — решил он. — Даже столб, неодушевленный предмет, и тот меня переплюнул».

Анатолий Борисович углублялся в город.

Все казалось ему абстрактным: и высокие, уходящие в засознание, линии домов, и гудки машин, и толпы исчезающих людей. А собственная жизнь казалась ему еще худшей, еле видимой, но настоятельной абстракцией.

«Реальности никакой не вижу», — слезливо подумал он и хотел было хлопнуть в ладоши.

Наконец, Анатолий Борисович подошел к разномирному зданию своей службы; юркнул мимо толстых тел, за свой стеклянно-будничный столик.

Кругом сновали разухабистые, в мечтах, рожи, трещали машинки, а перед Анатолием Борисовичем лежала груда бумаг. Ему казалось, что все эти бумаги говорят больше, чем он.

Анатолий Борисович подошел к окну.

«А вдруг «сбудется, сбудется», — закричалось у него в глубине. — Должно «сбыться», должно, — не навсегда же таким он создался. Тихонько, растопырив ушки, Анатолий Борисович прислушался. Ничего не услышав, сел за столик, и почувствовал, что вся его жизнь — как урок геометрии.

«Каждый предметик: стульчик, чернильница — далекий и как теоремка», — подумал Анатолий Борисович. Все входили, уходили и были за чертой.

Вскоре Анатолий Борисович вышел. И больше уже не приходил. А через месяц следователь Дронин в деле на имя Анатолия Борисовича поставил последнюю и единственную запись: «бесследно исчез» и захлопнул папку.

●

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

— Ты будешь кушать эту подгоревшую кашу? — спросила пожилая в меру полная женщина своего мужа.

Муж что-то ответил, но она сама стала есть эту кашу. Ее звали Раиса Федоровна.

— Что я буду делать сегодня, как распределю свой день, — подумала она. — Во-первых, пойду за луком.

Она представила себе, как идет за луком, представила хмурые, знакомые улицы и говорливых, таинственных баб, и сосульки с крыш — и ей ужасно захотелось пойти за луком, и на душе стало тепло и интересно.

— А потом я вымою посуду и полежу, — мелькнуло у нее в голове.

— Сына пожалей, — пробормотал ее муж.

Но он очень любил жену и поцеловал ее. На минуту она почувствовала тепло привычных губ.

— Вечно стол не на своем месте, — решила она и подвинула его влево.

Затем она пошла в уборную и слышала только стук своего сердца. Потом, выйдя на улицу, она встретила своего двенадцатилетнего сына; он шел из школы, кричал и не обратил на нее внимания. Раиса Федоровна, зайдя на рынок, медленно закупала продукты, переходя от лавки к лавке. Около нее ловко суетились, толкая друг друга, покупатели, протягивая свои рубли, оглядывая продукты полупомешенным взглядом.

— Вы опять меня обворовали, — услышала Раиса Федоровна голос и почувствовала, как ее тянут за живую кожу пальто. Тянула соседка.

— Препротивная женщина, — тотчас заговорила, оглядывая Раису Федоровну, толстая старуха в пуховом платке. — Скандалистка. Я жила с ней один год и не выдержала. Прямо по морде сковородкой бьет...

— Ужас, — вторила ей другая. — Я в таких случаях всегда доношу в милицию.

— Как же я распределю теперь свои деньги, — думала Раиса

Федоровна, возвращаясь домой. — Тридцать рублей я этой дуре отдам... А сегодня пойду в кино.

В переулке, по которому она шла, было светло и оживленно и люди напоминали грачей. Но ей почему-то представилось, как она будет ложиться спать и посасывать конфетку, лежа под одеялом.

И еще почему-то она увидела море.

Войдя в квартиру, она услышала голос соседки, доносившийся из кухни:

— Помыть посуду надо — раз; в магазин сходить — два; поесть надо — три.

— Мы все ядим, ядим, ядим, — прошамкала живехонькая старушка, юркнувшая с пахучей сковородкой мимо Раисы Федоровны. — Мы все ядим.

— Я уже два часа не ем, — испуганно обернулась к ней белым, призрачным лицом молодая соседка.

— Я Коле говорю, — раздался другой голос, — не целуй ты ее в живот... Опять все у меня кипит.

— Ишь, стерва, — буркнул кто-то вслед Раисе Федоровне.

— Почему, она неплохая женщина.

— ...Утопить бы кого-нибудь, — подумала Раиса Федоровна. — Ах, чего же мне все-таки поесть... Утку.

И она почувствовала, что на душе опять стало тепло и интересно, как было давеча, когда она представляла себе, как идет за луком. И опять она увидела море.

В углу комнаты ее муж убирал постель. Повертевшись около него, она опять вдруг захотела в уборную. В животе ее что-то глухо заурчало и жить стало еще интересней. Она ощутила приятную слабость, особенно в ногах.

— Как непонятна жизнь, — подумала она.

Она посмотрела на красный, давно знакомый ей цветок, нарисованный на ковре. И он показался ей таинственным и необъяснимым.

Раиса Федоровна вышла в коридор и вдруг почувствовала сильную боль в сердце; вся грудь наполнилась каким-то жутким, никуда не выходящим воздухом; тело стало отставать от нее, уходить в какую-то пропасть.

В мозгу забилась, точно тонущее существо, мысль: «Умираю»

— Умираю! — нашла она силы взвизгнуть.

В кухне кто-то засмеялся.

— Умираю, умираю! — холодный ужас заставлял ее кричать, срывая пустоту.

В коридор выскочили муж, сын; из кухни высыпали соседи и остановились, с любопытством оглядывая Раису Федоровну. Крик был настолько животен, что во дворе все побросали свои стирки, уборки и подошли к окну.

— Ишь, как орет, — пересмеивались в толпе. — Точно ее обсчитали в магазине.

— Да, говорят умирает, — отвечали другие.

— Если б умирала, так бы не драла глотку, — возразил парень в кепке.

Кто-то даже швырнул в окно камень.

Сынок Раисы Федоровны стоял у другого окна, посматривая на умирающую мать.

— Чего она так кричит, — подумал он. — Ведь теперь меня засмеют во дворе.

... А через несколько дней толстая старуха в пуховом платке, та самая, которая ругала Раису Федоровну на рынке, говорила своей товарке:

— Померла Раиска-то, говорят, так орала, весь двор переполошила.

●

БОРЕЦ ЗА СЧАСТЬЕ

В Москве, среди ровненько-тупых домов коробочек, в трехсемейной квартирке жил-затерялся холостяк, молодой человек лет двадцати восьми, Сережа Иков. Работал он сонно и хмуро в каком-то административном учреждении бюрократом, то есть подписывал уже подписанные бумаги. Было это существо лохматое, с первого взгляда даже загадочное, вопросительное. Был он страшно деловит, но ничего не делал, очень самолюбив, но безответно.

Самое большее, к чему всю жизнь стремился Иков, что составляло единственный, лелеемый предмет его мечтаний, называлось счастьем. За счастье Сережа все был готов отдать. Его странная, не от мира сего, напористость в этом отношении даже отпугивала от него людей. Соседка-старушка, одна из немногих, с кем Сережа делился своими тайнами, в душе считала его слегка ненормальным.

«На кой хрен тебе счастье, — опасливо говорила она ему, кутаясь в платок. — Смотри, Сергунь, как бы беды не было».

«Счастье — это очень много, — говорил Иков. — Но это также то, что делает меня великим». Но оно как-то плохо ему давалось. Хотел жениться — женился, но через год развелся; хотел стать ученым — но стал бюрократом; хотел совершить подвиг — совершил, но оказалось, что в этом не было счастья. Наконец, он на все махнул рукой, и стал как бы проходить сквозь события.

«Вроде деловой, а ничего не делает, — пугалась соседка- старушка. — Делает, — все себе на уме».

Но прежних своих стремлений к счастью Иков не оставлял. Однако, из-за вечности неудач, они приобрели некий потусторонний характер. Однажды он повесил в своей комнате огромную репродукцию Шишкина. «Светится она на меня, — подумал он. — Вроде я теперь и велик и счастлив».

Неизвестно как бы дальше продолжалось его развитие, если бы, года три назад, не произошел в его жизни переворот. Случайно он открыл ключи к счастью. Произошло это в зимний, январский день. Иков сдавал экзамены в заочном педагогическом институте, на литературном отделении. Сережа готовился долго, истерически прикрывая голову подушками, завывая. Сдал он на отлично. Отяжелевший от важности доцент пожал ему руку. Выбежал Иков на улицу упоенный, взвинченный, счастливый. Размахивал руками. И тут пришла ему в голову молниеносная, радостная мысль: а что если всю жизнь так. Всю жизнь сдавать одни и те же экзамены и радоваться.

Побледнев, чувствуя, что в нем происходит что-то большое, огромное, Иков для сосредоточенности решил зайти в безлюдную пивную. Там, за кружкой пива, лихорадочно пережевывая хлебные палочки, внутренне теряясь, он стал обдумывать детальные планы будущей жизни.

Временами он подозрительно оглядывал случайных людей, как бы опасаясь, что они сопрут ключи счастья.

Иков решил воспользоваться тем, что его дядя — величина в научных кругах.

«Я поступлю так, — броско подумал он, заказав еще одну кружку пива. — В зимнюю сессию и особенно в летнюю буду оставлять много хвостов и в конце приносить справку о болезни. Институт заочный. Меня оставят на второй год и я опять по положению буду обязан сдавать почти те же экзамены. И так далее. На каждом курсе лет по пять, чтобы растянуть. А там видно будет».

С этого дня Иков зажил новой, сказочной жизнью. Картину Шишкина он убрал. Теперь его жизнь разбилась на две половины.

В первой половине, до сессии, он был тих, как мышка, осмотрителен, так как жизнь теперь имела глубокий смысл, боялся попасть под трамвай. Время он проводил на работе, аккуратно, исполнительно и затаенно. Только дома иногда пугал соседку-старушку своим преувеличенным мнением о значении счастья в жизни людей.

Зато во второй половине во время сессии, Иков расцветал.

Сейчас, уже четвертый год, Иков учится не то на первом курсе, не то на втором, неизменно сдавая одни и те же предметы. В деканате махнули на него рукой, но считаются с его дядей.

Каждый раз, после сдачи экзаменов, его сердце замирает от восторга, когда в синенькую, с гербом, книжицу властная рука учителя ставит неизменную оценку «отлично». Ему кажется, что вся профессура смотрит на него. «Ишь, какой начитанный», — шепчут про него студенты и не сводят завистливых глаз.

Несколько раз Икову после сдачи слышалось пение.

Во дворе все знают, когда он возвращается с экзамена. Веселый, бойкий, поплевывая по сторонам, он входит в ворота. Иногда даже игриво даст щелчка пробегающему малышу.

— Далеко пойдет. Боевой, — шепчутся о нем старушки.

●

ИСКАТЕЛИ

В тоскливом, заброшенном дворике на окраине Москвы живет самый различный, то толстозадый, угрюмый, то тонкий, вьющийся и крикливый люд. Мат, вперемежку с глубокими философскими откровениями, день и ночь висит в воздухе. Философствуют все, от мала до велика: и тихие онанисты — дети, и отекшие от переживаний жирные бабы, и мускулистые, шизоидные мужчины.

Среди молодежи самым первым интеллектуалом является несомненно Гриша Пеньков. Уже хотя бы потому, что он единственный среди них ходит в церковь и молится Богу.

Гриша — огромный, чудовищной силы малый, лет 30, с очень тяжелым, массивным, не то от дум, не то от толщины костей, черепом и звериным, отпугивающим детей и приманивающим женщин, оскалом. Обычно в карманах его по ножу.

Уже целый месяц у него длится скандальный, громкий, на всю улицу роман с местной, дворовой проституткой Танечкой.

Танечка — полный антипод Пенькову. Она — маленькая, изящная, с распущенными волосами и томными, порочными глазами. Но иногда ее глазенки загораются искристым, восторженным светом, как у гимназистки, смотрящей в небо.

Больше всего на свете она любит стихи, проституцию и любовь. Да, да, любовь. С самого первого дня ее тяжкого, тротуарно-слезливого падения Танечку преследует мысль о большой, светлой, как крылья ангела, любви. Чего только она не делала для этого!

Одному толстяку, пьяному мужику она нарисовала углем на его жирной, помойно-сладкой спине крылышки. Очень часто, на время соития, она любила вешать перед собой на стенку нежную картинку с изображением младенцев.

«Хоть и не поймешь кто, а все-таки младенцы, невинные дети», — говорила она. Но любовь не приходила. Тело все время было удовлетворено, как после хорошей отлучки в уборную, но душа была мертва и молчала.

«Как хорошо люди устроены в отношении еды, — думала Танечка, — и как плохо в отношении половой жизни. Поел и на тебе: все просто, ничего не ноет, только спать хочется, а пожил и на тебе: душа скорбит».

Кончилось тем, что Танечка своей рукой, пропитанной сексуальными отходами, нарисовала странный, непонятный рисунок. Он изображал мужчину-«одеял», как она его называла, вместо «идеал». Впрочем, если зритель был сильно выпивши, то фигурка могла смахнуть на человеческую. Странно только, что волосы у нее стояли дыбом.

Этот «портрет» Танечка неизменно вешала перед собой на время соития.

А месяц назад судьба столкнула ее с Пеньковым. Танечку привлекла в нем, во-первых, его безотказная, животная мощь, выставленная напоказ: Пеньков даже по двору ходил, почесывая член. Надо сказать, что стыдливая, скрытая потенция пугала Танечку, и она робела перед такими людьми, как в церкви перед священником.

Во-вторых, привлекло Танечку в Пенькове то, что он все-таки набожный, не такой как все. Это соответствовало ее смутному желанию найти любовь.

Так начался их роман.

Он произвел большой шум, ибо Пеньков своим тихим, абстрактным мордобитием и религиозностью так загипнотизировал Танечку, что она бросила отдаваться остальным обывателям.

Но тайна их клопино-романтического, пылкого романа заключалась в другом. Сам Пеньков, кстати, был довольно странное, угрюмое, а иногда с проблесками дикого, истерического веселия, существо. Родился он в крепкой, одуревшей от самой себя рабочей семье. Родители ненавидели его за идеализм. На этой почве между ними происходили долгие, стулокрошительные драки. Пеньков вообще не мог говорить с ними, а всегда орал. Это было бы еще ничего, если бы в самом Пенькове все оказалось в порядке. Но будучи выродком в своей семье, он был выродком-неудачником. Для «эволюции» нужно было бы, чтобы он стал выродком какого-нибудь спокойно, эстетического что ли плана, а он — бац! — сразу влип в мистику.

В первом случае ходил бы он потайненько в библиотеку, читал бы Гумилева с Ахматовой и приобрел бы некоторую утонченность

в чувствах, и все становилось бы потихохоньку, закономерно, и может быть, при удачных обстоятельствах что-нибудь произошло. Но получилось наоборот; «природа» совершила скачок и, оставив Пенькову необычайную тупость и животность во всех отношениях, осенила его лишь в одной области: в области мистики.

Но и тут тупость давала себя знать: мистицизм Пенькова был своеобразный, параноидный, не без творчества: он для себя додумывал некоторые религиозные идеи.

Танечка страшно привязалась к Пенькову. И даже несколько дней не вешала на стенку картинку со своим чудовищем. Пеньков заменял ей все. Гриша тоже первые дни лип к ней. Поражала его ее сексуальная боевитость: как раз то, что нужно было Пенькову. Но многое потом стало смущать его. Бывало после бурного, крикливого, со стонами и битьем посуды, соития, лежали они в постели тихие, присмиренные. Пеньков обыкновенно засыпал: так он делал всегда после акта или поножовщины. Но Танечка тормошила его.

— Лыцарь ты мой... Нибелунг, — говорила она, целуя его в зад.

Пеньков приоткрывал глаз и страшно смотрел на нее: сразу после соития ему не хотелось ее бить.

Их дни были странные, наполнённые истерикой Танечки и голым невозмутимым спокойствием Пенькова.

Жили половой связью они обычно днем, после работы, среди яркого, дневного света, сковородок и шума соседей. Потом выходили на красное солнышко, посидеть, подышать и подумать. «Ангел ты мой, — говорила Танечка, — расскажи мне что-нибудь о демонах». Пеньков подозрительно косился: он считал, что с женщинами нельзя говорить о духовных проблемах. А Танечка обвивала его могучую, кочегарскую шею своими тоненькими, бледными руками и распевала песни...

Пеньков же сидел неподвижно, как истукан. Потом вдруг резким движением сбрасывал ее с себя, так что Танечка плюхалась Бог весть куда и говорил: «в церковь пойду».

Но самым главным своим достижением Пеньков считал мысли. Они появлялись у него после службы, когда он брел домой, всегда одни и те же, точь в точь, уже несколько лет, но он лелеял их и даже под ножом никому не рассказал бы о них. Мысли эти были известны, как деталь в богословии, но так как Пеньков мало

читал, то он полагал их своими, потаенными, и это позволяло ему думать о себе, как об исключении, как об авторитете, чуть ли не о первооткрывателе. А на этом убеждении держалась вся жизнь Пенькова.

Итак, прошел уже целый месяц романа Гриши с Танечкой.

И бедная Танечка становилась все восторженней и восторженней. Она думала, что почти нашла свою любовь. Среди тряпок, среди грязного белья и стульев, надев на голову усохший венок из ромашек, часто исполняла она какой-нибудь немыслимый, скрытый танец. Но свою «картинку-чудовище» она все-таки решила вешать на стену. Дело в том, что Пеньков так и не мог до конца удовлетворить ее воображение. Поэтому он стал для нее лишь необходимым трамплином в мечту, на вершине которой по-прежнему сияла «картинка-чудовище».

Пенькова же начал раздражать этот оголтелый романтизм Танечки.

— Подмахиваешь ты ничего, как хорошая сука, — сурово говорил он ей. — Но вот в голове у тебя ветер. Скажи, на кой черт во время нашего удовольствия на стенке висит это рыло? — и он указывал на картинку.

— Ты ничего не понимаешь, милый, — отвечала Танечка. — Это мой принц. Он совсем еще ребенок, но может быть, когда я умру, он превратится в юношу...

— Не дури, Танька, — отвечал Пеньков и с шумом, шелестя ворохом бумаг, вызывающе-цинично шел в клозет.

Эта его реакция, которая особенно часто следовала после соития, стала нравственно утомлять Танечку. На целые часы это делало ее слегка слабоумной. Она распевала какие-то легкие, вольнодумные песни, танцевала сама с собой, и дарила подарки своим бывшим клиентам.

Пенькова это ужасало, и он стал охладевать к Танечке. К тому же первый пыл страсти прошел и вместе с ним некоторая слюнявость, от которой несвободен был даже Пеньков.

Физически она стала надоедать ему, и Пеньков начал попросту увиливать от нее.

А Танечка по-прежнему жила своим воображением и носилась за Пеньковым, как за изящной, ночной бабочкой. Он прятался от нее по углам, в сарае, колотил ее, но легкие и болезненные, не от

мира сего, слезы, к которым так привыкла за свою жизнь Танечка, только распаляли ее.

Она ездила за ним на работу, перескакивая с трамвая на трамвай, машины обливали ее грязью, но она держала в руках — маленькая, хрупкая и синеглазая — букетик дешевых цветов или свою картинку-чудовище.

Пеньков даже хотел из-за нее менять свою жилплощадь. А однажды случилось непредвиденное.

Гриша в этот день был в библиотеке. Там, набрав ворох богословской литературы, он зарылся в ней. И вдруг медленные, как густой суп, капли пота выступили на его лбу. До Пенькова дошло, что его мысли, которыми он жил и благодаря которым считал себя исключением и необычайностью, давным давно известны, как мир, и не представляют ничего радикального.

Медленно, нахлобучив кепку на лоб, он вышел из библиотеки. Ему захотелось пойти в пивную. Но тяжелая, упорная, тягуче-параноидная мысль давила его: надо повеситься. Как все, до чего он добирался нутром, это было зримо, весомо и убедительно. Может быть, через два-три дня он бы опомнился. Но сейчас эта мысль вела его, как канат потерявшего надежду альпиниста. «Надо», — подумал он и все-таки выпил кружку пива. Но тепло в животе не нарушило всепоглощаемость этой идеи.

У своей двери он наткнулся на Танечку. Она была как обычно в слезах и с уже помятой «картинкой-чудовищем».Интуитивно, точно пчелиным жалом, она поняла исход.

— Миленький, миленький, не надо, — прошептала она и, не боясь его грубой силы, прижалась к нему. Пеньков механическим, вялым движением снял с полки кастрюлю и тупо ударил ее по голове. Танечка упала на пол.

Запершись в своей комнате, Гриша как-то реально, словно он ворочал камни на стройке, приделал петлю.

— Прости, Господи... — были его набожные и вместе с тем последние слова.

Пенькова хоронили просто, не по христианскому обычаю: его родители, рабочие, называли себя атеистами. К тому же и обходилось это дешевле. На похоронах все были спокойны.

Только Танечка в слезах кружила вокруг гроба. Свою «картинку-чудовище» она выбросила, но взамен также нелепо и аляповато нарисовала Гришу в гробу. Этот новый рисунок она вешала на стенку перед каждым своим соитием.

●

СВИДАНИЕ

Вася Кепчиков очень любил прогуливать работу. Он и сам не понимал, зачем он — двадцатишестилетний, здоровый парень — это делает.

А в этот раз он рассуждал так: «Если б было на что напиться, можно было б идти на работу, а трезвому там делать нечего... Лучше уж по трезвости погуляю».

Был осенний, промозглый день. Мелкий дождик залил все окрестности, умывая их в серо-уютной скуке.

Молчали бараки, пивные, тихо шепталось каплями воды одинокое шоссе.

«Точно все схоронились», — подумал Вася.

Он вышел на улицу в галошах и в огромной, нависающей, не по его голове, кепке. Постоял в большой, разливчатой луже. Покурил.

«Чегой-то у меня в заду щекочет», — подумал он через полчаса.

Потом опять покурил и пошел по шоссе к темнеющему за сеткой дождя лесу. Выпить было не на что.

Около Васи проехал большой, самодавлеющий грузовик. Он не хотел посторониться, но все-таки невольно отошел в сторону от брызг.

«К чему бы это», — подумал Кепчиков и пошел дальше.

Шел он то мечтательно, скованно, то вдруг начинал безразлично пританцовывать и посвистывать, хлюпая по грязно-лужам. Плащ его при этом развевался, а из-под галош скучно-неповоротливо вылетали комки грязи.

Не дойдя до лесу метров 500, он остановился у столба помочиться.

Он уже давно кончил мочиться, а все стоял и стоял у столба с вынутым членом, покачиваясь. Насвистывал и как-то внутренне замирал. Через полчаса пошел вперед.

«Хорошая эта штука, жизнь», — подумал Вася Кепчиков.

А вот уже был и лес. «В лесу много мухоморов», — опять подумал он.

Погуляв по лесу, от одного дерева к другому, от другого дерева к первому, Вася присел на пенек.

— Посижу я, посижу, — решил он. — Посижу.

Около пня под кустом лежал запачканный в желтом, полумокрый клочок газеты. Вася взял его и начал читать предложения.

«Инженеры построили паровоз» — прочел он. Ему стало тепло и уютно. «Это я построил паровоз», — весело подумал он.

Так прошло много времени. Васе надуло зад. Оборотившись, он пошел из лесу. Слегка темнело. «Таперича и клуб уже открыт, — вздумал он. — Можно идтить».

Обратно Вася шел той же дорогой, но больше безразлично пританцовывал.

В слякости подошел он к клубу. В главной комнате клуба, где танцевали, а по углам играли в шашки, было ярко-светло от безвкусного электрического освещения, но людишки тем не менее — их было очень много — казались черными-пречерными. От этой комнаты отходили темные закоулки-коридорчики, где творилось Бог весть что. Везде, даже около клозетов, висели портреты, а в каждом углу торчало по милиционеру. Центр залы был неестественно чист, но по краям некуда было ступить от окурков и семечек. Вася, полущив в темноте с полчаса, втесался в зал.

«Пару много», — подумал он.

Потолкавшись вокруг себя под какую-то нелепо-бравурную музыку, он отошел в угол и стал смотреть в окно. Пальто для светскости он распахнул.

В клубе было очень мало парней, добрых две трети было девок.

Вася постоял, постоял, посмотрел в окно и вдруг уцепился взглядом за одну девку. Сердце у него ёкнуло и в мозгу стало оживленней. У девки — ее звали Тоня — был очень странный, висевший, как две разбухшие, кормящие груди, зад. А глаза были

лучистые, лучистые и очень нежные. Чувствовалось, что ей самой очень нравится свой зад.

Тоня от нечего делать подошла к Кепчикову. У Васи потеплел живот.

— Постоим, — сказал он ей.

Они постояли.

Васю очень смущали глаза Тони: изумленно-лучистые, они излучали идеальность. От этого у него даже не вставал член.

— Ты, Вася, брось ей в глаза смотреть, — сказал он про себя.

— Ты ей в задницу смотри.

Он опустил глаза, и так и говорил с ней, глядя в задницу. Понемногу прошло еще полчаса. За это время Вася совсем растек и ощутил в груди, у сердца, частичку ее ягодиц. Ему стало так хорошо, что чуть не закружилась голова. Теперь он мог спокойно смотреть на Тонино лицо. Лучистость теперь не мешала, и он уже просто ощущал это лицо как продолжение зада.

Глазки его сверкали и он даже стал притоптывать ножкой.

— Пойдем танцевать, — предложила Тоня.

По своему танцуя, Вася мусолил ее. Наверное потому что он расширял смысл ее задницы на все ее тело, он все время бессознательно оттирал Тоню к клозету.

— Давай поженимся, — сказал он ей вдруг, оскалясь.

Тоня в ответ дружелюбно засмеялась.

А ему стало так светло и радостно, что он, тупо-ласково хихикнув, сунул ей под нос, как конфетку, мягкую оберточную бумажку. Ему захотелось нежно обмазать этой бумажкой все ее пухленькое личико, и его глазки блестели во тьме своих впадин.

— Поцелуй меня, — ответила Тоня.

Прибавилось еще страшно много народу, все толкались, но в душе Васи была тишина.

Угощая в буфете Тоню водой крем-сода, Кепчиков думал о том, как хорошо было бы выйти утром на улицу и постоять вместе с Тоней в большой, разливчатой луже. Оживленность вела за собой его скучно-вялость.

Он представил себе, как потом они выйдут из лужи и пойдут по одинокому шоссе до темного леса, безразлично пританцовывая и останавливаясь около луж или столбов.

Тоня чего-то болтала. Вася мало слушал, и все коршуном вглядывался в ее черты.

— Жена, жена, — тупо тянул он.

Ему страшно хотелось заглянуть внутрь ее лица; он был уверен, что найдет там самого себя. От замутившей ум родимости, черты ее казались ему странными и волшебно-многозначительными и ему то хотелось пальцем постучать ей по лбу, то провести ладонью по бровям, словно опасясь, что все это исчезнет, как мираж.

Ему стало спокойней только, когда он представил себя с ней в постельке, и почему-то вдрызг пьяных, умильно блюющих друг под дружку, на простынь.

Грянул марш. А вскоре пора уже было расходиться. Милиционеры вышли из углов.

Кепчиков, гогоча, вывел Тоню на улицу. По неумению провожать он ее не стал.

— Встретимся завтра, в 6 вечера около почты, — сказала Тоня.

Кепчиков несколько раз громко на всю улицу повторил сказанное и ушел в темноту.

«Приходить или не приходить», — думала на следующий день Тоня. Она жила одна с матерью, которую била и выгоняла, когда к ним в дом приходили парни. А парней у Тони было не много, но и не очень мало. «Сколько рыл!» — воображала она их себе в один ряд.

Впрочем, иногда ей все же хотелось замуж. Но Вася ей не очень нравился, было как-то муторно и неопределенно.

Дело в том, что каждый парень казался ей членом, который она целиком, до самого основания, желала впихнуть себе внутрь. А головы парней почему-то казались ей кончиками членов. Поэтому ее раздражали глаза на голове у людей, она терпела еще серые, неприметные, теряющиеся на коже лица. А у Васи глаза сверкали. Поэтому как человеко-член он не подходил ей.

Тоня не знала, что делать. Почесала затылок. Почитала книжку. Тело распухло, как мягкий арбуз.

— Да ну его, — решила она просто так. — Да ну его.

И не пошла на свидание.

Начался неуютный, как помои, дождь. Вася стремился пойти на свидание. Но часа за два, возвращаясь с работы, он попал под лошадь.

Почему-то под лошадь, а не под машину, хотя машин было много, а лошадь одна.

Его отвезли в больницу с переломом ребра и кровотоками.

В бреду, перед операцией, ему чудился большой, ласковый, туго обтянутый простым платьем зад Тони. Его окаймляли горшочки с комнатными цветами.

Вася думал, что, если он умрет, этот зад превратится в звезду и она будет вечно сиять над его могилою.

А у почты, на том месте, где должно было состояться свидание, никого не было. Только кто-то поставил туда пустое ведро и оно простояло там целый вечер.

●

СЕРЫЕ ДНИ

Во дворе одной старой заезженной испыленной московской улицы стоит деревянный двухэтажный домик. Внутрь его ведет черная пасть — на парадной лестнице никогда не горит лампочка. На полкрыла верхнего этажа протянулся длинный, заставленный сундуками и всяким хламом, коридор, по обе стороны которого — двери комнат-клеток.

Там обитает разнообразный полупьяный житель. Очень много жирных, с отвисающим животом и задом, дядек, лысых, матерщинников и сладострастников. Женщина живет всякая — есть тоненькая, задумчивая и какая-то полуотсутствующая в этом мире кастрюль, тараканов и синего неба, виднеющегося из окон; есть — жирная, грубая, визгливая; такие часто валяются в коридоре пьяные или под чужим мужиком.

Но почти всех женщин объединяет одно: все они стараются забить свои комнаты-клетки стульями, столами, кроватями, горшками и телевизорами. Каждая покупка — дикая радость для одних и плаксивый вой для других.

Некая Вера Петровна (женщина 22-х лет), купив телевизор, всю ночь плясала во дворе при свете ночного фонаря со своим мужем, веселым хохотуном.

И из всех окон смотрели на них, завидовали, ныли и пересчитывали свои денежки.

В сумасшедшем, деревянном чреве дома живут еще дети. Все они садисты и до безумия злы. Кажется, если бы не их относительная рахитичная слабость, то они разнесли бы весь дом, двор, улицу, и если бы могли, весь мир. Но они не могут даже выбить все стекла в своем дворе.

Но зато у них есть жуткое, веселое, бьющее через край своей жизнерадостностью чутье находить слабых. Какая-нибудь старушка-инвалид... И начинается крикливая, сладострастная пляска мучительства.

Живут во дворе также мечтатели. Один из них Иван Дубов, сапожник-частник, чинит обувь только дамам.

— Мужчине я ни одного гвоздя не вобью, — говорит он мрачно и серьезно. — Потому что удовольствия никакого нет.

Другой — Валя Колесов — любит пить пиво. Он опаздывает на работу, бросает все, пока стоит в длинной, суматошной очереди у грязного пивного ларька. И даже, когда умер его крошечный сынок — беленький такой ангелочек — он увильнул и не пошел на похороны, потому что привезли душистое, кипящее пиво.

Даже среди детей есть идеалисты. Один из них, здоровенный садист лет 15-ти, исполосовавший бритвой не одно лицо, тихо замирает, когда выходит гулять Коля-сказочник, мальчик лет 12-ти.

Он отводит Колю в угол двора на бревна и, отогнав всех, смиренно, чуть прикрыв глаза, слушает сказки. Если Коля плохо рассказывает, он его бьет, но не как всех, а покойно и даже уважительно.

В этаком-то домишке живет женщина лет пятидесяти с сыном. Зовут ее Анна Петровна. В молодости она была красива, хрупка и не в меру интеллигентна; муж ей попался грубый, из пролетариев, и давно ее бросил; теперь она — забита, суматошна, а от интеллигентности осталась одна истеричность. Всю свою жизнь она посвятила своему сыну Вите. Вите сейчас — 23 года, учится в техникуме, он — груб, неотесан, одним словом, пошел в отца.

В один прекрасный день Анна Петровна заболела. Это случилось во время стирки, тяжелой и нудной, изломавшей ее тело. Давая себе отдых каждые пять минут, она, как всегда, с эк-

зальтацией думала о сыне, так, чепуху всякую. Это ей страшно помогало. На сей же раз что-то быстро убило ее материнскую романтику. Она почувствовала себя плохо. Вызвали врача. Он пришел, толстый, торопящийся. Пошевелился над ней, и сказал, что пройдет. Выйдя же в коридор и пыхнув на Витю бычьими глазами, сказал, что диагноз тяжел и вряд ли она протянет один месяц.

— Пусть сидит дома, в больнице делать нечего, туда возят выздоравливать, а не умирать, — пояснил он.

Разговор подслушала соседка Вера Иосифовна, женщина лет 48. Уйдя в свою одинокую, вдовью комнату, она подняла к грязному потолку свои сине-водянистые глаза и сказала самой себе:

— Как жаль Витю.

Она очень любила Витю и ревновала его к матери.

Может быть, ей удастся усыновить Витю? Правда, он два раза побил ее и один раз облил холодной водой... Она представила, как Витя спит в ее комнате, и поцеловала ножку кровати.

— А над его головой я повешу портрет Мичурина, — подумала она.

Витя между тем, узнав о близком конце матери, совсем загулял. Он очень любил себя и жил только собой, но в то же время смутно чувствовал, что должен сейчас жалеть и утешать мать.

Эта двойственность раздражала его; поэтому он решил сбежать.

Сказав матери, что их отправляют на практику, он уехал на несколько дней к товарищу.

В маленькой, закопченной комнатушке вместе с какими-то странными, лохматыми и до неестественности крикливыми парнями он жрал водку. Закусывали селедкой и маслянными пальцами перебирали рваные карты. Было как-то хохотно, грязно и интересно. Витя чувствовал, что он во власти веселых освободительных сил; что он может, например, стать сейчас на стол, снять штаны или ударить по лицу мать.

Анне Петровне было между тем совсем скверно, болезнь давала себя знать, а за ней некому было ухаживать. Несколько раз заходила впрочем Вера Иосифовна; но она, вместо того чтобы помочь, принесла два горшочка с цветами и пыталась поцеловать Анну Петровну.

— Все же, если кто и жалеет меня, то это Витя и Вера Иосифовна, — подумала Анна Петровна.

Вялая, опустошенная, погруженная в мечты о сыне, бродила она по комнате, питаясь, как птичка, остатками еды.

Наконец, явился Витя. Он вошел в комнату слегка взлохмаченно-злой, так как в коридоре, подкравшись к нему сзади как тень, его поцеловала в затылок Вера Иосифовна.

— Как, мамаша, здоровье? — все же сказал он, чмокнув мать.

— Я не один. Глаша со мной.

— Где ж она? Глашка-то, — спросила Анна Петровна слезящимся от волнения голосом.

— Сейчас придет.

И Витя сразу же стал прибираться в комнате. Вид комнаты вдруг как-то переменился, и Анна Петровна со своей кроватью оказалась в углу.

Большое место заняла огромная, как плот, постель Вити. Вскоре пришла Глаша.

Это была полная, покойная женщина лет тридцати трех, с округлым задом и грудями. Лицо ее было поразительно бессмысленным и отсутствующим. Душевно она была абсолютно пуста, но не обреченной, страшной пустотой, а какой-то здоровой, покойненькой пустотой, полным отсутствием всяких мыслей.

«Блядь Высшая» — звали ее за это.

В жизни она любила есть, спать и жить половой жизнью. Спала она 10-12 часов в сутки, ела 5-6 раз в день, причем, почему-то любила есть под музыку. Кормили ее очередные любовники, которым она нравилась за простоту и за то, что отдавалась сразу же, без претензий.

Как пришла Глаша, Витя сразу же принялся укладывать мать спать. В дверь постучала и вошла Вера Иосифовна. Она прямо подпрыгивала от охвативших ее мыслей и прежде всего бросилась ласкать Анну Петровну.

— Анна Петровна, баиньки, баиньки, а то вы устанете, — верещала она около нее.

Глаша сидела в углу и молча ела котлеты. Витя, немного остолбеневший от активности Веры Иосифовны, молчал, и в голове его напрягалась и не могла вызреть какая-то тупая и определенная мысль.

— А теперь, детки, я вам постелю,— сказала Вера Иосифовна.

И потом она ушла, оставив незримый туман своей болтовни и истерики.

...Витя и Глаша легли спать. Глаша глухо ворочалась под сильным и решительным телом Вити, и на ее лицо появились бледные, неуловимые признаки мыслей, ибо только в этот момент Глаша могла о чем-нибудь думать.

Анна Петровна кряхтела в своей кровати: свое собственное тело казалось ей лишним и ненужным; она вспоминала, как Витя целовал ее в щечку и думала о том, что это спасет ее от любой болезни.

А наутро в разорванных лучах пыльного солнца они втроем казались ошалевшими, дикими от сна, от самих себя.

Пришел доктор. Виктор почему-то стал забивать гвозди в ящик. Глаша ела, поглаживая бедра. Немного очумевший доктор вызвал Витю в коридор.

— Умрет, умрет мать, — буркнул он. И был немало удивлен, когда вынырнувшая откуда-то из темно-шкафного угла женщина (то была Вера Иосифовна) сунула ему в карман деньги.

Потянулись странные, напряженные, как стук сердца, дни. Глаша совсем как-то опьянела от сытости, от близости Вити и все время просила его «ложиться», даже днем. Выражение ее лица стало осмысленней и даже по-животному одухотворенным.

Валяясь на постели, она часами рассматривала свое круглое, белое лицо и пыталась отразить в зеркале выражение лица, какое у нее бывало в момент близости.

Витя же, возвратившись с работы, мастерил и не обращал на нее никакого внимания, с нелепо сосредоточенным видом стуча молотком...

Анна Петровна плакалась, что вдруг умрет и больше никогда не увидит Витеньку. Вера Иосифовна забегала к ним каждый час, меняла цветы в горшочках.

— Все умрут, — успокаивала она Анна Петровну, — главное, плакать не надо.

И гладила тихую, безволосую головку Анны Петровны.

По ночам же, закрывшись одеялом, она мечтала, как усыновит своего Витю.

Иногда Анна Петровна, заботливо поддерживаемая Верой Иосифовной, выходила в садик подышать Божьим воздухом.

Тогда Витя сразу же бросал все дела, лез в шкаф и пересчитывал материны платья.

— Ты, Глашка, будешь у меня одета, — говорил он.

Витя боялся желать смерти матери, но иногда не выдерживал. Впрочем, он любил ее.

Однажды Вера Иосифовна сидела одна на скамеечке в этом одиноком и в то же время таком, как все, дворике; Анна Петровна еще не желала. Небо было огромное, прозрачное, казалось, это была сама безграничная пустота, уходящая далеко ввысь, в беспредельность, повисшая над реальным и странным в своей определенности миром. Чудилось, что нависшаяя пустота все поглотит или просто пройдет сквозь дома, деревья, тела, растворив их в себе и сделав такими же химеричными и пустыми.

В комнате Анны Петровны было тихо и слегка потусторонне; Глаша ела. Выражение ее лица было каким-то отсутствующим.

Вдруг в немую тишину комнаты вошло чье-то незримое, больное присутствие. Анне Петровне вдруг показалось, что кто-то смотит на них влюбленно и отчаянно. Но откуда смотрит, она понять не могла.

Прошло еще несколько дней в каком-то дневном свете, в суматохе, в размахивании руками, в делах. Они были удивительно непонятные, и Витя даже забывал, когда было вчера, а когда будет завтра.

Анна Петровна хотела найти себе дело и прогуливалась взад и вперед по комнате. Вера Иосифовна шила Вите зеленые тапочки. Иногда они опять чувствовали чье-то изломанное, робкое и как бы стыдливое присутствие. И только одна соседка заметила, как мимо их двери, по пыльному коридору прошмыгнуло какое-то маленькое, странное существо.

Нарушал этот поток жизни доктор. Он приходил толстый, надутый, но уходил от них всегда немного ошалевший. Он вносил в их мир какое-то нестерпимое ожидание, ожидание смерти. Все они были точно на пристани, ожидая прихода корабля — придет или не придет. И вместе с тем не понимали, зачем им все это нужно.

Однажды Витя и Вера Иосифовна остановили доктора в коридоре.

— Что скажете? — тупо спросил его Витя.

— Болезнь чего-то не так пошла. Сейчас сделаю анализ: тогда

сразу видно будет, когда умрет. Приду завтра с ответом.

Новый день начался кошмарно-серо и фантастично.

Витя, спросонок, не разбудив еще Глашу, вместе с соседом-инвалидом ушел пить водку в сарай. У инвалида было по-животному красное выпяченное лицо, точно он все время хотел схватить кого-нибудь зубами.

Иосифовна. Глаша лежала на кровати, сонная, разбросавшаяся и неудовлетворенная.

разбросавшаяся и неудовлетворенная.

Она смотрела на раму окна и страшно жалела, что сегодня не жила с Витей. Из-за одного пропуска ей казалось, что жизнь от нее уходит.

— И не то жалко, что не жила, — думала Глаша, — а мыслей жалко... Какие были мысли. А вспомнить не могу...

Мысли у нее действительно появлялись во время акта; появлялись самопроизвольно, легко, без усилий, как во сне, и какие-то они были уютные, убаюкивающие, люлечные. Они уносили ее куда-то далеко, далеко в давно забытую людьми страну. Глаша чуть не заплакала от обиды... Где мысли? В голове было пусто и холодно. Она пыталась погладить собственное тело. Посмотрела на лампу, на потолок. «Укрывают они меня от дождя», — подумала она. И опять пожалела себя. Неприязненно взглянула на Витю. «Ишь, ходит, и нет ему до меня дела. Хорошо было бы жить не с Витей, а с планетой», — подумала она.

А Витя пел песни, веселый, смешной и сумасшедший. Вера Иосифовна умиленно на него глядела и даже бросила мыть пол.

Самое же страшное и фантастичное было то, что Анна Петровна озлилась. Ей вдруг показалось, что она все-таки действительно может умереть. Она поверила в это только как в некую вероятность, пусть ничтожную, но уже это ее озлило. Неожиданно она стала швыряться на пол посудой. Побродит, побродит и р-раз, швырнет чего-нибудь, вилку там или нож.

Странно, что сначала никто на это не обратил внимания. А Вера Иосифовна вдруг убежала в лавку купить белых цветов.

Витя под конец совсем отрезвел и стал есть рыбу. Он так погрузился в еду, что опять ни на кого не обращал внимания. Глаша спала в верхнем белье, лишь изредка поднимая голову при звоне посуды, чтобы потом снова сползти вглубь, под одеяло.

— Довольно, мамаша, хулиганить, — сказал, наконец, Витя.

Неожиданно раздались голоса.

— Вот эта, — пробубнил чей-то глухой голос за дверью, и в комнату вошел необычайно солидный, пожилой человек с портфелем. Вид у него был не в меру самодовольный и вместе с тем пришибленный, оглушенный. Самодовольный человек была вся его внешняя оболочка, жирная и инертная, но в нем также сидел и оглоушенный человечек, который, казалось, вот-вот выпрыгнет из оболочки и накричит, но накричит единственно от страха.

Толстяк аккуратно отер пыль со стула, солидно и как-то чересчур самодовольно сел, но тут же оглядел всех торопливым, перепуганным, как бы выскакивающим из орбит взглядом: а не сделал ли я чего-нибудь неприличное.

Глаша открыла глаза и жирно потянулась всем телом.

Толстяк распахнул портфель и брякнул:

— Я — завуч школы. (Пришибленный человечек спрятался и на Глашу смотрело солидное, лишь слегка подпрыгивающее в своем довольстве лицо). — Вы Глафира Яковлевна?

— Буду ей, — отвечала Глаша.

— Видите, дело в том, что письмецо на вас есть, от ученика нашего 4-го класса... Лично к нашему директору... К награде просит Вас мальчик представить... Чуть не памятник вам поставить.

Витя бросил пищу и подошел к завучу:

— По-ученому что-то говорите... Что вы хотите сказать?

— Ничего, ничего, товарищ, — опять необычайно важно, даже склонив голову набок, ответил завуч. — В письме наш ученик очень хвалил вашу жену... К награде просил представить... На работе повысить... Два письмеца послал: в милицию и администрацию школы... Психологически крайне интересно.

В это время в коридоре опять послышался шум, и в комнату влетела женщина лет пятидесяти вместе с тоненьким, трясущимся существом лет одиннадцати.

— Ты ответишь за свой разврат, сучка, — набросилась она на Глашу, — мальчишку до чего довела... В петлю лезть собрался... Еле вынули...

— Позвольте, позвольте, почему петля? — закричал завуч и двинулся на женщину. — Письмо было, а не петля.

В это время дверь распахнулась и вошла Вера Иосифовна. В руках она держала ослепительно-белый букет цветов. На минуту

все смешалось. Мать мальчика кричала, что ее Коля хотел повеситься; завуч самовлюбленно напирал, что было только письмо; Глаша ошалела и была раздражена, что ей не дают спать. Витю же от всех этих криков вдруг потянуло в сарай пить водку.

Лишь приведенный мальчик Коля одиноко стоял в углу; у него был удивительно старческий, взъерошенный вид карлика; но лицо было освещено каким-то странным сиянием, как будто ничего это его не касается и он в раю.

— Знаю, знаю, я все знаю! — затараторила вдруг Вера Иосифовна. — Иван Дубов, сапожник, мне рассказал. Сейчас он тут, в коридоре. Ваня, зайди!

Иван Дубов, корявистый, серьезный мужчина, поправляющий обувь только дамам, сутулясь, вошел в комнату. Вся его фигура излучала необычность

Все притихли. Только завуч напустил на себя еще большее самодовольство.

— Влюблен был малыш в Глашку-то, — внушительно и острожно, точно речь шла о починке туфель для незнакомки с другого конца города, — сказал Дубов. — Молчаливо был влюблен, не по-здешнему. Я в аккурат вижу, кого у нас во дворе осияет. Глаз у меня на это есть... Наблюдал я за Колькой, совестливо наблюдал, не спугнув его... Часто он подкрадывался к дверям, съеживался в подушечку и в вашу большую замочную скважину часами за Глашкой наблюдал... Никто об этом не знал, ни Глашка, никто. Часы выбирал с хитрецой, когда в коридоре никого не бывало... Однажды я и сам, грешен, решил посмотреть, что ему там видится... Глянул, и вижу большой, в черной юбке зад... Глашкин, значит, больше ничего не видно... А Кольку, между прочим, стихи писать тянуло... Посмотрит, посмотрит в щелку в зад и идет на чердак стихи писать...

В это время Анна Петровна швырнула на пол тарелку. Ей стало обидно, что о ней теперь совсем забыли.

«Перед смертью, и то не помнят», — подумала она.

Мать Коли заплакала:

— И вешался-то, негодяй, смешно, на кухне, только рубашку порвал.

— Успокойтесь, мамаша, — вдруг как-то надуто и деловито сказал завуч. — Мальчик, ты почему повесился? — важно спросил он Колю.

— От счастья! — тихо и с какой-то чудотворной испепеляющей улыбкой отвечал старичок-карлик. — От счастья повесился.

Все опять начали кричать. У Глаши вдруг стал очень значительный вид... Она ни на кого не обращала внимания, но улыбалась самой себе. Она представила, как хорошо было бы сейчас выгнать всех, лечь с Витей и, зажмурив глаза, представлять себе этого странного тоненького заморыша — мальчика Колю.

«Чудно как будет... Дух захватит... Ишь, какие у него глаза, — подумала Глаша, — и мысли потекут... Новые мысли... Веселые, сердечные, кружащиеся...»

С блуждающей улыбкой, чуть виляя телом, она подошла к Вите и сказала вслух:

— Выгони всех, и мать тоже... Лечь хочу...

Витя обомлел и матюгнулся. Мамаша Анна Петровна, вдруг вообразив, что ее уже хотят выкинуть из постели, так была поражена, что даже не стала кричать и швыряться, а ушла в себя и задумалась. Завуч тоже чего-то перепугался, всполошился и стал ни с того, ни с сего читать энциклопедию. Вере Иосифовне захотелось поцеловать Витю, но и она смутилась. Выбежав на кухню, она все-таки не удержалась и поцеловала чайник.

Иван Дубов как-то резко ушел. Лишь Коля продолжал так же тихо улыбаться. В конце концов в комнате остались только Витя, Глаша и Анна Петровна.

А вечером, деловито и спокойно, как летучая мышь прилетает в свое родное гнездо, пришел доктор.

Почти автоматически он проговорил, что произошла ошибка, и анализы доказали, что болезнь Анны Петровны пустяшная, и она выздоровит сама собой.

Вите это показалось странным, ненужным и к тому же нелепым. Он хотел даже накричать на доктора.

Но в общем все осталось по-прежнему и ничего не изменилось, хотя как будто и произошли события.

Остались и это высокое, пустое небо, и кружащийся в легком, сумасшедшем танце мир, и двор, где Иван Дубов чинит обувь только дамам. Все было так же, как вчера, как будет завтра.

●

СВОБОДА

В Измайлове на асфальтно-зеленой улочке расположились веселые, полные людей домишки. Целые летние дни воздух здесь напоен лаем собак, последними вздохами умирающих, криком детей и туманно-тупыми мечтами взрослых. Все здесь происходит на виду, все мешают друг другу, плачутся, и вместе с тем каждый сам по себе.

В одном из этих домишек живет пожилая, полуинтеллигентная одинокая женщина — Полина Васильевна. Вместе с ней — три кошки, и во дворе, в конуре — пес, обыкновенная дворняжка. Кварталов за шесть живет и ее дочка с мужем.

Сегодня, в воскресенье, — все семейство в сборе и комнатушка Полины Васильевны забита людьми и животными. Уже второй час идет обед. Обедают молча, задумываясь, но иногда высказывая что-нибудь пугающе-многозначительное.

Полина Васильевна иной раз отложит ложечку, и юрко ртом ловит мух, делая точно такие же движения, какие делают в таких случаях собаки.

— Люблю повеселиться, — виновато говорит она зятю. — Другой раз сидишь себе так смирнехонько, накушавшись, работа сделана, всем довольна, но вроде чего-то не хватает. Я всегда тогда мух ртом ловлю. Наловишься, и как-то оно на душе спокойней.

— Кушайте, мамаша, кушайте, — сурово отвечает зять.

Кроме работы, он никак и нигде не может найти себе применение; поэтому свое свободное время он воспринимает как тяжкое и бессмысленное наказание. «Ишь, стерва, — с завистью думает он о теще. — Мне бы так. Наглотается мух и всегда какая-то осчастливленная».

Он прибауточно-остервенело таращит глаза на Полину Васильевну. У нее мягко-аппетитные черты фигуры, побитое, с некоторой даже грустью, но очень спокойное выражение лица, какое бывает, пожалуй, у мудрецов к концу их жизни.

— Вон те, и солнышко в аккурат выглянуло, Галина, — говорит

Полина Васильевна дочери. — И лапша моя на подокошке нагрелась. В кухню не надо идти.

Галина, здоровая баба лет тридцати, ничего не отвечая, остервенело ест.

По ее сочно-помойному лицу, как суп, льется пот.

Ко всему на свете, к отдыху, к любви, даже ко сну она относится как к серьезной и продолжительной работе; ее интересует быстрейшее достижение цели, хотя цель — сама по себе — ее редко когда волнует. Поэтому она ест сурово, напряженно, заняв, вместе со своими локтями, полстола, и выражение лица ее не различишь от супа.

Полину Васильевну слегка раздражает молчание дочери; «ты хоть слово, а пискни, — думает она. — Хоть слово. Потому что ты среди людей, а не среди туш». Она обращается за выручкой к зятю.

— Молоко вчерашнее у меня попортилось, Петя, — повторяет она ему. — Не пойму, мурка лизнула или дождик накапал. Кап-кап, дождик.

Полина Васильевна икает от удовольствия.

— Само порчено, — деловито брякает зять.

От этих собеседных слов Полина Васильевна совсем растаивает. Она, как кошка, утирает лицо, но не лапкой, а платочком, и продолжает:

— В позапрошлом году у Анисьи репа поспела... Хорошо... Ик... А во время войны и гражданской революции я любила репу с картошкой кушать... Ик... Сейчас надо кошек почесать, а чаевничать потом будем.

Обед кончен. Галина бросает есть резко, как будто с неба грянул гром; и также деловито и размашисто плюхается на кровать — баиньки. Сразу же раздается ее устойчиво-звериный храп. Петя же, окончив обед, стал еще оглоушенней.

Чувствуется, что он так устал от свободного времени, что взмок. Пройдет еще час, и он наверняка не выдержит: начнет материться. Матерится Петя от страха; особенно пугают его свободные мысли, временами, как мухи, появляющиеся у него в мозгу. Одна Полина Васильевна покойненька: почесав кошек, она юрко, чуть вприпляску, собирает в миску остатки еды и несет ее в конуру, собаке.

Пока пес, виляя хвостом, судорожно грызет пищу, Полина

Васильевна, опустившись на корточки, разговаривает с ним. Ей кажется, что пес — это самое значительное существо в мироздании; и что каждый не накормивший его человек — преступник.

А в далекой юности, когда она была религиозна, она почему-то представляла себе Высшее Существо в виде большой, с развесистыми ушами, собаки.

— Умненький ты мой, — дико кричит она своему псу. — Кушай и облизывайся... Педагог...

Наконец Полина Васильевна издает животом какой-то уютный, проникающий в ее мозг, звук, и с теплыми глазами бредет обратно...

Дома Петя кулаком будит жену.

— Материться начну, — дышит он ей в лицо. — Удержу уже нет без трудодействия.

— Ух, матерщинник, — бормочет сквозь сон Галина.

— Сама знаешь, теща — культурная, не любит мата. Даже кошек тогда выносит из комнаты, — угрожает Петя.

Скрипя всем телом, Галина встает.

— Мы уходим, мамаша, — обращается Петя к вошедшей Полине Васильевне.

— Ну и Бог с вами, уходите, — умиляется Полина Васильевна. — Какая я была маленькая, а теперь большая. И мои уже накормлены, — кивает она в сторону кошек.

Дети уходят. Полина Васильевна свертывается на диване калачиком.

«Полежу я, полежу», — думает она полчаса.

«Полежу я, полежу», — думает она еще через два часа. Так проходит вечер.

●

ПИСЬМО

Эта, во многих отношениях неприятная история — один мальчик, которому рассказали о ней, надолго перестал испражняться — произошла в спермотовидно-живом уголке, где шелестели листья и куда проникал запах обычного города.

Только в окна этой квартиры смотрели несуществующие, зеленые ветки деревьев.

Они жили там одни, муж и жена. И уже несколько лет. Сначала они очень любили друг друга, потом просто жили как люди, и поэтому все считали, что это продолжится вечно. Да и стол стоял вечно, и книги лежали на полках, и пол каждый день подметали; так что было непонятно, каким образом это все может перемениться.

Но однажды жена, ничего не подозревавшая кроме своего живота, проснулась и увидела около своей головы, на подушке, кал; причем кучкой, но в вышину. коричневого цвета хорошей, загорелой женщины. Но пахло однако ж невыносимо; от этого жена и проснулась. Самое главное, что мужа не было.

Правда, непонятно, что ее удивило больше: кал или отсутствие мужа. Отбросив тело от вонючего, она рыскала по комнате. Что-то неизвестное убедило ее в том, что произошло непоправимое. Все же она успела съесть мутный и мягкий помидорчик. А потом и наткнулась на письмо. Оно лежало на столе между яйцами.

Самое большое, что произошло, заключалось в том, что пока она читала письмо, она забыла, что у нее щекочет в заду. И вспомнила об этом только на следующий день, как будто во всем этом перерыве ее задницы вообще не существовало.

Вот это письмо.

«Глаша! Я любил тебя, люблю сейчас, но тем не менее я тебя покидаю навсегда. Извини, но меня разбирает хохот. Ты даже не понимаешь, кто ты есть.

Он, этот хохот, сгреб меня уже с ночи. Ты спала, а я часто просыпался и посреди темноты хохотал на кровати. Снилось ли тебе чего-нибудь?! Я хохотал, спустив ножки.

Ведь, посуди сама, ты (и твоя мамаша, вижу как она варит суп — единственное, что она любила в жизни)... так посуди сама, ты не ожидала, что я от тебя уйду. Тем более, так погано... Ведь нагадил тебе на подушку я, а не крыса, как ты думаешь. Но дело не в кале. Дело в том, что меня разбирает хохот. И я поэтому не могу говорить серьезно. Я представляю твои выпученные, любимые глаза и как долго ты пытаешься уяснить себе, что я уже не твой муж; что я не буду обдавать тебя запахом своего языка и не буду гладить грудь. Да всякое перемещение бытия тяжело; но что же делать? Представь себе, что ты переселилась на Марс.

Ведь это так неожиданно, как остановка сердца; признайся, Глаш, ты этого не ожидала.

Когда я нагадил тебе на подушку, меня взяла совесть. Почему я так пачкаю чистое белье? Вообще все время, когда ты спала, а я собирал вещи в чемодан, мне в голову лезла одна пошлятина. И очень меня волновало, сколько яиц я смогу сожрать за завтраком. Признаюсь, что дерьмо сразу стало пахнуть и я открыл форточку. Что не сделаешь для любимой!.. Господи, до чего же я омерзительно пошл и скучен. Даже мой цинизм скучный. Но это произошло не от меня, а свыше.

Глаш! Я вот сейчас пишу и жру бутерброд. А знаешь, ты ведь для меня стала как цифра «пять». Отчего я зеваю, если мы расстаемся на всю жизнь?! Как передать мне самому себе твое возмущение — ведь я так люблю любоваться.

Так вот, милая, я изложу причины, почему я решил с тобой расстаться. Давеча, голубушка, я еще тебя любил — хочешь укушу себя за руку?! — не теперь... нет, нет, нет!.. Плюю тебе в лицо, как я плюнул в собственный кал, уходя...

Глаш, наберись терпения. Тебе хотца узнать причины, но опять меня разбирает хохот... Хи-хи-хи... Глашенька, лицо твое сонное — исчезает, превращаясь в задницу, а задница превращается в Лик... Кто ты у меня?!. Родная... Помидорчик... Не думай, что я люблю смердить. К делу, к делу!

Помнишь, вчерась мы были с тобой у речки. А природа — выражаясь физическим языком — как была прекрасна! Жаль, что слова другого нет. Облачка над водой, ветерочек, дуновение мысли, хатки. И парение тела.

Мы бросали камни. Вниз. В реку. И они улыбались нам, как лица человеческие. Но это пустяк. Ведь мы с тобой греховодники, а? Шутники!? Те-те-те, те-те-те! Плюх, плюх, камни плюхались. Но ведь ты была довольна. Прости, но твои волосы напоминают мне души членов. И все было в порядке.

Но тут совершенно неожиданно один камень — помнишь — сорвался с твоей руки и упал, скользнув мне по колену. В сущности он мог бы попасть мне в висок: ведь я ниже тебя ростом. Ты бросилась ко мне: «Милый, больно!?», — поцеловала... и все кончилось. Все кончилось — для камня, для реки, для тебя, но не для меня.

Когда мы шли обратно, потаенным, сбывающимся лесом, я

был весь во власти одной мысли: «гадина, ты могла меня убить».

Ведь правда, еще один сгусток случайности, еще одно движение и ты могла бы меня убить или сделать мне совсем больно. Совсем больно. А ты знаешь, я не люблю боли. И вместе с этим ударом в мое сердце и душу сразу, как во время творения, вошла ненависть, ненависть... к тебе... или скорее к форме земной жизни... Ведь даже ты, гадина, которую я так люблю и которая меня любит, могла бы меня убить. И именно это сознание, это злобное, как глаза садиста, сознание такого несовершенства довело меня до исступления... Ведь Глашенька, Глаша, ты могла меня убить... Насколько же мы одиноки, разъединены, что даже от руки любимой — и к тому же против ее воли — нас может ожидать смерть и боль. И не все ли равно, случайность ли это или закон.

Смерть то есть смерть.

Ненавижу, ненавижу!.. Ненавижу твои пухлые пальцы, которые ласкали меня... Ненавижу твое дыханье, которое смешивалось с моим... Ненавижу твои глаза, в которых столько доброты... Все, все ненавижу... И только потому что я представил себе, что теоретически — по случайности ли, по судьбе — ты можешь меня убить... Убить, любя... До чего же мы одиноки и отъединены... Как глядеть в глаза других людей!?. Когда даже в тебе я вижу теперь врага. ...Родимая, ты могла меня убить... Одна мысль об этом вызывает у меня пот и слюни бешенства... До чего же ужасен, обречен этот мир, когда даже от любимой нас ждет смерть и боль... Бродя по лесу, я мысленно взвизгивал: если все так жутко, если земная жизнь облечена в такие скрыто-уродливые, язвительные формы, где яд и случай таятся в каждом лепестке, то прокляну, прокляну, прокляну!... Проклинаю ваши звезды, ваши глаза, ваше дыхание... Проклинаю твою любимую, нежную руку, которая — хотя бы в мыслях моих — могла бы стать орудием убийства... Моего убийства... Одно это сознание невыносимо... Невыносимо... Чтоб ты сдохла, родимая... Чтоб гады и вши ползли по тебе, ненаглядная... Господи, до чего же я жалею себя... и как мне больно от удара твоего камня... И как страшно ...страшно стало смотреть в твои глаза... Будь проклят Демиург, нас создавший... За одну царапинку на моей коже должна поплатиться вся вселенная... Всё, я кончаю. Я твердо решил, не общаться с тем, что так отъединено от меня и далеко. Подумай,

ты в принципе можешь убить меня. (Пусть случайно). Как я могу после этого целовать твои губы, нежиться около тела... Я буду лучше жрать крыс. Искать друга в паровозе. Или лучше — буду один. ...Гадина, гадина... Истеричка... Плюю, плюю в морду, плюю!»

Так кончилось это письмо. Его последствия были самые странные.

И он и она стали счастливы. Глаша просто решила, что ее муж сошел с ума и была рада, что так легко избавилась от него. А он — потому что жил оставшееся время один одинешенек, а больше ему ничего и не было нужно.

●

УРОК

Пятый класс детской школы. Идет урок.

Две большие, как белые луны, лампы освещают аккуратные ряды потных, извивающихся мальчиков. Они пишут. Перед ними стройно стоит, как фараон, белая, с мраморно-выпяченным назад задом учительница. В воздухе — вздохи, шепоты, мечтания и укусы.

Шестью восемь — сорок восемь, пятью пять — двадцать пять.

«Хорошо бы кого-нибудь обласкать», — думает из угла веснушчатый, расстроенный мальчик.

— Арифметика, дети, большая наука, — говорит учительница.

Скрип, скрип, скрип пера... Не шалить, не шалить... «Куда я сейчас денусь, — думает толстый карапуз в другом углу. — Никуда... Я не умею играть в футбол и меня могут напугать».

Над головами учеников вьются и прыгают маленькие, инфернальные мысли.

«Побить, побить бы кого-нибудь, — роется что-то родное в уме одного из них. — Окно большое, как человек... А когда я выйду в коридор, меня опять будут колотить... И я не дойду до дому,

потому что надо идти через людей, по улицам, а мне хочется замирать»...

Кружева, кружева... Белая учительница подходит к доске и пишет на ней, наслаждаясь своими оголенными руками.

Маленький пузан на первой парте утих, впившись в нее взглядом.

«Почему ум помещается в голове, а не в заду, — изнеженно-странно думает учительница. — Там было бы ему так уютно и мягко».

Она отходит от доски и прислоняется животом к парте. Повторяет правило.

«Но больше всего я люблю свой живот», — заключает она про себя.

«Ах, как я боюсь учительницы, — думает в углу веснушчатый мальчик. — Почему она так много знает... И такая умная... И знает, наверное, такое, что нам страшно и подумать»...

Раздается звонок. Белая учительница выходит из класса, идет по широким, пустым коридорам. Вокруг нее один воздух. Никого нет. Наконец, она входит в учительскую. Там много народу. Нежданные, о чем-то думают, говорят. Белая учительница подходит к графину с водой и пьет.

«Какая ледяная, стальная вода, — дрогнуло в ее уме, — как бы не умереть... Почему так холодно жилке у сердца... Как хорошо»... Садится в кресло. «Но все кругом враждебно, особенно люди, — думает она, мысленно покачиваясь в кресле, — только шкаф добрый». Между тем все вдруг занялись делом.

Пишут, пишут и пишут.

В комнате стало серьезно.

К белой учительнице подходит мальчик с дневником.

— Подпишите, Анна Анатольевна, а то папа ругается.

Белая учительница вздрагивает, ничего не отвечает, но шепчет про себя:

— Разве *мне* это говорят?.. И разве я — Анна Анатольевна?.. Зачем он меня обижает. «Я» — это слишком хорошее и недоступное, чтобы быть просто Анной Анатольевной... Какое я ко всем ним имею отношение!?.

Но она все-таки брезгливо берет дневник и ручку. «Я подписываю не дневник, — вдруг хихикает что-то у нее в груди. — А приговорчик. Приговор. К смерти. Через повешение. И я —

главный начальник». Она смотит на бледное, заискивающее лицо мальчика и улыбается. Легкая судорога наслаждения от сознания власти проходит по ее душе.

— Дорогая моя, как у вас с реорганизацией, с отчетиками, — вдруг прерывает ее, чуть не дохнув в лицо, помятый учитель. — Ух, ты, ух ты, а я пролил воду... Побегу...

Опять раздается звонок. Белая учительница, слегка зажмурившись, чтоб ничего не видеть, идет в класс.

...Кружева, кружева, и кружева.

«Хорошо бы плюнуть», — думает веснушчатый, нервозный мальчик в углу.

Шестью восемь — сорок восемь, пятью пять — двадцать пять.

Белая учительница стоит перед классом и плачет. Но никто не видит ее слез. Она умеет плакать в душе, так, что слезы не появляются на глазах.

Маленький пузан на первой парте вылил сам себе за шиворот чернила.

«Я наверняка сегодня умру, — стонет пухлый карапуз в другом углу. — Умру, потом что не съел сегодня мороженое... Я ведь очень одинок».

Белая учительница повторяет правило. Неожиданно она вспотела.

«По существу ведь — я, — думает она, — императрица. И моя корона — мои нежные, чувствительные мысли, а драгоценные камни — моя любовь к себе...»

«Укусить, укусить нужно, — размышляет веснушчатый мальчик. — А вдруг Анна Анатольевна знает мои мысли?!»...

Урок продолжается.

●

СМЕРТЬ РЯДОМ С НАМИ

(Записки нехорошего человека)

Человечек я нервный, слезливый и циничный, страдающий язвой желудка и больным, детским воображением.

Сегодня, например, с утра я решил, что скоро помру.

Началось все с того, что жена, грубо и примитивно растолкав меня, на весь дом потребовала утреннюю порцию любви.

Плачущим голоском я было пискнул, что хочу спать, но ее властная рука уже стаскивала с меня одеяло.

— Боже, когда же кончится эта проклятая жизнь, — пробормотал я понуро и уже не сопротивляясь.

Через десять минут я был оставлен в покое, и глубоко, обидчиво так задумался. Погладив свой нежный живот, я вдруг ощутил внутри его какое-то недоумение. Я ахнул: «это как раз тот симптом, который Собачкин мне вчера на ухо шепнул. Моя язва переходит в рак». Если бы я в это действительно поверил, то тут же упал бы в обморок, потом заболел,.. и возможно все бы для меня кончилось. Но я поверил в это не полностью, а так, на одну осьмушку. Но этого было достаточно, чтобы почувствовать в душе эдакий утробный ужас.

— Буду капризничать, — заявил я за завтраком жене.

— Я тебе покапризничаю, идиот, — высказалась жена.

— Давай деньги, пойду пройдусь, — проскрипел я в ответ.

Жена выкинула мне сорок копеек. Я выскочил на улицу с тяжелым, кошмарным чувством страха и в то же время мне никогда так не хотелось жить.

Изумив толстую, ошалевшую от воровства и пьянства продавщицу, я купил целую кучу дешевых конфет и истерически набил ими свой рот. «Только бы ощущать вкусность, — екнуло у меня в уме. — Это все-таки жизнь».

Помахивая своим кульком, я направился за получкой на работу. В этот летний день у меня был отгул.

Но цепкий, липкий страх перед гибелью не оставлял меня. Капельку поразмыслив, я решил бежать. «Во время бега башка как-то чище становится», — подумал я.

Сначала тихохонько, а потом все быстрее и быстрее, с полным ртом конфет, я ретиво побежал по Хорошовскому шоссе. Иногда я останавливался и замирал под тяжелым, параноидным взглядом милиционера или дворника. «Какое счастье жить, — трусливо пищал я про себя. — Давеча ведь не было у меня страха, и как хорошо провел я время: целый день молчал и смотрел на веник. Если выживу, досыта на него насмотрюсь. Только бы выжить!»

Иногда я чувствовал непреодолимое желание — лизать воду из

грязных, полупомойных лужиц. «Все-таки это жизнь», — повизгивал я.

Скоро показались родные, незабвенные ворота моего учреждения — Бухгалтерии Мясосбыта. Пройдя по двору и растоптав по пути детские песочные домики, я вбежал в канцелярию. Так уживались друг с другом и истеричный, веселый хохоток и суровая вобравшая все в себя задумчивость. Представители последней, казалось, перерастали в богов. Мой сосед по стулу — обросший, тифозный мужчина — сразу же сунул мне под нос отчет.

«Боже мой, чем я занимался всю жизнь!» — осенило меня.

Поразительное ничтожество всего земного, особенно всяких дел, давило мою мысль. «Всю свою жизнь я фактически спал, — подумал я. — Но только теперь, находясь перед вечностью, видишь, что жизнь — есть сон. Как страшно! Реальна только смерть».

Где-то в уголке, закиданном бумагой и отчетами, тощая, инфантильная девица, игриво посматривая на меня, рассказывала, что Вере — старшему счетоводу и предмету моей любви — сегодня утром хулиганы отрезали одно ухо.

Это открытие не произвело на меня никакого впечатления. «Так и надо», — тупо подумал я в ответ.

Теперь, когда, может быть, моя смерть была не за горами, я чувствовал только непробиваемый холод к чужим страданиям. «Какого черта я буду ей сочувствовать, — раскричался я в душе. — Мое горе самое большое. На других мне наплевать».

Я ощущал в себе органическую неспособность сочувствовать кому-либо, кроме себя.

Показав кулак инфантильной девице, я посмотрел в отчет и ни с того, ни с сего, подделал там две цифры. Все окружающее казалось мне далеким, далеким, как будто вся действительность происходит на луне.

Между тем зычный голос из другой комнаты позвал меня получать зарплату. Без всякого удовольствия я сунул деньги в карман.

Оказавшись на воздухе, я сделал усилие отогнать страх. «Ведь симптом-то пустяшный, — подумал я. — Так, одна только живость ума». На душонке моей полегчало, и я почувствовал слабый, чуть пробивающийся интерес к жизни. Первым делом я

пересчитал деньги. И ахнул. Раздатчица передала мне лишнее: целую двадцатипятирублевую хрустящую бумажку. Сначала я решил было вернуть деньги. Но потом поганенько так оглянулся и вдруг подумал: «зачем?».

Какое-то черненькое, кошмарное веселие во всю плескалось в моей душе. «Зачем отдавать, — пискнул я в уме, — все равно, может быть, я скоро умру... Все равно жизнь — сплошной кошмар... Подумаешь: двадцать пять рублей — Вере ухо отрезали, и то ничего... А, а, все сон, все ерунда...»

Но в то же время при мысли о том, что зарплата моя увеличилась на такую сумму, в моем животе стало тепло и уютно, как будто я съел цыплят-табака. Вдруг я вспомнил, что раздатчица получает за раз всего тридцать рублей.

«Ну и тем более, — обрадовался я. — Не заставят же ее сразу двадцать пять рублей выплачивать. Так по четыре рубля и будет отдавать... Пустяки».

Но мое развлечение быстро кончилось; знакомый ужас кольнул меня в сердце: вдруг умру... даже пива не успею всласть напиться. Прежний страх сдавил меня.

— Куда мне деваться? — тоскливо спросил я в пустоту.

Недалеко жила моя двоюродная сестра. Но представив ее, я почувствовал ненависть. «Лучше к черту пойти», — подумал я.

У нас с ней были серьезные разногласия. Дело в том, что моя сестра, в молодости будучи очень похотливой и сделавшей за свою жизнь 18 абортов, вдруг на 35-ом году своей жизни впала в эдакий светлый мистицизм и стала искать живого общения в Богом. Не знаю, что на нее повлияло: то ли долгий, истошный крик толстого доктора о том, что — «еще один аборт и стенки матки прорвутся»; то ли дикие угрызения совести из-за того, что она, ради своего удовольствия, не допустила до жизни 18 душ,.. но с некоторых пор она упорно стала повторять, что мир идет к свету.

Хорошо помню ее разговор с соседкой.

— Ну, Софья Андреевна, — говорила соседка, — ну одного, двух человек умертвить, это еще куда ни шло — ни одна порядочная женщина без этого не обходится — но, подумайте сами, 18 человек!

— Ерунда, — брякнула сестренка, — вы видите только темную сторону жизни. Если я их и убила, то ведь зато существуют восход солнца и цветы.

Я представил себе, как она станет поучать меня и побрел куда-то вдаль проходными дворами. Я проходил мимо галок, автомобилей, бревен, тяжелых, мясистых баб и уютных, слабоумненьких старичков.

Наконец, утомившись, я прикорнул на пустынном, одичалом дворике у досок. Кругом валялись кирпичи. И ни одной души не было. Вдруг около меня появилась жалобная, брюхатая кошка. Она не испугалась, а прямо стала тереться мордой о мои ноги.

Я чуть не расплакался.

— Одна ты меня жалеешь, кисынька, — прошептал я, пощекотав ее за ухом. — Никого у меня нет, кроме тебя. Все мы, если не люди, то животные, — прослезился я. — И все смертные. Дай мне тебя чмокнуть, милая.

Но вдруг точно молния осветила мой мозг, и я мысленно завопил:

— Как!.. Она меня переживет!.. Я умру от рака, а эта тварь будет жить... Вместе с котятами... Негодяйство!

И не долго думая, я хватил большим кирпичом по ее животу. Что тут было! Нелепые сгустки крови, кишок и маленьких, разорванных зародышей звучно хлюпнули мне по плащу и лицу. Меня всего точно облили. Ошалев, я вскочил и изумленно посмотрел на кошку.

Умирая, она чуть копошилась. Какой-то невзрачный, как красный глист, зародыш лежал около ее рта. От тоски у меня немного отнялся ум.

Быстро, даже слегка горделиво, весь обрызганный с головы до ног, я вышел на улицу.

«На все плевать, — думал я, — раз умру, на все плевать». Прохожие шарахались от меня в сторону, только какой-то пес, почуяв запах свежей крови, долго и настойчиво бежал за мной по пятам, повиливая хвостом. Забрел я на какую-то отшибленную, одинокую улочку. Кроме пивной и керосиновой лавки, никаких учреждений на ней не было. Там и сям шныряли потные, временами дерущиеся, обыватели. Вдруг я услышал за спиной пронзительный, милицейский свист. Я обернулся и увидел вдали пьяного, еле держащегося на ногах, обывателя, который указывал на меня пальцем, и несущегося во всю прыть в моем направлении дюжего милиционера. Я робко прижался к стенке.

— В отделение! — гаркнул милиционер, осмотрев меня своими большими, как ложки, глазами.

Через десять минут, промесив липкую помойную грязь, мы очутились в прокуренном, покосившемся помещении, плотно набитом людьми. На стенах висели плакаты. За толстой, невысокой перегородкой, вроде перил, были милиционеры, по другую сторону мы — граждане. Нас соединяли какая-то дверца, похожая на калитку, и то, что все мы, в большинстве, были пьяны так, что еле держались на ногах.

Ретивый, полутрезвенький милиционер подряд штрафовал граждан за алкоголизм, еле успевая засовывать рубли и монеты себе по карманам. Он так торопился, что половина штрафа просыпалась у него под ноги и мелочь густо, как семечки, усыпала пол.

Меня перепугал гроб, стоящий в углу. Но оказалось, что какой-то здоровый милиционер, еле выводя буквы, составлял о нем акт. Рядом стояла, тоже под хмельком, ядовитая старушка в платочке.

— Не будешь, мать, спекулировать гробами, — приговаривал милиционер. — Другой раз задумаешься.

Наконец очередь дошла до меня.

— К этому нужно вызвать начальника милиции, — гаркнул задержавший меня служивый.

Скоро вышел сухонький, маленький человечек в форме офицера. Он тоже был пьян.

Пошептавшись с моим милиционером, он подошел ко мне.

— Почему вы облеваны? — спросил он.

— Это не блевотина, а кровь, товарищ начальник, — ответил я.

— Не врите; что я не вижу, — пошатываясь, сказал начальник. — Если б была кровь, мы бы вас еще месяц назад задержали.

— Я подрался с кошкой, — тихо, как в церкви, проговорил я. — У меня были с ней метафизические разногласия. Кто переживет друг друга.

— Не хулиганьте, гражданин, — рявкнуло начальство. — Отвечайте, почему вы облевались, где не положено, и не в том месте перешли улицу?!!

— По рылу бы ему дать, — ухнул розово-упитанный милиционер у меня под ухом.

— Не самовольничайте, Быков, — оборвал его начальник. — Платите штраф, гражданин, и точка.

— Сколько?

— Ну ...на четвертинку ...полтора рубля то есть.

Я сунул ему в руку два рубля и повернулся к выходу.

— Гражданин, держите квитанцию, — раздался мне вслед хриплый, надрывный голос. — У нас тут не частная лавочка.

И кто-то сунул мне в руку конфетную бумажку. Потрепанный, я выскочил на улицу.

— В конце концов, должен же я знать, когда умру, — завопил я перед самим собой. — Я больше этого не вынесу. Я должен знать: умру я или не умру.

Но тут счастливая, устремленная мысль осенила меня. Вприпрыжку, по самым лужам, стараясь забрызгать себя грязью, чтобы скрыть следы крови, я побежал к трамваю...

Через полчаса я был у букинистического магазина. С каким-то неопределенным чувством, смутно надеясь найти какое-нибудь завалящее пособие по предсказанию будущего, я зашел внутрь.

— У вас есть черная магия? — спросил я продавщицу.

Она подняла на меня глаза и увидев мое перепачканное в крови и грязи лицо, пискнула и, кажется, обмочилась.

Истерически, не обращая на нее внимания, я начал копаться в книгах. Случайно мне подвернулся справочник по диагностике для фельдшеров Курской области.

Разобравшись в нужном разделе, я пробежал глазами страницу и вскрикнул: против моего симптома, который шепнул мне на ухо Собачкин, вместо зловещего слова «рак», стояло слово: «запор». Ошалев от радости и еще не веря своему счастью, дрожа от нетерпения и страха, бормоча: «все равно не поверю, все равно не может быть, чтоб так везло», я стал рыться в толстых, академических справочниках. И везде против моего симптома стояло радостное, сияющее слово: «запор».

Шатаясь, я отошел в сторону. Продавщица, забившись в угол, расширенными от ужаса глазами смотрела на меня и бормотала, очевидно в качестве молитвы, слова песенки: «Ах, хорошо на белом свете жить...»

— Теперь я готов все простить Собачкину, — ликовал я, выйдя на улицу.

Но после первого приступа радости пережитые страхи и тревоги дали реакцию: я готов был долго, целыми днями, плакать.

Измученный, ввалился я домой.

— На кого ты похож! — заорала жена.

Сначала слегка припугнув ее тем, что у меня мог быть рак, рассказал я ей, как тяжело я это перенес и как открыл, что ошибся.

— Пожалей меня, я убил беременную кошку, — заскулил я, упав в ее руки. — Теперь меня замучает совесть.

— Только и всего. Какая ерунда, — бодро провозгласила жена. — Ну сделал глупость, другой раз так делать не будешь.

— Везде ужасы, — лепетал я. — Одному дяде с нашей работы хулиганы отрезали ухо...

— А тебе-то что, — прервала жена. — Если только это дядя, а не тетя, — и она внимательно посмотрела на меня.

— Конечно, дядя. Большой такой, — покраснев, увильнул я.

Жена принесла ведро воды.

— Я не вернул раздатчице лишние деньги; у нее детишки, они будут голодные, — не выдержав, горько всхлипнул я.

— А вот это ты молодец, — обрадовалась жена. — Не зря страдал, что болел раком. Сколько же она тебе передала?

— Десять рублей, — опять покраснел я и, не переставая всхлипывать, мельком подумал, с каким удовольствием я пропью завтра оставшиеся пятнадцать рублей.

— Ну все хорошо, что хорошо кончается, — заключила жена. — А ведь намучился ты так потому, что тебя Бог за меня наказал. Не хотел принести мне сегодня утреннюю любовь...

— Я больше не буду, — еще горше заплакал я.

— То-то, милок, слушайся меня впредь, — окончила жена и стала меня отмывать. Временами, умиленный, как поросенок, наслаждаясь своим спасением, я целовал ее голые руки.

●

СЕРЕЖЕНЬКА

— Если в течение тридцати минут не сделать укол, парень умрет, как дважды два, — сказал врач, выйдя на террасу. — А сделаем укол, будет жить, сколько влезет.

Кругом была мгла, вечер, высокие смутные деревья и

подмосковные дачи. «Надо выйти на шоссе, — продолжал врач, — и поймать машину. Больница в 7-10 минутах быстрой езды. Иного выхода нет. Скорой помощи поблизости нет».

Мамаша умирающего молодого человека, Вера Семеновна, первая выкатилась в сад. За ней вслед выскочили несколько гостей и дачников. «Неужто помрет, помрет... Сереженька-то», — бомотала Вера Семеновна, семеня ножками по направлению к калитке. Ей казалось, что все вокруг оцепенело, и только что-то сильное и жестокое давит грудь.

— Где взять машину? — подумала она и ей на мгновенье показалось, что она и есть машина, быстрая такая и широкая... Раз-раз, и понесет своего мальчика до больницы, быстро-быстро... Механически она выбежала за калитку на шоссе. Около нее раздавались громкие матерные голоса. Кто-то играл в карты, прячась в канаве.

Фьють, фьють, фьють — ей очень захотелось, чтобы показались десятки, сотни машин. Но ничего не было. Подбежали, подтягивая штаны, гости и дачники. Один из них на ходу полоскал горло.

Вере Семеновне почудилось, что спасение ее мальчика зависит от того, будет ли мир неподвижен и неподатлив, как сейчас, или нет!?. Пыхтя, она побежала сама не зная куда.

Вдруг на повороте, у железной дороги, она увидела легковой автомобиль, ожидающий зеленого сигнала.

Уже через минуту она была около него; внутри сидело два человека, мужчина и женщина.

...Хватая себя за волосы, рыдая и воя, Вера Семеновна запричитала о том, что нужно спасти молоденького парня, ее сына, студента. Спасение займет всего десяять минут.

— Мы еще не умывались, гражданка, — вдруг тупо сказал водитель.

— Он шутит, конечно, мамаша, — вмешалась женщина, сидящая на заднем сидении. — Но поймите, мы должны вернуться вовремя; машина не наша и ее хозяин давно ждет нас.

— Мальчик же умрет через полчаса! — громко заорала Вера Семеновна. Но странно, внутри она почувствовала, что кричать бесполезно и что вполне нормально и естественно, если люди ее не послушают. И это сознание стало придавать некоторую театральность и искуственность ее, казалось бы, самым

искренним и душераздирающим крикам. Наконец, после того как водитель холодно, как обычно смотрят друг на друга прогуливающиеся на улице люди, взглянул на нее, Вера Семеновна поняла, что все кончено; и хотя она знала, что не поступила бы так сама на его месте, тем не менее прежний холодный опыт жизни заставил ее даже не возмутиться, как будто так оно и должно было быть. Взглянув, она несколько даже лицемерно пискнула: «18-ый год мальчику-то... Рано умирать...»

— Вон смотрите, там еще одна машина, — сказала ей женщина.

Вера Семеновна бросилась туда, крича и размахивая руками. Но она не добежала до машины. Хотя водитель видел ее дикую истерзанную фигуру, он рванулся с места. Автомобиль проехал мимо Веры Семеновны, обдав ее грязью. Она обернулась.

Тем временем и первой машины простыл след. Она, как напроказивший малыш, вовсю удирала по шоссе.

Вера Семеновна боялась посмотреть на часы.

А по другую сторону железной дороги она увидела, вспыхнувшую в ее сознании, картину: около пивного ларька стояла милицейская машина. Дюжие милиционеры втаскивали в нее молча, но остервенело сопротивляющегося мужика.

Когда Вера Семеновна подсеменила туда, там уже были ее соседи — дачники.

— Не дают автомобиль, — тупо и удивительно сказали они ей. — Говорят, что им срочно надо отвезти пьяного. И они не могут не по назначению использовать машину.

Вера Семеновна, сама не помня себя, но больше механически принялась кричать.

Сиволапые милиционеры подтаскивали пьяного и осматривали его, но в то же время наблюдательно и даже с уважением слушали ее. Слушали и ничего не отвечали. Одному она кричала прямо в ухо, но он, казалось слыша ее, равнодушно стоял и смотрел на пьяного, точно выпуская ее крики из другого уха. Смотрел и переминался с ноги на ногу.

— Слезами, хозяйка, горю не поможешь, — вдруг, крякнув, назидательно проговорил он.

Тут же к нему пристало подошедшее со стороны, какое-то пьяненькое, но громадного росту существо. Этот мужик сначала незаметно и тихо, как в тайне, с любопытством выслушивал Веру Семеновну и дачников. Теперь он упоенно взыгрался.

— Ведь сыночек у матери помирает, родное дите, — зычно закликушествовал он, поднимая огромные руки то на грудь, то к небу. — Люди, а?! ...Люди?! Али вы крокодилы!? ...Ежели бы чужой иль племяш... А то ведь родное дите... Пожалеть тут надо, приголубить, а... Дубины...

Он так кричал и самозабвенно расплескивался, что не заметил, как Вера Семеновна с дачниками уже ушли. Долго еще потом он орал и даже, когда милицейская машина уехала, одиноко бежал по темным дачным улицам, крича и причитая, пугая собак и старух.

Вера Семеновна между тем подходила к своему дому. Она ушла, потому что посмотрела на часы: прошло уже сорок минут. Состояние у нее было мертво-обреченное, слегка полоумное, и в то же время спокойное.

Она думала о том, что она еще с самого начала, когда выбежала из калитки, ясно осознала то, что, хоть ей и встретятся люди, но никто все равно не поможет. Что просто так должно быть, судя по всему, что такое жизнь, и возмущаться так же нелепо, как если бы ударила молния и убила ребенка. Но ее душил кошмар, сам по себе, потому что исчез ее мальчик: она была уверена в этом, в таких случаях врачи не ошибаются.

Маленький, распушистый куст на мгновенье показался ей сыном; она взмокла и ей захотелось поесть; по спине прошел холод. Вдруг Вера Семеновна подумала, что теперь, без сына, ей сполна будет хватать ее пенсии.

Посмотрела на небо: может быть ей еще удастся слетать на луну.

В саду, у ее дома, шумели, точно разговаривая с Богом, деревья. У калитки, освещенная уличным фонарем, стояла старушка-соседка. По ее оживленному лицу Вера Семеновна поняла, что Сережа умер.

●

КРАХ

Здоровая, толстая девка лет восемнадцати, Катя, приехала в Москву из-под Смоленска сдавать экзамены в станкостроительный институт. Остановилась она у деда и тетки в старом, кривом доме. Отвели они ей маленький серый уголок: кровать и тумбочка у окна. С аппетитом забравшись туда, Катя вскоре принялась за зубрежку. «Только бы не нагадила где-нибудь», — думал ее дед. Но Катя любила лишь подолгу обтираться по утрам полотенцем, поводя своей спиной. И еще она любила повторять: «закат — розовый, как и мое тело». Так она говорила вечерами, когда вглядывалась в пространство, в далекое пламя на горизонте. Обычно же она редко смотрела на окружающее, а всегда вниз, чаще всего на свои колени.

Некоторые удивлялись, почему так, но дед считал это обычным делом. «Только бы не нагадила», — пугался он. Дед любил раздеваться догола, и в таком виде, бородатый, в одних трусиках, шумно играл во дворе в домино.

Катина тетя придерживалась других взглядов на жизнь. «Только поступи в институт, Катенька», — науськивала она племянницу. А на третий день тетя показала ей инженера, живущего в соседней квартире. Он был жирный, необычайно важный, хотя и все время бегал вприпрыжку. Катя смотрела на него, и от мысли, что и она может быть такой же великой, медленные и смачные, как навоз, капельки пота выделялись у нее на лбу. «Он никогда не раздевается», — шептала ей на ухо тетка.

Катино сердечко сжималось. Ей очень хотелось увидеть инженера голым. Кате казалось, что тело у него такое же серьезное и страшное, как само правительство, или как мысли, таившиеся под его массивным черепом.

Дважды она собиралась подсмотреть за ним сквозь щелку дворовой досчатой уборной. Но замирала и останавливалась на полпути.

Каждый вечер, когда все живое в комнате засыпало, Катя долго и исступленно молилась (в уголке приютились две иконки). Катя,

потирая руками свои мясистые ляжки, тихонько сползала с кровати и опускалась на колени. Молилась она о том, чтобы попасть в институт. Слова молитвы дал ей один божественный, пьяненький старичок со двора. Кроме того, многое она добавляла от себя. Возвращалась на кроватку молчком, вся в слезах, и долго потом вытирала слезы подолом ночной рубахи.

Наконец, наступили светлые дни консультаций и экзаменов. Как стадо гусей, тянулись к огромному, черному зданию юнцы и девицы. Профессора непрерывно хлопали дверьми.

«Чем я хуже других», — вертелось в голове у Кати. Ей казалось, что, когда она поступит в институт, то не только душа ее будет величественна, но и ходить она будет по-другому, сурово и переваливаясь, топча траву.

Захватывало у нее также дух при виде студентов-старшекурсников.

«Я не хуже их», — болезненно думалось у нее в мясе, и она, наблюдая за ними из-за деревьев, желала как бы подпрыгнуть умственно и по солидности выше их.

Последние дни она стала очень много потеть, всем телом; поэтому часто уходила в уборную обтирать пот. И во время обтирания всегда почему-то думала о сокровенном. А затерявшись по коридорам института среди людей, чаще воспринимала она их как шумящих, желтеньких призраков.

Экзамены принимали тяжело. Преподаватели вставали, уходили, опять приходили; абитуриенты текли бесконечным потоком. Некоторых почему-то спрашивали долго и назойливо; других мельком; третьих очень равнодушно.

Один преподаватель вообще ничего не спрашивал: посмотрит на физиономию, фыркнет и скажет: «беги».

На сочинении же одна абитуриентка заснула.

Катенька сдавала ровно, аккуратно, с напором. Часто, посреди экзамена, убегала в клозет обтереть пот и подумать о сокровенном.

Наконец наступил решающий день. Были вывешены списки прошедших по конкурсу. Помолясь, Катенька побрела в институт. По мере чтения списка ей несколько раз почудилась своя фамилия. Но это был самообман. Кати в списке не оказалось.

К ней подошла какая-то худенькая, с чистым лицом девочка.

— Посмотри, самые гнусные прошли, — сказала она.

Счастливчики отделились от остальных и держались одной кучкой. В большинстве они действительно, как назло, имели самый гнусный вид.

Домой Катенька возвращалась совсем отключенной. Она даже не различила, когда шла пешком, когда ехала в троллейбусе.

Дома никого не было.

Вытащив из угла огромный, заржавленный топор, Катя с каменным лицом подошла к иконам. Рубила широкими взмахами, как рубят дрова. Потом все сожгла.

А на следующий день Катя возвращалась в Смоленск. Больше она никогда не верила в Бога. Также перестала она понимать мир, в котором находилась. Ей бывало легче только, когда она мочилась, или во сне, когда слушала пение собственного тела.

●

СКАЗОЧКА ПРО ЕНОТА

(Из цикла: Детские рассказы)

Жил-был людоед. Это был уже постаревший, разочарованный людоед с толстым и синим брюхом. Брюхо он выставлял всегда вперед или вверх, поближе к Божеству.

Но однажды людоед раскапризничался.

«Не хочу кушать людей, — подумал он. — Все они дураки и вонючие... Мне хочется съесть чего-нибудь такого... этакого... небесного».

Но так как небесное не так-то легко найти, то бедный людоед совсем проголодался. Брюхо его опустилось, стало мягкое и грустное, как лицо нездешней жабы.

Наконец, один раз людоед не выдержал и пошел по леску, разогнать тоску, да заодно и скушать что-нибудь живое, что прыгает да скачет, да о Господе плачет.

Повстречался людоеду червячок.

— Вот я его съем, — подмигнул сам себе людоед.

Только он наклонился, изогнув, как красавица, свою спинку и

хотел было взять червячка, как подумал: «не то ...не то!». «Больно гадючен червячок для меня и невзрачен, — сказал он. — Точно глаз человеческий... Тьфу».

И пошел людоед дальше. Идет и вдруг видит птичку. Глаз у людоеда тяжелый, как все равно у правительства, так птичка-невеличка не только что замерла, а прямо ему почти в рот, на нижнюю губу села — села, присмирела и ждет своей участи. Только людоед хотел глотнуть, как опять подумал: «не то». «Больно быстра птичка на ум, — решил он. — Будут еще от ей в моем животе всякие течения».

— Тьфу! — и выплюнул птичку с губы куда подальше.

Идет людоед и даже песенки не поет. Видит — на тропке енот. Людоед прыг — и между ляжек его зажал... Только он хотел его пригреть в своих внутренностях, как раз: смотрит, вместо енота перед ним, промежду ляжек, маленький людоедик бегает, совсем дитё, белокурое такое, несмышленое, и на людоеда так по-сыновнему, по-ласковому глядит. Рассердился людоед: как же я своего буду жрать... Нет, не выйдет — подбодрил людоедика легким шлепком и пустил в травку-муравку, божьему солнцу радоваться да малых деток человеческих кушать... А сам пошел своей дорогой. Но между тем ведь енот его здорово надул. Енот этот был не простой, а волшебный, с хитрецой. Он — этот енот — как только на него враг какой, обжора, нападал — мигом в племя врага и оборачивался, только дитем. Если нападал на него волк, то он оборачивался волчонком, если медведь — то медвежонком. Так и жил себе енот припеваючи, и на саму судьбу поплевывал. Но надо сказать, что сейчас этот енот был уже полусумасшедший. И после того как он так ловко отделался от людоеда и обернулся опять в енота, то шибко загрустил и пустил слезу. Очень жалко ему стало людоеда, что он ходит такой голодный.

«Лучше бы он меня съел», — усовестился енот.

Побежал енот вслед за людоедом и видит: стоит людоед на поляне и можно сказать совсем дошедший: сам себе могилу копает. Тогда енот ему говорит:

— Людоед, людоед, хочешь я тебя до сыта накормлю, да так, как ты никогда не ел.

Вильнул людоед задом и бегом за енотом.

Бегут, бегут — и все вперед, кругом царств всяких, республик, зверей видимо-невидимо, а они все бегут.

Наконец, прибегают они к дому, вокруг которого большое хозяйство.

На кольях — головы человеческие торчат, на заборе кишки, а под окном — рядком, ряд в ряд — ноги стоят без туловища, как все равно валенки или сапоги.

А посередине людоедиха огромная, жирная, белотелая стоит, без рубашки, и груди ее пропитаны кровью блаженных младенцев.

В корыте — дерьмецо людское стирает: кишки там всякие, внутренности, чтобы засолить на случай голодухи.

Возмутился людоед: «куда ж ты меня привел, к своей, это моя жена!» А енот между тем, полусумасшедший, вильнул хвостом и рраз — вместо жены своей изумленной видит людоед мечту брюха своего: пышного, всего в белом, ангела, сладкого, как мороженое, совсем, можно сказать, небожителя. Ахнул людоед, прыг, скок, повалил ангела — и ну его есть... Всего сожрал, без остатку.

Так хитрый, полусумасшедший енот накормил людоеда собственной женой, обнажив в ней небожителя.

●

НЕЖНОСТЬ

Неудачный я человек. Очень нежный и очень жестокий. Нежный, потому что люблю себя, и, наверное, от страха хочу перенести эту нежность во вне, смягчив ею пугающий меня мир... Очень жестокий, потому что ничего не нахожу в мире похожего на меня и готов поджечь его за это.

...Уже два года назад все свои претензии к миру я перенес на маленькое, изящное существо с тронутыми, больными любопытством глазами — мою жену... Огромный, чудовищный, как

марсианские деревья, мир смотрел на нас в окна, но мне не было до него никакого дела... Теперь это все позади... Медленно, как закапывается гроб в могилу, тянется последний акт нашей драмы... Жене — ее зовут Вера — имя-то какое ехидное — хочется нежности... Боже, до чего ей хочется нежности!.. В некотором смысле нежности хочется и мне. Ну, скажите, почему такой гнусной, изощренной в жестокости твари, как человек, непременно нужна нежность?!. То, что человеку нужен топор — это понятно, но почему нежность? А может быть, наоборот, и жесток-то человек только потому, что ищет и не находит нежности, и все войны, кровопролития, драки, самоубийства объясняются этим крикливым, вопиющим походом за несбывающейся нежностью... А все почему: хочет человек, чтобы его все любили, носились с ним, признавали до самых патологических, гнойных косточек — а раз нет этого, так и получай пулю в лоб... Нет чтобы только в себе искать основу всего... Слаб человечишко-то, слаб...

Так что нежность-то, господа, вовсе не такое уж кроличье свойство, как кажется на первый взгляд. Совсем даже напротив. Ничего более непримиримого я не встречал...

Маленькая, бедная девочка, как она на меня смотрит своими добрыми, самоотверженными глазами... Казалось, готова умереть за меня... Но не за меня, а за комочек полнокровной, от кончика пальца до души, ласки... О, нет, нет, я не так жесток — или не так честен — чтобы говорить ей, что уже давно не люблю ее... Потому что я настолько мерзко, обреченно и жутко влюблен в себя, что могу по-настоящему любить душу, не отличающуюся от моей, а таких не может быть... Есть только родственные более или менее... А мне этого мало... Да, впрочем, есть ли родственные!? Правда, это я только относительно своей жены говорю...

— Принеси чего-нибудь поесть, — говорит Вера, а сама пристально следит за мной...

Чувствует сердечко-то, чувствует... Я горделиво подхожу к ней и нежненько так, почти религиозно, целую ее в висок... У нее, правда, очень красивый висок и жилки, умные такие, в глубине бьются... Если бы ее висок отделился от нее и жил сам по себе, то я может быть любил бы его... Холоден и чист мой поцелуй, как поцелуй праведника... Верины глаза наполняются слезами.

— Ты любишь меня? — спрашивает она.

— Конечно, милая, как могу я не любить, — смрадно и проникновенно отвечаю я.

И выхожу из квартиры... за покупками.

...Веселое, сумасшедшее солнце заливает мир своей параноидной неугасимостью... Это правда, что я уже не люблю Веру; но точно таким же я буду по отношению к любым женщинам; значит, в своеобразном смысле я все-таки по-своему люблю Веру.

«А если и не люблю, то есть долг, — визгливо думаю я. — Долг превыше всего: если не будет долга, жизнь превратится в игру слепых, эгоистических сил и связи между людьми разрушатся... Но кто, в конце концов, взял, что я не люблю Веру?! Люблю, люблю, вот топну ножкой и скажу: люблю! Разве она изменилась с тех пор, как мы впервые встретились?! Разве изменился я?! Разве не дарю я ей конфетки по воскресеньям?!. Я люблю ее больше жизни, больше поэзии, больше самого Творца... Но больше ли самого себя?!»

...Какая длинная и нудная очередь за маслом... Хохотливые голоса людей играют моим воображением... Я стою в стороне, боясь уронить себя на пол... Меня надо пожалеть, я тоже хочу нежности... Но опять передо мной стоит, как больной призрак неосуществимого, Вера, моя любовь... Куда я от этого денусь... Мне снова надо идти домой... Что скажу я ей, какой веночек одену на бедную женскую головку, какой возведу хрустальный замок... Ведь ей всего двадцать лет... Маленькая, вот она высунулась из окошка и машет мне рукой... Беатриче... Однако, я заворачиваю в библиотеку... Беру книгу, вдруг откладываю ее, вспоминаю, иду в коридор... И вхожу в строй моей души...

Большие круги мыслей тяжелеют в моем уме... Может быть, они глупые, но они — мои и давят своим существованием... Это очень приятно носить странный, инфантильно-инфернальный мир в своей душе... С этим миром я выхожу на улицу, раскачивая сумку... Вхожу домой... Раскладываю масло, одинокую картошечку... Вера весела, как бьющий через край кипящий чайник... Поглаживает меня по головке... Но мой мир давит меня... Я, как все люди, ем салат, но заглядываю только в самого себя... И повторяю, что люблю Веру...

Она сердится:

— Я и так мало тебя вижу. Но пока ты здесь, будь со мной, будь со мной... О чем ты думаешь?!

Я отвечаю, что думаю о ней.

— Почему же ты не думаешь вслух? — наивно и детски дружелюбно спрашивает она. — Расскажи, — тянет она меня за рукав, как ребенка.

Я говорю о том, что наш комод переполнился бельем и что я ее люблю. Мне становится страшно... Но не от жалости к ней, а от огромной, черной пустоты, опять возникнувшей в моей душе... Все предметы становятся, как игрушечные и чужие... А Вера с ее милым, пухленьким лобиком напоминает куклу из магазина. Но почему эта кукла такая умная и человечная?!. ...Я встаю и выхожу на улицу в новую, более спокойную форму одиночества... Вера остается одна... Наверное, будет чистить мой пиджак, и через любовь к этому пиджаку опять успокоится... Только бы она не строила лишних иллюзий...

Вечером я прихожу, окруженный своими мыслями, как синими облаками... Вера плачет... На минуту мне становится сентиментально и интересно, как будто заплакал шкаф или занавеска... Я очень люблю, когда плачут. И если бы плакали тротуары, я был бы к ним более снисходителен.

Вера протягивает мне худенькие дрожащие руки... Она очень больна; говорят, что у нее начинается истощение нервной системы, а это плохой диагноз...

Какими тяжелыми камнями наполнена моя душа... Одни камни и камни... И мир такой же: из камней... Мне холодно... Я дотрагиваюсь до Вериных слез... Как жутко смотреть на когда-то любимое лицо, где каждая тень, каждая черточка взывает к бессмертному, теплому, родному, и проводить по нему рукой как по высеченному из камня лицу далекого и чуждого сфинкса... Камни, камни, одни камни в моей душе...

— Верочка, — взвизгиваю я, — не верь!

Она испуганно смотрит на меня.

— Чему не верь?

— Не верь, что я не люблю тебя, — шепчу я.

Она улыбается грустной такой и больной и счастливой улыбкой. Какая жалость, что я не успел сегодня выпить четвертинку водки. Но выпью завтра, холодным, пустым, как ожидание, утром.

Наконец, я укладываю Веру спать... Даю ей лекарство. Она засыпает... Не улизнуть ли сейчас, когда она крепко спит, за четвертинкой... Но нет — не хочу! Сегодня мне хочется

нежности... Да, да, нежности... Или вы думате, что одной Вере этого хочется!?

Скоро, скоро наступит мой час!.. А пока я укрылся за одеялом... Жду... Тихо тикают часы и мое жаждущее сердце... Я знаю, это случится в середине ночи...

Наконец, начинается. Я осторожно всматриваюсь и поглаживаю подушечку... Верочка, как деревянный, больной шизофренией призрак, медленно приподнимается с постели... Это немного страшно. Ночью в нашей комнате чуть светло от непонятных лучей с улицы...

«В состоянии», — шепчу я... Один раз я ошибся: оказалось, она просто встала попить воды; это был тяжелый срыв... Но теперь все в порядке... Я знаю это по вытянутым, спокойным рукам. Бедная девочка, она страдает лунатизмом и, кажется, не подозревает об этом... Я умиленно так, пролив одинокую, чуть лицемерную слезинку, вскакиваю с кровати... Вера медленно, как слепая, бродит по нашей пустой, с приютившимися по углам стульями, комнате... Я включаю, но тихо — таинственную музыку: Моцарта... Забиваюсь в угол и смотрю на нее. Ее лицо — измененное, синее, о это уже не Вера, а кто-то другой, больной и вставший из могилы, ходит по нашей комнате... Моя ночная возлюбленная... Я включаю танцевальную музыку... Что-то средневековое... И, надев свой лучший костюм, не прикасаясь к Вере, чтобы не разбудить, начинаю танцевать около нее... Иногда ее раскрытые, напоенные каким-то вторым, странным существом, глаза смотрят на меня... Но она видит, наверное, скомканные просторы других миров... Мое сердце тает от нежности, как член от истекающей спермы... Я становлюсь удивительно ловок и гибок в танце, как изгибающийся под ветром цветок...

Почему она не говорит со мной!?. Хотя бы шепот, хотя бы смутный язык подсознания...

Я страдаю от того, что не могу поцеловать ее... Ее, а не Веру, ...потому что Веры — нет... Всего одно прикосновение — и опять, точно от гроба своей оболочки, восстанет живая Вера... О как не хочу я этого!.. Но неприкасаемость только распаляет воображение... Почему она так тихо, бесшумно ступает?! ...Потому что сейчас — во втором своем существе — она знает, как ужасен мир и как тихо, тихо надо ступать по нему... Чтобы никто не услышал... Даже Бог... Тссс!

О, что, что сделать для нее великое!!? ...Хочу, хочу дать ей всё... Но что — наряды, автомобили, бессмертие!?. Я не могу подарить ей даже конфетку... Даже конфетку... Лучше я съем за нее сам... И почувствую токи в своем животе...

Вот она медленно уходит в свою постель... Я вижу ее нездешнюю, синюю улыбку: «до свидания», — хочет она сказать... Тсс! Все кончено. Я выключаю музыку. В стуке сердца ложусь к себе...

Вдруг Вера зовет меня... Проснулась... Просит пить...

Лежит вся мокренькая, в поту, и ничего не знает и не помнит. ...Я нарочно никому не говорю об этом...И не вожу лечиться к врачам... Пусть... Так лучше... Мне... И нежности...

— Ты ведь любишь меня, правда, — чуть слышно спрашивает Вера, отпив глоток бледными, как вода, губами.

— Да, люблю, — повторяю я и ухожу в темноту, в свою постель...

А ведь суровая штука эта нежность, господа!

●

КУРИНАЯ ТРАГЕДИЯ

Курица была беленькая, слегка жирненькая, и жила у самого синего моря. Клю-клю-клю — этим звуком было наполнено все ее существование. Но каждое утро, проснувшись, она любила, спрятав голову на груди, прислушиваться к стуку своего сердца. Этот звук казался ей таким жутким и родным, исходящим из самой себя, что она часто, наслушавшись его, убегала во тьму. В этом отношении это была странная, непохожая на других курица. В остальном, она не отличалась от самых обыкновенных кур.

Ей часто было легко и просторно, когда она катилась по очень нежному и обволакивающему, что люди называют воздухом. И

на твердом она чувствовала себя покойно, только давило в ногах.

Весь мир казался ей резкой, крикливой картиной, в которой что-то исчезало и что-то появлялось. Она различала большое и маленькое, быстрое и неподвижное, шумное и тихое. Боялась она большого и скорого, особенно скачущего на нее. И утречком, выйдя на свет, среди всего этого хаоса звуков и метаний, всем куриным нутром своим она чувствовала нападение и бросалась в сторону. И все нежное мясо ее, даже в самых глубинах, между косточек, превращалось в один плотный, беспрерывный, бьющийся крик.

Это было до безумия страшно и в то же время приятно, особенно, когда опасность миновала. Поэтому, чтобы почувствовать приятное, она истерически кудахтала и, оберегая себя, шарахалась в сторону даже от падающего листа.

Случались, впрочем, дни, когда все проходило без ужасов или налетов, и мир становился тихим, понятным, как писк послушного цыпленка. Откуда-то залетали ей в рот мухи, или прямо из Неизвестного сыпалось перед ее глазами нечто маленькое, к чему тянешься и отчего теплеешь. И она надолго погружалась в родное «клю-клю». Только иногда блеснет, бывало, что-нибудь чуждое из серии «ах», и ее куриное нутро ответит одиноким извивом страха.

Иногда ее бросало куда-то далеко-далеко, в глубину хаоса, кручений и звуков; ее ослепляло синее, летящее, шумное; а люди плескались в нем, довольные — это было очень много всего, и она нервно отскакивала в сторону: издалека «оно» выглядело спокойнее.

Вообще, когда не случалось «нападающего на нее», мир поражал ее своей простотой и ясностью. И только по утрам, после сна, когда она прятала голову на грудь, ей становилось жутко от стука собственного сердца.

...Однажды, в один пронизывающий день, все было тихо и обычно. И вдруг она почувствовала, как на нее надвигается и хочет схватить ее нечто абсолютно страшное, раньше никогда не бывавшее, окончательное и вечно-нелепое.

Она хотела метнуться, но всего лишь перекувырнулась: тело плохо слушалось ее. И «это» полностью овладело ей: она ощутила, что ей некуда двинуться, некуда шелохнуться. Что-то подняло ее вверх и понесло, Это был железный, сжимающий

полет. Вся переполненная безграничным ужасом, она вылила его в дикий, так что поднял уши далекий пес, крик. Ужас шевелил ее сжатое горло и, наверное, мог выдавить изнутри глаза. И теперь мир казался ей непонятным, стремительным и неизвестно откуда появившимся. Вдруг полет прекратился, и она очутилась на твердом. Но теперь она еще сильней чувствовала, как бешено надвигается на нее какой-то жуткий разрыв, вечная тень, и конец всему тому, кем она была внутри себя. Она ощущала этот надвигающийся разрыв каждой своей клеточкой, которая вопила, взывая к самой себе, и сама курица билась с таким внутренним отчаянием, что из дыр ее выбрасывалась кровь и слизь... Где-то совсем рядом, за стеной, раздавались точно такие же, исполненные ответного страха, но вместе с тем благополучные звуки. То были остающиеся жить куры. И их безумное и живое кудахтанье стало единственным, что слышала курица, потому что остальной мир был по-прежнему потаен и равнодушен... Внезапно она перестала видеть и слышать, но долго еще с тем же незатухающим ужасом бессмысленно барахталась в чем-то темном, упругом. Скоро исчезло и оно...

Супруги Ивкины зарезали в этот день на обед курицу. Мир был для них понятен только когда они ели, мылись иди достраивали свой дом.

Для самого Ивкина мир становился особенно темен во время голода, повальных бедствий и по ночам, когда у него случалось недержание мочи. В эти периоды он обычно долго и исступленно молился или решал геометрические задачки. Как раз в тот день, когда зарезали курицу, у Ивкина, под самое утро, «пошла моча». А под вечер он ел нежную, белую куриную плоть. И вскоре у него прошло недержание.





центральный цикл

ТЕТРАДЬ ИНДИВИДУАЛИСТА

Эту старую, драную тетрадь нашел около помойки Иван Ильич Пузанков, сторож. Он хотел было обернуть в нее селедку, но по пьяному делу начал ее читать. Прочитав несколько страниц, он ахнул, решив, что у него белая горячка. Его напугало больше всего то, что ему — значит — нельзя дальше пить, а до литра водки он не добрал еще 200 грамм. Но гневно рассудив, что мы, пролетарии, еще никогда не отступали, Иван Ильич пополз все-таки в ближайшую пивную. Там он продал эту невероятную тетрадь за полкружки пива и кильку одному озирающемуся, болезненному интеллигенту, который и сохранил ее в паутинах и недоступности.

Тетрадь индивидуалиста

Поганенький я все-таки человечишко. И еще более поганенький, что пишу об этом — любя; кляну себя — негодяюшко, маразматик, ушки надрать мало — а все-таки люблю! И как люблю! По-небесному.

Но все же это подло, так любить себя... Особенно после того, что было... А что было, что было! И началось ведь все с того, что любил я не себя, а — ее... Как это удивительно — любить другого человека. На душонке, не обремененной тяжестью и страхами эгоизма, так легко, легко и чувствуешь себя как-то по благородному. Я бы всем влюбленным давал звание дворянина.

Была она девица на вполне высоком уровне: в меру инфернальна, поэтична и страдала лунатизмом. Любил я ее страстно, но больше все как-то по-грустному. Бывало, прижму ее к себе, смотрю в ее глазенки таким сумасшедше-проникновенным взглядом, а она плачет. Плачет оттого, что уж очень выражение глаз моих было не от мира сего. А все, что не от мира сего, вызывало ручьи ее слез. И плакала она тоже не как все, а по-нездешнему, плакала не слезами, а мыслями; задумается, унесется куда-нибудь и слезы падают просто в такт ее отчаянным мыслям.

Очень нервна была. Впрочем, мне только этого и надо было. По ночам я целовал ее одинокие, холодные ноги и нашептывал кошмары. Гладил ее прозрачную, тоже не от мира сего в своей нежности, кожу, впивался в ее плоть... и бормотал, бормотал... о страхах, о великом отчаянии жить среди людей, о смерти. Весь медовый месяц я рассказывал ей о смерти. Метафизично рассказывал, с бездночками, с жутковатыми паузами, когда все замирало; и визгливо валяясь в ее прекрасных, обнаженных, неприступно-мистичных ногах, выл, умоляя ее защитить меня от страхов, от жизни, от гибели... Бедненькая, как это все она выносила!

Весь гной, все параноидные язвы душонки моей перед ее глазами разворачивал, с упоением, с визгом, с надрывом. Это и называл истинной любовью. Так и любили мы друг друга, целыми днями скитаясь по нашим запертым комнатам наедине с кошмаром и темным молчаливым небом, глядящим на нас в окна.

Зина чаще молчала, и все больше в себя впитывала. Я же подвизгивал, смотрел на нее и строил миры. Миров моих она боялась и, кажется, плакала от них. Впрочем, по-своему шизоидна она была необыкновенно и могла простую, пустейшую фразу так обыграть, что построить из нее «мир», уйти в него и спрятаться. Но до меня ей было далеко, не хватало полета-с! Так и глядели мы, одинокие, растрепанные, из своих миров друг на друга и пели потайные сказки. ...На нервах все было, на нервах!

Вы думаете мы не расписались в ЗАГСе, не оформились, не зачлись? ...Если я мистик, так уж значит ничего этого и не было?.. Было, было, все было. И ЗАГС, и идиотическая свадьба с идиотическими родственниками и салат с картошкой, и даже «горько»... Впрочем, у меня было такое ощущение, что женят не меня, а кого-то другого... Какое я имел отношение ко всем ним...

И моя невеста казалась мне сказочным существом, спустившимся с небесной обители, а вокруг нас одни свиньи, кабаны и ублюдки... Так что от свадьбы у меня осталось впечатление одного хрюканья. Я сразу же возненавидел ее родителей, возненавидел лютой ненавистью, именно за то, что эти твари через мою Зину осмелились стать со мною наравне.

Должен сказать, что больше всего на свете я не терплю обыкновенных людей, каких 90 процентов на земле. Я готов биться об заклад, что любой убийца, дегенерат, алкоголик — лучше и возвышенней среднего человека... У преступника в душонке может быть и покаяние и страх, и на лбу потик от чувствительности выступает, а вот у обычного человека даже этого ничего нет — он говорящая машина, антидуховен, патологически туп и считается, что обладает здравым смыслом. Но по сравнению с ним любой олигофрен с субъективинкой — мыслитель. Посмотрите в глаза среднему человеку: что в нем увидишь: навсегда замкнутый в своей звериной тупости цикл мыслей и полное отсутствие высших эмоций. Что является первым в иерархии ценностей для среднего человека: вещь, материя, деньги, а не мысль, и не чувство и даже не гаденькое покаяньице...

А почему так? Да потому, что обыкновенный человек слишком туп, чтобы воспринимать духовное и чтобы утвердить себя, вынужден хвататься за внешнее и видеть высшую ценность в чем-либо вещественном или, что еще хуже, — в какой-нибудь умственной глупости, если обычный человек вдруг взялся за идеи.

Семейка ее как раз была в этом обычном плане. Братец ее был даже личностью в своем роде патологической. Очень замкнутый, скаредный молодой человек, он отказывал себе во всем, лишь бы скопить деньги. Я помню, как вечером, откушав корочку черного хлеба с луковицей, он полез в чемодан, вытащил оттуда огромную пачку денег, и истерично поглаживая ее, обслюнявив, прижал к сердцу и пробормотал: «Только с ними я чувствую себя интеллигентом».

Деньги ему нужны были не для того, чтобы их тратить, а чтобы чувствовать себя человеком, самоценной личностью, и выше их он ничего в жизни не ставил. Однажды он всерьез, по-нервному заболел, когда где-то услышал, что Черчиль читал Шекспира.

«Как может великий человек заниматься такой ерундой», —

заявил он, побледнев. Для него это была психологическая катастрофа.

В стихи, в живопись, в религию он просто не верил, а считал, что все это выдумано. Он был искренне убежден, что люди не только не верят, но и никогда не верили в Бога, и что такого человека, который верил бы в Бога, в идеализм, в стихи, вообще не было, а то, что об этом написано в книжках — одна пропаганда.

— Как можно видимое предпочесть невидимому, — говорил он.

Родители его — солидные инженеры — были так же глупы, но не столь патологичны.

Первоначалу, еще в период ухаживаний за Зиной, держался я с ними тихо и потайно, так что они принимали меня просто за чересчур скромного и молчаливого, а в общем достаточно приятного молодого человека. Поэтому и не возражали против брака. Но уже через два дня после свадьбы я развернулся. Жили мы сначала у нее,так что все было на виду. Принцип мой был таков: делать все по-своему, но на словах ничего не возражать, а наоброт со всем соглашаться и показывать внешне, что веду себя по-ихнему. Это была необходимость: я органически не мог с ними не только спорить, но и разговаривать. Я чувствовал себя униженным, смятым, приравненным к чему-то идиотскому, ненужному и вещественному уже оттого, что сижу с ними за одним столом и вынужден их выслушивать. Все мои нервы болели.

«Саша (так зовут меня), Саша говорит, что он страсть как любит домовитость и будет помогать нам ухаживать за дачей», — кричала на всю кухню мамаша Зиночки.

А я каждую субботу увиливал от общения с ними и предпочитал уйти в свой мир. А мирочки свои ведь я обожал, упивался ими, и они были для меня такими же близкими и родными, как и мое тело... И я варился в их соку, как в собственной крови, и не любил, чтобы их касались...

Но родители меня быстро раскусили. Помню одинокие вечерние чаи, когда все семейство было в сборе. Застышая лампа с синим абажуром казалась мудрой и индивидуальной по сравнению с этими обычными, ничуть не хуже других, людьми, сидящими за столом.

Пока я с ними ни о чем не говорил, я чувствовал в душе непередаваемую тонкость и нежность. Мои мысли казались мне

потусторонне сентиментальными и воскресающими мертвых...

— Саша, почему ты не поедешь на дачу, не купишь котлет, не выучишь стихи, — осторожно спрашивает меня Зиночкина мамаша.

— Я обязательно сделаю все это в субботу, — невозмутимо и покойненько отвечаю я.

А внутри начинаю заболевать оттого, что они смотрят на меня, как на равного человека.

«Почему они не чувствуют моей необычайности, — думаю я. — Может быть я обычен!? Действительно, когда я им отвечаю, я становлюсь обычным. Это ужасно».

— Но ты каждый раз обещаешь нам все делать в субботу, — равномерно говорит мамаша Зиночки. — И так уже 4 месяца. И ничего не делаешь.

Ее глаза влажнеют от злости. У отца такой вид, как будто ему снится, что он на официальном приеме. Я молчу. Их поражает моя потустороннесть. Они не могут определить ее словом, теряются в догадках, но что-то смутное чувствуют. Это им кажется таким страшным,что брат Зины роняет на пол ломоть хлеба.

— Может, ты думаешь, что ты умнее нас? — холодно спрашивает меня мать.

Я опять отвечаю какой-нибудь вздор, и от этого вся ситуация становится еще загробней.

— Может быть, ты что-нибудь скажешь ему? — спрашивают мою Зину.

Но на ее глазах появляются защитные слезы...

И таких вечерочков было не мало.

Бедная Зиночка — она как зверек любила своих родителей — металась между мной и ними. Днем мне было трудно ею управлять (они запутывали ее здравым смыслом), но по ночам и когда мы оставались tete-a-tete я был царь над ней. Тут уж действовали мои миры. В конце концов, чтобы отгородиться от родителей, я решил отвечать им на все вопросы своими выдуманными словами, чтоб они ничего не поняли и ужаснулись. «Кольцом инакоречия самоогорожусь от внешних болванов», — хихикнуло тогда у меня в уме.

Если теперь они допытывались у меня,люблю ли я Зиночку, я отвечал: «дав-тяв-гав-сяв». Если они, например, спрашивали,

почему я не почитаю модного актера, я отвечал: «брэк-тэк-халек». Если они сердились и психовали, вспоминая мое мнение, что луна внутри пустая, я отвечал односложно: «му». На каждый вопрос я реагировал по-разному.

Самое забавное: они решили, что я хулиганю. Дальше так продолжаться не могло, и я навизжал по ночам Зиночке, что мы переедем ко мне. Она отлично понимала мою политику и считала, что я еще милостиво обошелся с ее родными. Ей было страшно переезжать в мои грязные, одинокие, заставленные доисторической мебелью, какие-то оторванные от этой жизни, комнаты. Но она знала, что найдет там нежность. Нежность, от которой мутнеет ум и которая может быть даже превращается в мучительство, в истязание; нежность, которая повисла над бездной страха... Мы переехали в мою квартиру...

Там мне уж совсем стало хорошо, покойненько так, оторвано... И развернулся я перед своей женушкой уже по-настоящему, взаправдашно, до конца... «Отъединенности, отъединенности», — визжал я в ее ушко по ночам. А ей тут же снились кошмары. Я очень любил наблюдать, как ей они снятся. Чутьишко у меня в этом отношении было необычайное; как только кошмарик ей во сне представится, я тут как тут — проснусь сладенько, поскачу на кроватке, но ее не бужу, а свечечку (специально у меня была в тумбочке припасена) зажгу и тихохонько на ее личико наслаждаюсь. Выразительное было очень личико; белое, нежное, оно легко содрогалось, как будто змеи там под кожей ползали. Страшно ей видно было... Потом, когда все кончалось, я будил Зину и, нашептывая переходы, тайные мечты, разжигая в ней патологическую жалость к самой себе, неистово брал ее.

В агонии, в драме полового акта искал я выход и убежище от Властных Сил, создавших нас не по нашей воле. За все эти минуты мысли мои и слова, обращенные к Зине, были творениями Духа в самой потайности его и подло-оголенной интимности.

«Сплетенности, сплетенности», — визжал я теперь в ее ушко. В нарастающем визге полового акта заставлял я видеть ее и всю человеческую жизнь, обреченную и хрупкую, как сперма, гаденькую, маразматическую, с ее взлетом, сладострастным цеплянием за наслажденьице, и падением в ничто. Я заставлял ее представлять, что пот сладострастия — предсмертный пот, и что истомленный конец полового акта — это и есть символический

конец нашей человеческой жизни, жизни, такой же гаденько-родной и обреченной на быструю гибель, как извержение семени.

В конце концов она доходила до того, что болезненно-нежно целовала остатки разбрызганной моей спермы, бормоча, что это слезы расколотой жизни. «Упьюсь, упьюсь», — надрывно стонала она.

И все эти актики я заставлял ее совершать в глубокой подпольи, при свечах, под одеялом, как что-то глубоко-подленькое, родное и неотказное...

Вы думаете, когда мы не дрожали в физической дрожи, а были в покойненько-удовлетворенном, духовном состояньице, мы меньше маразмировали?! Ничуть. Только по-своему. Ведь состояньице было тихое, умственное, как будто у нас не было тел.

Тел-то не было, зато глазенки были... Плакала она много, конечно. Металась по моим одиноким, шизофренным комнатам, где каждое пятно пугало ее и казалось миром. Морил я ее также голодом. Голод ведь вообще усиливает потусторонность и хрупкость тела; вызывает потоки причудливых сублимаций, чудесных желаний. Ведь интеллигентный человек никогда не признается себе, что хочет есть, а подумает: чего-то мне не хватает, непонятного и таинственного. Таким образом я и будировал ее высшие качества. Духовности, духовности — я хотел как можно больше духовности.

Другой мой способ заключался в том, что я разжигая у нее страх перед смертью; я сам до патологичности, до судорог боюсь смерти, и считаю, что Творец должен еще передо мной ответ на коленях держать за то, что я так гнойно смертен и каждую минуту — хотя бы теоретически — могу умереть.

Ну-с, а тут были пустяковые болезни, у меня и у нее, так что почва для страхов была прямо-таки благодатная.

Нежно подольстившись к ней в смятенном полумраке нашей комнаты, я целовал ее левую, пухленько-родненькую грудку с умилительной родинкой — место, которое она сама очень любила в себе и на которое не могла без слез смотреть в зеркале — и говорил: «это умрет»: прильнув губами к ее блаженному горлу, пришептывал: «и это умрет»: а заглянув — надрывно заглянув, мистически — в ее чистые, бездонные глаза, произносил: «И то что там, за этими глазками, тоже — умрет»... И она понимала, что душонка умрет, бедная, нежная и затерянная, как маленькая

лодка в глухом лесном пруду. Постоянным подчеркиванием реальности и в то же время ужаса, абсурдности смерти, как окончательного конца «я», при одновременном аккуратном разжигании безудержной любви к этому своему обреченному «я» — доводил я ее до дикого состояния, подобно тому, когда снится, что тебя держат за руку, а ты не можешь проснуться и никогда не проснешься. Под конец, при мысли о смерти, точно подстегиваемая страхом, она начинала бросаться посудой, стонать и лезть на стены, особенно, когда я, томимый ужасом перед гибелью, одиноко, не требуя ни на что ответа, забивался в темный, паутинный угол и плача целовал свои руки и ноги.

Маленькая, как это она все мне прощала. От нежности, конечно, прощала, я уже говорил, от нежности. Вы ведь понимаете, что среди всего этого мрака, патологического ужаса и шараханья мыслей была неземная, болезненная нить нежности. Нежности, которая соединяет двух людей в смертной камере. Нежности во взгляде человека, которого ведут по улицам на гильотину и который видит среди толпы Её — которая могла бы быть его Единственной и которая не знает и никогда не узнает об этом. И наконец, нежности, с которой мать дает яд своему сыну, чтобы спасти его душу от смертоносного греха и дать ему Царствие Небесное.

Так протекали наши дни, но ведь не все измеряют свою жизнь днями — для меня это был единый духовный порыв, бесконечный ветер, устремленный в Неизвестность.

Понимала ли она меня? Что было в ее глазах, ослабленных легким безумием? Она была для меня то, что я о ней думал, но что думала она обо мне?

Но я всем потом своим, всеми неврастенично-гнойными ранками душонки своей, перепачканными идеальностью, любил и жалел ее, видя в ней живехонький, маленький клочочек своего «я», обиженный, задерганный и одетый в эстетически-женскую форму. Поглаживая ее властительно-белую кожу на бедре (и тихо маразмируя при этом), я точно гладил собственное сердце. Мне было так приятно видеть себя во вне себя и в то же время хотелось пожрать этот комочек моего «я», вобрать его в себя.

Но — и здесь открывался последний акт драмы наших отношений — чем больше я желал вобрать ее в себя, сделать своей, как обнаруживал, что натыкался на что-то твердое, непроницае-

мое для меня, какое-то чужое духовное ядрышко. Это было нечто враждебное, упругое, какое-то «не-я», от которого я отталкивался и уходил в себя.

Постепенно, сначала только в некоторые дни, я, точно очнувшись от творческого вихря любви, с ужасом стал смотреть на нее другими глазами.

В ее странной склонности к домашнему уюту и в стремлении к обеспеченности, я вдруг усмотрел материализм. Я и сам не отказывался от этого, но мне показалось, что она придает внешнему не последнее значение. Выявилось так же, что очень многое, я не мог ей высказать и многие, многие потаенно-безумные мыслишки мои звучали гораздо космичнее в чистом Одиночестве моей души.

Зина тонко уловила мое остывание и сначала почувствовала облегчение: я уже не так мучил ее. Она стала по-детски радостней, как бабочка, выпорхнувшая из мрака. И еще больше привязалась ко мне, в благодарность за покой. Было что-то странное и дико фантастическое в том, как среди загробности наших комнат, среди заброшенности наших шкафов и кресел, хранящих слезы моих снов и падений, щебетал ее оживленный, идиотически-радостный голосок, словно она только что спаслась от бездны в самой себе и в любимом.

Да, первое время мое молчание — страшный призрак конца любви — точно воскресило ее... Бедненькая... Как ей хотелось элементарной человеческой радости, теплоты и животности... Зачем же тогда она полюбила меня?..

Все чаще атрибутом наших отношений стало не холодеющее заглядывание друг в друга, в пузатенький чаечек и, хотя весело-уютный чайник в нашей обстановке выглядел слегка с сумасшедшинкой, Зиночка и этим была довольна. Увы — ее счастьице продолжалось не долго. Она с ужасом начала чувствовать, что вместе с уходом кошмаров и видений, ухожу от нее и я — я, которого она так любила — и что расплатой за здравый смысл становится конец любви. Тогда она страшно, по-истерически заволновалась. Помню одинокие, непонятно-оторванные от окружающего мира дни, когда мы сидели вдвоем в наших комнатах в чистом, дневном свете, который разъединял нас теперь больше, чем самый глубокий мрак; она металась по комнатам и выла: «Саша, Саша, где ты?» А я, одиноко

приютившись рядом с ней в кресле, у окна, отвечал: «я ушел в свой мир».

На ее глаза навертывались больные, точно разорванные слезы, но я холодно и жутко молчал: в отрешенно-живительном круге моего Одиночества мой мирок становился и глубже, и роднее, и потаеннее, и слаще, чем когда я выносил его на свет.

С каждым днем я уходил все дальше и дальше от нее и от поверхности жизни; это можно было сравнить с невидимым полетом, ездой куда-то вглубь; сначала еще видны легкие и дымные очертания действительности; потом, по мере ускорения движения, они мелькают все чаще и чаще, пока, наконец, не сливаются в одну далекую, безразличную черту тумана... Где мир, где Зина?!. Она стала казаться мне совсем обычной, простой и понятной; я ловил себя на том, что не видел различия между ней и деревом, глядящим на нас в окно.

Вместе с потерей к ней духовного интереса, я терял интерес и к ее плоти; ее тело стало казаться мне страшным: оно было — по воспоминаниям — и родное, и близкое, и в то же время становилось далеким. Вечерами в спутанном мирочке наших комнат, в разгар моих бдений, продолжающихся по инерции, я, похлопывая по ее оголенной, прозрачно-белой спине, часто вдруг недоумевал: не по стенке ли я хлопаю. Ее тело уходило от меня в призрачную даль не моего мира.

Стараясь физически возбудиться, я визжал: «таинственности, таинственности, побольше таинственности» — и клал ее тело, перед тем как брать, в различные дикие, нелепые положения; тайны — вот еще чего мне не хватало.

Видя, что со мной уже невозможно наладить духовный контакт, Зиночка впала в какую-то слабоумную решительность; иногда в отчаянном, лживом бреду поцелуев, она вдруг начинала кусать меня, полоумно и настойчиво, как будто желала прокусить мою внешнюю оболочку и заглянуть в душу. Кусается, а глазенки заволокутся быстрыми, бегающими слезами. Ведь все понимает.

Или вдруг начнет бормотать про себя стихи, перемешанные со своими нелепыми мыслями, да так загаллюцинирует себя, как будто вся пропасть стоит перед ослабевшими глазами.

Такая, жалкая, обреченно-оторванная, вся обращенная в себя, в свои мучения, она опять сладостно-тревожно возбуждала меня;

мне казалось, что снова в ней проснулась духовность и я радостно впивался в ее исчезающее, нежное плечо.

Но это были только истеричные взвизги, лишь оттенявшие ужас истины.

Я уже чувствовал, что отношусь к ней, как к вещи, как к чашке, которую можно разбить и не пошевельнется в сердце.

Тупой холод был у меня в душе.

В конце концов я стал невыносимо груб с ней; наши связи жестоко и примитивно рвались; я уже просто орал на нее и только что разве не бил; она совсем отупела от страданий и плыла по течению. Не порывая полностью, но и не сближаясь с ней, я прямо закоснел в своем эгоизме и ничего для нее не делал.

Но чем более я был груб по отношению к ней, тем более нежен по отношению к себе... Нежность эта доходила до такой степени, что я стремился порвать со всем, что меня окружало, и непередаваемо жалел себя.

Часто, судорожно уединившись в своей комнате, я сидел у плотной занавеси окна и, чуть закрыв глаза, сочинял рассказы. Но в моей руке — в моей белоснежной, тонкой рученьке — не было пера: эти чудесные, таинственные, полусозданные творения я сочинял про себя, в замираниях, в запретном храме моей души, в полусне, не задерживая свои мысли для черновой работы, потому что понимал себя с полуслова. Я ненавидел бумагу, читателей, перо, буквы, моих друзей и моих врагов — и поэтому ничего не записывал, уединенно храня все в изгибах моего чистого «я»... Я сладострастно наслаждался тем, что никто, кроме меня, не услышит моих рассказов.

Разыгрывались изломанно-шизофренные сцены. Зиночка визжала и плакала, что значит она — дура, если я не хочу с ней разговаривать. Родители стучали стульями и ходили в милицию. А я строил миры. Качался легкий свет в наших комнатах, приходили и уходили чьи-то тупые рыла, мое бедное сердечко сочиняло небывалые чувства. Мне было так лучше, так непонятно странно лучше. Мой мир рос по мере того, как я оставался один.

Зиночка уже частенько уходила от меня к себе домой, но зато по ночам ко мне стал приходить новый, непонятный, ошеломивший меня гость. Называл я его — Юрий Аркадьевич. Тихонько так приходил, по-нездешнему.

Бывало ночью под потным, пропитанным мыслями одеялом, лежу я и чувствую только сладкое бытие — одиночество моего тела. А в коридоре, ровно во втором часу ночи, уже шаги — тихие такие, мистичные, как движение маятника. В душонке моей — в ответ — щемящее, щемящее чувство, как будто идет издалека ко ко мне любимая... Очень боялся его спугнуть. Тих уж он очень, и не отсюда. Отряхнет пыль со стула, подушечку для мягкости положит и сядет. Я молчу. И такое в моем мозгу просветление, как будто не существует ни Англии, ни луны, ни Зиночки, а существуем только мы с Юрием Аркадьевичем. Полное отсутствие всякой внешности. Кругом одно только внутреннее, настоящее. Как на том свете.

Юрий Аркадьевич помолчит, помолчит сначала, отрешенно себе и метафизически. Личико далекое, далекое, как у сейджей* и на ручки свои — нежненькие, беленькие — так мистически — молча смотрит и поглаживает их, блаженно, легко и недоступно для смертных. Очень, наверное, в себя влюблены были. Потом мы беседовали. Больше он говорил, а я с замиранием слушал.

— Плохо, плохо работаете, Сашенька, — укорял он меня. — маниакальности мало. И отрешенности. На путях вы еще только к Богу-с.

— К какому Богу, Юрий Аркадьевич? — робко спрашивал я.

— К внутреннему. Солипсическому. Который только в нашем «я» кроется и больше нигде. Потому что ничего, кроме высшего «я» нет, — блаженно улыбался Юрий Аркадьевич. — И должны мы, Сашенька, этого Бога открыть и постепенно им становиться.

— А вы подтолкните меня, Юрий Аркадьевич, — сгорал я. — Подтолкните, к этому Богу-с.

— Яйности, яйности побольше, — строго отвечал он. — Вы еще не открыли в себе бессмертное начало, вы не Творец и не хозяин своего мира, а просто прячетесь в него... Поэтому он у вас такой ранимый и неустойчивый. Это еще не мир, а только начало-с, капля-с... И плюньте, пожалуйста, в рожу всему человечеству. Плюньте по-серьезному, добросовестно.

Очень быстро Юрий Аркадьевич исчезали. Подавлял он прямо меня своей излученностью и солипсизмом. Чувствовалось, что они уже все грани перешли.

---

* Сейдж — восточный мудрец.

А я и в самом деле понимал, что многого и качественного я еще не достиг, и Юрий Аркадьевич недаром меня к новым горизонтам подхлестывали. Слаб я еще был, юн, нервен и слишком зависел от внешней среды.

Иногда, чтобы отвлечься от солипсоидно-ослепительной истины Юрия Аркадьевича, я задавал себе глупейший вопрос: «кто он?» Не по сущности, конечно, — я это прекрасно знал — а по видимости? В «галлюцинативно-бредовом» он плане или в так называемом «реальном»? Если в «галлюцинативно-бредовом», то я бы его совсем уважил и появись он снова, в ножки ему поклонился, упал-с. Потому что значит — они оттуда явились.

Но он мог быть и в «реальном» плане, так как в наркотично-эйфорическом состоянии я часто, забывая обо всем, говорю с прохожими на улицах и иногда дарю им свои ключи. Потом ничего не помню. Среди них мог оказаться и Он.

Кроме того, однажды видел я Юрия Аркадьевича в магазине, в очереди за галошами. Терпеливо так стоял, тихо, как все, точно скрывался. И солипсического сияния вокруг головки никому не показывал, хитрец.

Но это тоже могла быть «галлюцинация». В конце концов, я решил, что «галлюцинативно-бредовый» план и так называемый «реальный» — почти одно и то же и глупо их отличать.

Зиночка от меня, кажется, совсем ушла. Потому что Юрий Аркадьевич ее сильно напугали. Во время одного из его визитов, она ночевала в смежной комнате, все слышала и раза два-три дико закричала.

У меня же от посещений Юрия Аркадьевича оставалась некоторая грусть: тоскливо мне было, что еще только на путях я к внутреннему Богу, что слаб я еще, визглив, и слишком верю в реальность окружающего; чувствовал, что настоящее, кондовое — у меня еще впереди, а покамест одни цветочки.

Юрий Аркадьевич тоже прекрасно это видели и, не торопя события, стали очень и очень редко меня посещать.

Жизнь между тем по-прежнему терзала меня; я уже почти не мог появляться на улице; редко выходил на кухню, в коридор; я чувствовал больное унижение, от того что вынужден общаться с людьми, быть с ними в метро, просто стоять около них. Вид города, автобусов, светлых фонарей унижал меня. «Весь мир

должен припасть к моим галошам, а не существовать сам по себе», — выл я истерически мыслями, лаская свою душу.

«Почему все не замечают, как я велик», — злобно взвизгнул я один раз в подушку. Юрий Аркадьевич — хорошо помню — сразу тут как тут появились.

— Вымаливаете вы у мира признания, молодой человек, — сердито сказал он. — Ну как можно вымаливать признание у того, что само нуждается в вашем признании. Не вы у мира, а мир у вас должен вымаливать право на реальность.

Умом я его уже тогда понимал, но до шкуры моей — нежной, изрубцованной окружающими меня людьми — эти великолепные идеи еще не доходили.

И бегал я, и скулил, и в небесах парил, и грозился — но тяжело мне все-таки было.

Однако вскоре появилась у меня отрада. Как я раньше об этом не вспомнил — ума не приложу. Речь идет о гробиках и покойничках. Начну с того, что смерть вошла в мою душу вместе с первым поцелуем матери. Причем смерть жестокая, «атеистическая» — обрыв в ничто.

В детских снах своих, в ужасах, в исковерканных очертаниях предметов в темноте — видел я это немыслимое, все отрицающее ничто.

Потненьким, дрожащим своим тельцем и бьющейся жалкой, родной жилочкой — самосознанием своим — ощущал я разлитое во всем мире, от исчезающих звезд до придавленных мух, холодное неотразимое, знающее свой черед, подкарауливающее ничто.

Казалось, что если после смерти, хоть раз в миллион лет, хоть на одну минуточку, выглянуть опять на каком-нибудь свете, ощутить свое «я» — то уже этим уничтожится этот безграничный ужас холодной вечности полного отрицания. Ведь никогда, никогда меня уже не будет.

Много было потом теорий, книг, диссертаций, как будто бы победоносно и навсегда освобождающих от этого тупого кошмара, но — не забудьте! — такое представление о смерти впустили в наши души вместе с первым поцелуем матери, вместе с первым утренним светом, — с детства. И поэтому в глубине души оно жило во мне как жуткое притаившееся чудовище.

Однако это только одна сторона. Ведь смерть-то была хоть и

атеистическая, но все-таки тайна. Тайну они не смогли убить. И поэтому с детства в душонке моей жило молитвенное благоговение и трепет перед застывшим лицом мертвеца.

Никаких сказок, никаких песен мне не нужно было, только бы смотреть на покойничков.

И тот глубокий ужас перед ничто уходил куда-то в сторону и, наоборот, сознание гибели лишь возбуждало ощущение тайны. Облегчалось это тем, что видел ведь я не себя мертвым, а чужих, в то время как тот ужас перед ничто возникал всегда впотьмах, в одиночестве.

Вот эта-то сторона смерти и захватила меня сейчас по- серьезному, до кишок.

Жизнь была настолько мрачна своей безысходностью и материализмом, своей животной тупостью и ясностью, что Смерть — единственная, видимая и ощущаемая всеми, Великая Тайна, причем тайна, бьющая по зубам — являлась настоящим оазисом среди этого потока декретов, овсяной крупы, телевизоров и непробиваемой «логики».

В наблюдении за смертью было что-то глубоко интимное, мистичное, что я мог сделать своим, принадлежащим только мне... Одним словом, сплелось тут воедино много комплексов: отрешенных и сладострастных, диких и затаенных...

Время шло уже к осени. Облюбовал я себе грязненькое, забрызганное кладбище на краю Москвы. Рядом стояла берущая за душу своей мистической обыденностью полу-столовая, полупивная. Приходил я туда еще поутру — всегда с томлением: будут ли сейчас покойнички? Чтобы уточнить, перед тем как зайти в пивнушку, я звонил по телефону кладбищенскому начальству. Начальство — хмурый, полупьяненький старичок — неизменно узнавал мой голос и отвечал мне долго и назойливо, кто будет захоронен, в каком возрасте, отчего помер и где нашли точку для ямы. Он был убежден, что я интересуюсь этим из-за какого-нибудь важного, недоступного для его глупого ума дела. Поэтому он очень меня побаивался.

Получив благополучный ответ, я поначалу забивался в грязный, темнеющий угол столовой у низенького окошка, из которого видны были покосившиеся, готовые рухнуть, ворота погоста. Заказывал себе кружечку пива и 2-3 килечки. Закрывал глазки и отключался.

Миры входили в меня потихонечку, вместе с острыми каплями алкоголя, теплыми своими спонтанными мыслями и тихими далекими шагами приближающейся похоронной процессии. Первая фаза моего духовного откровения проходила еще целиком в пивнушечке, в грязной теплоте, в ожидании, среди мух, жующих рож и полупомешанных от сытости кошек.

Стук надвигающегося мертвеца я предчувствовал всей дрожью своей: и в душонку мою входила непонятная, замкнутая в себе, обреченная радость. Я вдруг начинал тупо хихикать, что я — вот де живой, а он — мертвый.

Эта мысль необычайно, до нестерпимых высот поднимала самоценность, близость и блаженство моего бытия. Я тихохонько гладил свои колени, упивался своим существованием, и все вокруг: потолок, кошки, стулья, жирные бабы — казались мне мертвыми и неподвижными, окружившими своей бессмысленной, враждебной стеной сладостное, одинокое трепыхание моего «я» и плоти.

На вершине экстаза я так погружался в чистоту этой мысли, что чувствовал себя — и это было самое приятное — совсем слабоумным.

Я хихикал, обливал себя пивом, дергал кошек за хвост.

Потом начиналась следующая фаза. Умиленный, слегка пошатываясь от мыслей, я выходил навстречу похоронной процессии. Прежняя радость улетучивалась и я теперь целиком отдавался порыву потусторонней тайны. Слегка подпрыгивая, я трусил за гробом и мне всегда казалось, что хоронят какую-нибудь мою частицу: полноги, каплю моей душонки или просто палец.

Поэтому неподражаемо таинственный гробовой путь до ямы я ощущал как собственный болезненно-родной путь где-то в пространстве между нашим и загробным миром, когда душа уже отходит, но еще не отошла. Душонка еще не может расстаться со снами, взвизгами, плачами и видениями этого мира, который принял сейчас, в момент расставания, какой-то иной, ирреальный смысл; и я совсем по-новому смотрел на высокие деревья по кладбищенским аллеям, шум ветра в которых превращался для меня в прощальные, неслыханные песни земного мира, открывающего свой скрытый лик только перед смертью; но издалека в эту же душонку уже входил черный, непонятный ритм — ритм загробной бездны.

Эта фаза кончалась у самой гробовой точки. Когда мертвеца, ставили около ямы, я перво-наперво старался заглянуть в его лицо. Иногда в противовес великому и драматическому во мне просыпались хохотливые, идиотические силы. Мне вдруг хотелось плюнуть в лицо покойничка, иногда поднималось нелепое ожидание, что покойник вот-вот проснется и вскочит; я зажмуривал глаза и открывал: а вдруг скачет.

Но основным содержанием этой фазы была сама смерть и созерцание лица покойника.

Я упивался холодно-застывшими чертами мертвеца; мне казалось, что если я буду долго, долго до безумия вглядываться в его лицо, то сорву эту неподвижно-кошмарную, мертвую маску и увижу за ней разгадку жизни, разгадку самого себя. Сердце мое ёкало, природа вокруг принимала утонченную, болезненно-фантастическую форму; каждый кустик становился чертиком или Фаустом. Даже толстые, нелепые родственники около гроба казались многозначительными. Безгранично возносился я к Престолу Великой Тайны и в извивах дорог к ней еще с большей душераздирательностью любил себя, обреченного. После захоронения, бредя по молчаливым тропинкам кладбища, визгливо припадал я с мольбой о жалости к зеленым деревцам, собачкам и ядреным нищим, попадающимся мне по пути.

Жалеют кого-нибудь оттого, что у него чего-нибудь нет: денег, ума или женщины. Но я выл не о такой жалости; теплой, безумной, сексуально-маразматической жалости к своему чистому, обреченному «я», к своему дрожащему, погибельному бытию, такому родному и такому заброшенному перед лицом непонятного мира — такой неистовой, патологической жалости просил я; но деревца одиноко молчали в ответ, собаки лаяли и разбегались, а нищие крестились и шарахались в сторону... И я понял, что эту жалость я могу получить только от самого себя и что из этой жалости должно возникнуть что-то великое...

Так и живу я сейчас, пустынно и одиноко. Почти через день хожу на свое милое кладбище. Обедаю тут же, около тайны. Меня уже все здесь знают. Родственников очередных покойников предупреждают обо мне. Некоторые очень дружелюбны и после похорон угощают меня водкой; некоторые шарахаются; другие думают, что я шпик и отказываются хоронить.

Несколько раз бывали экстазы, когда я в слабоумненьком оту-

пении, в вихре, уже за гранью миров, лез, расталкивая всех, целоваться с покойниками. Один старичок запустил тогда в меня галошей...

Зиночка раза два ко мне в кладбищенскую пивнушечку прибегала. Посмотрит, посмотрит, раскроет глаза, ахнет и убежит... Я с ней уже ни о чем не разговариваю...

...Зато Юрий Аркадьевич, — слава богам! — опять стали меня посещать, теперь уже, правда, по утрам.

Подмигнул мне последний раз и, пристально так глядя, сказал: «а не кончается ли у вас, Сашенька, юность, и не пора ли вам отправляться в решающее, мистическое путешествие»...

...На этом обрывается тетрадь индивидуалиста.

●

ГОРОДСКИЕ ДНИ

Маленький городок N. недалеко от Москвы охвачен потоком солнечного тепла. Стоит нестерпимо жаркое лето. В природе — пир жизни, которому не видно конца. Воздух напоен торжеством, словно сам рай сошел в опьяняющий мир.

Там, в высоте, светит чудовищно белое солнце, как золотой знак Аполлона, как знак того, что он есть. Глаз опущен, закрыт, остался один знак — неугасимый, проливающий потоки света в мир, всесильный, божественный, равнодушный к добру и злу...

На земле — там, внизу, — не античные города, не тени богов, не трепет елевсинских мистерий, а обыкновенный советский городок 196... года. Низенькие дома-коробочки, плакаты о том, что «Бога нет и никогда не было», чад пивных с их зигзагообразными непослушными очередями, тупой вой машин. Диковатые, полуоднообразные люди там и сям шныряют по улицам и иногда о чем-то спорят, но больше угрюмо молчат. А на солнышко даже и не смотрят, полагая в простоте душевной, что оно всего лишь котел с ядерно-химическими реакциями внутри. Учатся все — от мала до велика, но от учения лица становятся

еще угрюмей и заброшенней, как будто учение стало тьмой, а неученье — светом...

За гулом фабрик, за туманом пыли и бензина — приютилась Белокаменная улица. Четырехэтажные коробки, слепые окна-глаза, зелень, детвора, старушки на скамейках, торопливые мужчины. Вид у мужчин помятый, странный, глаз — полузвериный, полуищущий правду; кулак — тяжел и увесист, словно грузное и уверенное дополнение к правде. Бывает, что летними вечерами крик восходит от домов, как плотное облако; женщины кричат о разбитой посуде, о жизни, о детях, о деньгах; мужчины переругиваются более тихо и мрачновато, в основном о водке и смерти. Крик же детей почти не уступает женскому. Иногда в этот человеческий вой врезается стремительно-исчезающий лай собак; порой кажется, что человеческие голоса становятся продолжением этого лая — с еле различимыми звуками человеческих слов. Изредка этот монотонный вой прерывается взрывным грохотом, тяжелым падением тела — и наступает тишина: мертвая и страшная, как в глубине вод. Это верный знак того, что произошло нечто близкое к смерти: удар, кровь, стон и замирание чьего-то сердца, и скорый выход души. Но куда?

Кузьминские жили в одном из таких домов. Черная пасть парадного выводила почему-то во двор; голый, одинокий, без единого деревца в нем. Раньше среди взрослых хозяином двора был Василий Антонович — милиционер и жилец дома. Но с тех пор как он исчез, неделю назад — двор душевно опустел. А исчез он самым диким и неподобающим образом.

Василий Антонович в свое время был подлинный начальник; причем начальником он становился именно тогда, когда возвращался со службы. С этого момента он никому не давал спуску: крик, брань, придирки преследовали жильцов, как потусторонних мух. «Ты почему здесь сидишь?» — кричал он распалясь, на какого-нибудь еле трезвого мужичка, прикорнувшего на дворовой скамейке. «Опять насорено, опять насорено!» — звучал его голос, долетая до самых укромных уголков дома. «Куда, куда!?» — шумел он в своей комнатушке, как будто она была отделением милиции. Больше всех доставалось жене — Анне. С течением жизни взгляд ее все мутнел и мутнел, как будто жизнь заключала в себе одну тьму. Трудно было поэтому найти на свете более мрачное существо, чем жена Василия Антоновича. Доставалось

от него и Кузьминским, хотя были они люди пожилые и тихие; недолюбливал же их Василий Антонович за веру, за иконы, но особенно за то, что их дочь, тринадцатилетняя Таня, носила маленький крест на шее. «Сами глупые, неученые — и ладно, а дитя для чего смущать», — тяжело вздыхая говорил он. Но дело это было тонкое, умственное, а Василий Антонович решался прерывать дела простые и ясные. Поэтому больше всего он любил работу в вытрезвителе. «В вытрезвитель вас всех, в вытрезвитель... чертей беспорядковых», — кричал он по любому поводу. И даже просто так. «Житья от него, ненавистного, нету», — вздыхала полутемная, в слезах, старушка Никитична, — и во сне снится... Один голос его громовой и слышу». Исчезновение же громоподобного произошло следующим образом.

Однажды вернулся он совсем распоясавшись. Кажется, опять дежурил в вытрезвителе. Обругал Никитичну за семечки, гаркнул на Таню: «сыми крест!». Прошел к жене. Анна варила кашу — рядом стоял лишний пустой черный чугунок. «Не вовремя!» — заорал он, ударив ее. И вдруг в глазах Анны вспыхнул огонь — меткий, жесткий. Вспомнила все. Где-то в душе лопнуло терпение. Подошла и ловким уверенным движением, слегка подпрыгнув, нахлобучила на голову служивого чугунок. Чугунок как-то таинственно хлюпнул, и будто предназначенный неожиданно точно оделся на голову, накрыв ее до самой шеи. Служивый заревел. Анна исчезла, словно ее слизнули. Василий Антонович остался один — в темноте. Он пытался было сорвать чугунок с головы рывком сильных рабочих рук, но сделал неуклюжее движение и чугунок окончательно закрепился, словно намертво охватив милицейскую голову. Крик поднялся такой, что жильцы позабыли запереться в своих комнатах. Василий Антонович выбежал в коридор: спотыкаясь и трубно крича, пытаясь сорвать так неудачно врезавшийся горшок. Ничего не видя, он тем не менее пытался бежать — от стены к стене, куда неизвестно. Тьма объяла его. Ни неба, ни облаков, ни солнца не было. Главным образом пугала его тьма и невозможность сорвать чугунок: при каждой попытке голова трещала от боли. А может быть, просто он обезумел от ярости и стал таким неловким. Ужас распирал его. И вместе с тем желание бежать — куда, он не знал. Полупрыгая, бросаясь из стороны в сторону, Василий Антонович спускался во двор — к свету. Вид метущегося начальства с черным чугунком

на голове парализовал всех. Страх мешал думать — и предпринимать. Погоны напоминали о власти. Но тупой рев под чугунком напоминал об уму непостижимом.

Под конец произошло что-то совсем жуткое и несообразное. По какому-то непонятному наитию милиционер, выбежав во двор, бросился к каменной стене — она была налево, рядом с домом. Двор опустел. Жильцы высунулись из окон. По темному, неуверенно, тем не менее разбежавшись, милиционер с размаху ударился чугунком о стену. Надежда была разбить проклятый чугунок. А может быть, заодно — и ненужную, вечно надоедавшую голову. Увидеть свет. Увидеть солнце. Воссиять. Пускай даже без головы. Рядом оказался мальчишка Витя, лет четырнадцати — наглый и пронырливый. Все мальчишки во дворе панически боялись Василия Антоновича. И поэтому жизнь во дворе была тихая: ребятишки не дрались друг с другом. Но первый, кто осмелел при виде объятого каменной тьмой милиционера, был затаенный хулиган Витя Марушкин. Вертясь около ревущего милиционера, он поправлял его:

— Вот так, дядя Василий!.. Там стена!.. Бежи!.. Прямо!.. Расколется, гад!

И дядя Василий тяжело разбежавшись, как носорог, тараном бодал каменную стену. Раз, другой, третий... Ничего не помогало. Свет не мелькал в глазах. Пробуждения не было. Птицы высоко летали над его каменной черной головой. Но расшибить чугунок не удавалось. Может быть, мешала тайная жалость к своей голове. Прошло время, показавшееся ему вечностью, и вдруг Василий Антонович затих. Пошатываясь, медленно отошел на середину двора. Уже раздавался открытый хохот. Василий Антонович присел на пень. Какая-то птичка, видимо ошалев, села ему на чугунок. Когда подошли трое мальчишек, один с кирпичом, она вспорхнула. Это были самые уверенные ребятишки.

— Давайте я соображу, дядя Вася, — особенно норовил самый высокий из них, Петя.

Но из-под чугунка не раздалось ни звука. Одно жуткое бездонное молчание. Словно Василия Антоновича — там, под чугунком — уже не было, или он изменялся — в иное существво...

Петя продолжал:

— Василий Антонович, я вас стукну... Кирпичом... Как в физике... Аккуратно... Горшок расшибу, а голову не заденет.

Петя сдержанно, робея, словно по инструкции, ударил раза два. Образовалась трещина, но не на голову. Вдруг по-мертвому завыла сирена скорой помощи: очевидно, кто-то решился позвонить.

Осторожно, как идола странного племени, Василия Антоновича вывели со двора в машину. Больше его никогда не видели; Анна через неделю уехала. Говорили, что он, якобы, сошел с ума: причем на всю жизнь, без возможности возвращения. Старушка Никитична, правда, говорила, что он сошел с ума не только на всю жизнь, но и на период после смерти. Так де сказали ей во сне.

Но жизнь после этого явно облегчилась. Спало чудовищное бремя контроля. Во дворе стало оживленней. Зазвучали голоса мальчишек. Особенно радовались Кузьминские: теперь никто не кричал на Таню «сыми крест!». Она могла свободнее дышать.

«Господи, хоть последние годки поживем спокойнее», — радовалась Кузьминская.

Но дальше события во дворе опять развернулись самым неожиданным образом.

Да, действительно стало легче. Еле трезвые мужички спокойно дремали на скамейках. Старушка Никитична вовсю лущила семечки и видела более спокойные сны. По вечерам во дворе стали собираться соседушки: забивать козла. Повеяло свободой. Кой-где даже раздавался хохот. Но в мире детей творилось нечто особое.

Там тоже, конечно, стало свободней. Подросток Петя уже подрался с Витей. Другие гонялись друг за другом, точно они были каменные: так беззаботно раздавали они друг другу оплеухи. Появились даже ножи. Но больше всех стала бояться девочка Таня. Это было нежное доверчивое существо. Года два назад она была сильно травмирована; началось с того, что к ним в дом — Кузьминские жили тогда в другом городке, совсем близь Москвы — пожаловала гостья, да не от куда-нибудь, а с Запада, из-за границы. Дело в том, что Кузьминские имели там родственников, но последние, боясь сами приехать, попросили по случаю знакомую учительницу, канадку, поехавшую в СССР, навестить Кузьминских. Канадка и навестила, прохохотав с полчаса в комнате Кузьминских. Говорила в основном о деньгах. Девочке почему-то показалось, что голова у канадки муравьиная, только большая. Но если кто-нибудь мог заглянуть в мысли канадки, то ее, наверное, вообще ни с чем нельзя было бы сравнить. На сле-

дующий день пришла милиция: делать обыск. Три дня родители пропадали. Тане снились глаза канадки: до того странно пустые, что походили на глаза манекенов, расставленных в столичных магазинах. Неужели из-за этих прозрачных, ничего не выражающих глаз, нужно сажать в тюрьму маму, папу, мучить и терзать? Но маму и папу не посадили. Мама и папа вернулись. Пустые глаза перестали сниться. Но зато по дому поползли слухи: «продались империализму». Тане опять стал чудиться бессмысленный хохоток канадки...

Из дома тогда пришлось уехать и прямо в городок N. Их встретили бесконечные лозунги: «Вперед!...» И описанный милиционер Василий Антонович — в конце концов с горшком на голове. И вот началась новая жизнь: милиционер исчез. Но страх скоро снова подкрался к Тане.

Бояться она стала ребят. Особенно глаз Пети: холодных и острых, как нездешняя сталь. Она не могла понять, почему он за ней наблюдает. Она видела, что мальчишки с исчезновением дяди Василия стали бешено драчливыми и оживленными, как зверьки. Но ее никто не трогал: за ней только странно и неподвижно наблюдали. Петя — жестко и отчужденно, Витя — со злобным удивлением, больше поглядывая на грудь. Он даже открывал рот от изумления. Холод охватывал Таню. Но она не решалась еще говорить чего-либо родителям. Ночью ей ничего не снилось: один холод томил ее, даже во сне.

И вдруг все кончилось.

Вечером ее остановили у дома. Были все те же ребята. Только глаза Пети еще больше похолодели: точно напоминали оледеневшую сибирскую реку. Сердце ее опустилось.

— Ты почему носишь крест? — тихо спросил один, белобровый.

— Верит в Бога, дура! — захохотал другой.

— Да за такое убить мало, — вдруг с садистской злобой прошептал Петя.

— Бей ее! — вскрикнул Витя.

Одним ударом ее сшибли с ног. Боль заполнила все существо. Били молча. Словно настало время, когда молчат дети.

...Через месяц Таня вышла из больницы. Был такой же теплый, всепроникающий бессмертно-живой день. Солнце — закрытый знак Аполлона — изливало свет в мир. Кузьминские решили уехать из этого города. Но куда?..

●

ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК

Городишко Мучево, что под Москвой, неуютен, грязен и до смешного криклив и весел. Правда, веселы там больше вороны и галки, которые, как черные, забрызганные мальчишки с крыльями носятся по небу, как по двору.

Новые дома выглядят здесь абстрактно и гноятся людьми. Людишки в них — с разинутым ртом, ошалелые, шумные от новизны пахнущих краской квартир и от тесноты.

Старые дома, сбившиеся кучкой, поласковей, позагадочней, и пахнут вековым деревом; народ в них — темный, осторожливый, с ножом по карманам; ходит по одиночке, на цыпочках и матерятся с оглядкой.

В этаком-то домишке, в отдельной комнате, в стороне от родителей, жил парень лет 19, Петя Гнойников, шахматист. Личико он имел аккуратное в смысле скрывания своих дум, точно надвинутое на большие, но запрятанные где-то в глубине, жадно-самодовольные глазки. Тело у него было в меру полное, только зад был слегка бабий, а голос нервный, поросячий, как будто его всегда резали.

Больше всего на свете Петя Гнойников любил свои мягкие, белые руки и игру в шахматы. Руками он брался за горячий стакан с крепким чаем и передвигал шахматные фигурки.

Учился он плохо, дома его тоже как-то преследовали, но Петя не огорчался, а обо всем имел собственное мнение, храня его затаясь.

Так же затаясь, он еще с пятого класса стал часто играть в шахматы. Потихоньку играл, потихоньку.

И так случилось, что в этом маленьком городишке было не так много более или менее хороших шахматистов, а Петя Гнойников все выигрывал и выигрывал, сначала у однокашников, потом и посерьезней.

Бывало прибьют его где-нибудь во дворе за подлость, или уколят тонкой иголкой в живот, а он, тихо поскулив, запрется у себя в комнатке и обслюнявившись до истомы, обыграет кого-

нибудь в шахматишки. Потом ляжет и полежит на мягкой кроватке, сложив руки на животике, отдыхая.

Играл Петя Гнойников аппетитливо, мусоля шахматные фигурки, то поглядывая на противника въедливо-романтическими, удовлетворенными глазками, то застывая в покое, как наевшийся кот.

Постепенно в нем росло убеждение, что он великий человек. Часто, укрывшись с головой под одеялом, он долго, ночами выл от сознания того, кто он такой. Успокоившись, протягивал из-под рваного одеяла худую, нежную ручку и закусывал это сознание ломтем колбасы.

Жизнь его между тем, по мере того как он взрослел, становилась все тоскливей и тоскливей. Как бы окруженная пустотой. И только шахматы привязывали к себе.

Однажды, просматривая в журналах партии выдающихся шахматистов, ему пришла в голову мысль как бы подставлять себя на место чемпионов и воображать, разыгрывая партии, что это он, а не они, выигрывает эти партии. И что ему принадлежит вся слава и все внимание, доставшиеся в реальной жизни на их долю. С тех пор эта страсть стала его тайным, судорожным бытием, в которое он погружался и на радости, в морозное, солнечное, обращенное к жизни утро, и в одинокий, безразличный день, и после побоев, и после унылого, беспредметного онанизма.

На душонке становилось жутко, холодно, но постепенно могучие, неистребимые объятия мании величия охватывали его душу до конца. Гнойников занавешивал окна и упивался этим величием. Разговаривал с Капабланкой, Алехиным, Смысловым. Но все было в меру, без безуминки, без надрыва, только разве с тихо-одинокими взвизгами. Поговорит — и чайку попьет, книжку почитает, за мукой сходит. Эта мания величия необходимо дополняла сознание земных побед над местными шахматистами, и делала его устойчивым и самодавлеющим. Чувство реальности свое он никогда не терял, а это было для него так — игра, как игра... Почему бы и не поиграть? Вернее, даже не игра, а утонченный разврат, иногда с истерикой, со слезами, с криками, но всегда с нелепо-самодовольным концом.

Но Алехин Алехиным, а сам Петя Гнойников хотел и надеялся, что он будет все-таки великим шахматистом, потом, не сразу; а игра в Алехина — это, так сказать, предвкушение будущего. ...А

для настоящего Гнойникову были достаточны и эти жадные победы над мучевскими шахматистами, и это неопределенно-самодавлеющее сознание, даже без всякого конкретного заглядывания вперед...

...В 18 лет Гнойников впервые познал женщину и у него почему-то было желание засунуть ей в глубину, в матку, ферзя.

У женщин он не имел успеха.

Кроме женщин, был у него еще Хорёв, однолетка, существо грязное, запуганное и жмущееся к темным углам. Он тоже был шахматист, но с мазохистским уклоном; хотя играл он неплохо, но больше любил проигрывать, чтобы услужить партнеру и всплакнуть потом о себе где-нибудь под столиком.

Гнойников держал его для «души увеселения» и по нелепому желанию лишний раз выигрывать партию в шахматы.

Часто, запершись у себя в комнате вместе с Хорёвым, Гнойников, обыграв его раз семь, подолгу гулял с ним по комнате, пил чай, обмусоливал хорёвские слова. Вид у Пети был серьезный, он поглаживал зад, и отпускал Хорёва под вечер, строго и с наущениями. Старушка-соседка, пугаясь серьезности его величия, запиралась на крючок. Это были самые счастливые дни в жизни Гнойникова.

Не менее странными были его отношения с семьей Сычевых, — состоящей из старичка Никодима Васильевича и его двадцатилетней дочки Нади — единственной семьей, с которой общался Гнойников. Он приходил к ним пить чай, был взаимно-влюблен, конечно, со своей стороны по-своему, в Надю, и подавлял всех своей манией величия. Старичок Никодим Васильич так прямо прыгал от него из комнаты в комнату. Особенно, когда Гнойников, подвыпивши, кричал: «Я — великий... Циолковский... Величина... Едрёныть».

Но Надюше этой манией он внушал строгость и послушание. Она боялась и любила его, тихо молясь за Петю по ночам, пряча под подушкой непонятные шахматные фигурки.

Она занимала определенное место в его мечтах: он воображал ее около себя, а себя — с шахматной короной, где-нибудь в Рио-де-Жанейро.

Очень часто, когда он, запершись в комнате играл с кем-нибудь, она тихо и бесшумно расставляла ему фигуры, вытирала пыль с

доски. Разбирая партии, он не раз поглаживал ее простые, жирные бедра.

Старичок Никодим Васильевич считал его сумасшедшим, но находил, что лучшего мужа его дочери все равно не найти. Он приучился так ловко прыгать из стороны в сторону, когда Гнойников заговаривал о своем величии, что моментом исчезал в какое-нибудь пространство, и все к этому привыкли.

Впрочем, на чужих людях Гнойников так прямо не высказывался, а больше давил молчанием.

Странно, что это сознание величия, причиной которого был его успех в шахматах, сразу распространялось на всю реальность в целом, он считал себя великим человеком вообще и мысленно даже присваивал себе право давить людишек на улицах автомобилем. Успех в шахматах был лишь необходимым сдвигом, ведущим к раскрытию в его душе какого-то безудержного и абсолютного величия.

Но вот однажды в Мучево случилось событие. В городе должен был состояться 1-ый этап обширного областного турнира. До этого Гнойников мало встречался с посторонними шахматистами.

В дождливый, полулетний день многие силы области съехались и приютились в потресканной мучевской гостинице. Мало кто из них думал о турнире: все были довольны лишним бездельем. Кто, укрывшись, читал романы, кто спал с бабами в шизофренически-многолюдных углах, кто свистел песни. Но Гнойников потаенно и судорожно готовился к турниру.

Сделанный атеистом, пошел в церковь и пугливо-повизгивая, оборотясь, поставил свечки. Читал шахматные журналы, поглаживая ляжки. А Хорёва почти не отпускал от себя. Лицо у Пети стало напряженное, серьезное и страховочно-многозначительное.

И отношения его с семьей Сычевых получились теперь совсем загадочные и таинственные. Сейчас, с приближением турнира, Гнойников и у Сычевых брал больше задумчивостью, да еще неопределенными высказываниями о судьбе. Тяжелый, дымящийся суп ел он сурово, заглядывая в журналы, и старичка Никодима Васильича пугал серьезностью и расспросами о практическом ходе жизни. Надюша плакала со страху и чинила Гнойникову валенки на зиму.

Наконец наступил день открытия. Противником Гнойникова был здоровый, быкастый человек с холодными, насмешливыми глазами.

Гнойников так трясся от нежности к себе и от страха перед разрушением величия, что руки у него наглядно дрожали, когда он передвигал фигуры. Петя покраснел, съежился и влез в угол стула. Человечка-партнера это так заинтересовало, что он больше смотрел на Гнойникова, чем на шахматную доску. Иногда, в ходе игры, Гнойникову казалось, как озарение, что он выигрывает, причем часто это ощущение не вязалось с положением на доске. На душе становилось легко и величественно-воздушно. Но он медленно и неумолимо проигрывал. От этого мысли стали уходить в зад, который тяжелел от них. Под конец Гнойников не чувствовал в себе ничего, кроме увеличенного зада. Улыбаясь, он сдал партию. Партнер оставался холоден. Казалось, ему было все равно, выиграл он или нет.

Гнойников выскочил на улицу. Сначала боялся думать. Почитал газету, купил кнопки. Побрел дальше. У грязного, замызганного ведра копошилась девочка лет 13 с деревянной палкой вместо куклы.

— Ты умеешь играть в шахматы? — спросил он.

— Немного умею, — удивилась она.

— Сыграем, — сказал Гнойников и вынул карманные шахматы.

Сели на ступеньки. Он обыграл ее три раза, минут за пятнадцать, и на душе опять стало радостно, уютно и привычно-тепло.

«Я — великий», — тупо подумал Гнойников.

Ущипнув девочку, пошел дальше. Мысли отгонялись от поражения в прежний свет.

«Это случайность», — икнул он в уме. И мысли парили уже высоко-высоко. «Это случайность», — икнул он.

Поел в своей комнатушке, напряженно-смешно, и появилось истеричное желание завтра же выиграть, взять реванш, чтобы улететь еще дальше, далеко-далеко, в голубые облака недоступности.

Старушка-соседка пристально смотрела на него из щелки дверей.

Следующие два дня прошли, как во сне. Две партии отложили с неопределенным положением. Он разбирал их, запершись, с

Хорёвым. Хорёв все время проигрывал и плакал, скрываясь под стол. Надюша бесшумно приносила котлеты.

Она думала, что если отдастся Пете во время игры, то он победит любого партнера. Почему в шахматы не играют по ночам?

Наступил четвертый день турнира: день доигрывания.

На этот раз Гнойников обмочился за партией.

От мокроты внизу выступили слезы на глазах. Но Гнойников проиграл обе партии. Сердце бешено колотилось, и в мозгу стало наполненно-пусто от сознания собственного ничтожества. Взвизгнув, предложил судье, мастеру шахмат,сыграть с ним матч.

На другой день старичок Никодим Васильевич не узнал его. Наденька дрожала и предложила пойти в ЗАГС. Хорёв, одиноко маячивший в стороне, был молчалив и застыл сосулькой.

От страха и инерции Гнойников не пошел в этот день на турнир, вписав себе еще один ноль. Да и надежд больше не было. Оказалось, он проиграл самым слабым участникам. Все было ясно.

За чаем Гнойников совсем распоясался.

— Что делать, как изворачиваться, как жить! — визжал он на всю комнату.

От его загадочности не осталось и следа. Старичок Никодим Васильевич прыгнул и исчез куда-то в соседнее пространство.

— Давай я тебе проиграю, Петя, — угодливо произнес Хорёв.

Надя заплакала и обнажила белые полные руки.

— Ты мне корону на член не оденешь, — обращаясь к ней, вопил Гнойников. — Я пустой стал... Понимаешь... Пустой... И глупый... Надменности никакой нету... И устойчивости... Эх, убить бы кого-нибудь... Убить!

— Что ты, Петя, что ты, — увивался вокруг него Хорёв. — В тюрьму сядешь... Ты на меня посмотри: как хорошо все время проигрывать! Аюшки! — И Хорёв погладил Гнойниковскую ляжку. — Я не то что тебе, а самому Ботвиннику проиграю, — заскулил он, сунув в рот сахарку. — Проиграешь и так тебе хорошо, тепленько. Во-первых, раз проигрываешь, значит можно думать, что, если б играл как следует, то тогда б выигрывал... у всех... Во-вторых, проиграть ты всегда сможешь, а вот выиграть?.. Так-то спокойней, как в баньке, а?!. Петя?!. Мысли!!

Но Гнойников уже не слушал его. Обругав Надюшу, он выскочил на улицу.

«То что я — великий человек, это дело решенное, решенное раз и навсегда, — непримиримо визжал он всем своим сознанием, бегая по длинным Мучевским улицам, то и дело харкая на зеленую, свежую травку и на цветы. — Но ведь я — плохой шахматист... А ничего другого делать не умею... В чем же мое величие?!. Как примирить, как примирить?! — еще исступленней, сжимая кулачки, косясь на небо и облака в них, бормотал он.

Укусил попавшееся ему молодое деревце. Побежал дальше, домой, домой...

Его состояние было расколото на две существующие и в то же время как будто исключающие друг друга половины: одно — прежнее величие, от которого он ни за что не мог отказаться; казалось, само его существование зависит от этого величия; другое — ужас, подавленность и истерическая пустота от сознания краха шахматной карьеры, на которой держалось все это величие. И никакого примирения и выхода он не находил, оставаясь в неразрешенном крике...

Скуля, прополз домой, в конуру. И даже не захотел погладить свой сочный зад. Скрючился под одеялом. И вдруг в комнату постучали. Это была распухшая от слез Надя. Казалось, слезы текли из ее живота и жирных боков.

Мягким телом прильнула к рвано-закутанному Гнойникову. Он молчал.

— Петя, Петя, еще не все потеряно, — вдруг завыла она, прижимая его к своему трясущемуся телу. — Воровать будем... Убивать будем... Грабить... Обманывать... Только для себя... для себя...

В груди Гнойникова шевельнулось слабое, гадкое, дрожащее согласие и он по-собачьи, вытянув руку, как член, из-под одеяла, погладил Надюшу. Обессиленно-трупный, с неразрешимой дилеммой в душе, он не мог справиться с ней как мужчина.

И тогда она, прижавшись к нему своим плотным, счастливым телом, бескорыстно-самоотверженно просунулась белой, пухлой рукой до его члена, и нежненько напевая ему в ушко трогательные песенки, убаюкивающе подласкивала его член до тех пор, пока Гнойников, завороженный, сладостно не уснул.

Такова была их первая брачная ночь.

К утру Надюша проснулась и посмотрела на лицо спящего Гной-

никова. Оно было сурово, неприступно и величественно, как в былые дни...

Но каково-то будет пробуждение... Что будет дальше?!.

МНОГОЖЕНЕЦ

(Рассказ отчужденного человека)

Существо я странное, в общем простое и неприхотливое, но с болезненно-хрустальной, построенной из воображения душой. Живу я в больших, опустевших после смерти моих родителей, двух комнатах. Мебель и другие внешние предметы в них заброшены и носят отпечаток моего сознания.

Это, наверное, потому, что я прикасаюсь к ним взглядом. Люблю я очень, побродив по комнате, сесть на подоконник, и, раскрыв окно, смотреть в город. Мне страшно, что такой гигантский мир восходящего солнца, ослепленных им домов и блистающих крыш — всего лишь создание моей фантазии. Когда это чувство мне надоедает, я занавешиваю окна и опять брожу по комнатам. Ощупываю своими мыслями каждый предмет. Единственно куда я не люблю заходить — на кухню. Потому что там много острых запахов. А мне не хочется, чтобы что-то било в меня.

До свидания, вещи!

Около меня есть человек. Да, да — человек. Моя жена.

Самое интересное и чудное в этой истории, что на самом деле у меня несколько жен. Правда, формально они воплощены в одно лицо — лицо моей Иры. Но в действительности их несколько. И, главное, я никак не могу протянуть между ними нить. Между ними — одна пустота, провал. Тех, нескольких, я уже хорошо изучил,

а между ними провал. Или может быть — пустота тоже одна из разновидностей жены?

Во всяком случае, иногда я никого не вижу, даже если рядом Ира. Она сама эта чувствует и поэтому стремится уйти. Один раз я застал ее даже прячущейся на чердаке, между старыми, треснутыми горшками. А она ведь любит изысканно одеваться.

Во время ее пустоты я себя хорошо чувствую: конечно, немного опустошенно, нет эдакой возвышенности, парения, но зато и тоски нет. А при всех других женах тоска на меня страшная нападает. Правда большей частью в соединении с возвышенностью. Даже иной раз не отличишь одно от другого.

Ну так вот.

Поскольку Иры практически не существует, а существуют несколько жен, между которыми общность только в одной документации: паспорте, значит, на имя Иры Смирновской, то я всем этим моим женам дал отличительные имена: 1) Горячая, 2) Холодная, 3) Сонная и 4) Полоумная.

А в перерывах — пустота. Когда ничего нет, или Ира на чердаке прячется.

Горячая — это та, которую я люблю или больше всего люблю. Ласковая такая, нежная, как одуванчик, который мне часто снится по утрам. И глазенки все время на меня смотрят. Скорее даже под сердце, где самое нежное и чувствительное место. И кажется мне она такой близкой, как оторвавшийся от меня островок моей души. А как же тоска?! Я ведь предупреждал, что без тоски у меня ничего не бывает. Но как только я дохожу до самой высшей точки в своем ощущении Горячей, как любимой, так точно бес меня в сознание толкает. Просто начинаю я вдруг ни с того, ни с сего чувствовать раздражение к Горячей. Негативизм — да и только.

Хорошо помню, что это раздражение — абсолютно априорного происхождения, даже страшно становилось, что оно как будто из ниоткуда вырывается. Но чтобы оформиться, так сказать, в жизни, этому раздражению нужно было за что-то уцепиться. И тогда в Горячей, в которой все до этого было мое и ласкало душу, вдруг появляется какая-то отвратительная для меня черта. Она, бедная, ничего и не подозревает. Я все тщательно скрываю, из стыдливости: уж больно совестно: люблю, люблю — и вдруг отвращение. К тому же это ужасно мучительно: ведь я по-прежнему ее люблю, и в то же время не могу полностью отдаться

чувству из-за копошащейся, извивающейся червивой мысли. А впрочем: может быть подсознательно она догадывалась. Должна, должна догадываться — черт побери!

Ведь бывало целую я ее — целую до истерики — ее нежное, родное, как мое сердце, личико, ворошу детские в своей правдивости волосы и вдруг остановлюсь. Остановлюсь, возьму личико в ладони и так холодно, со змеиным спокойствием и отчуждением загляну в глаза. Она от страха даже не понимает в чем дело — ведь только что поцелуи были, поцелуи до истерики. Наверное безумным считает. А я сам себе в этот момент людоедом кажусь.

Но единственное — что меня искупает: страдания. Ведь ежели я убиваю — а я таким взглядом именно убиваю: ну, представьте себе посреди ласк и прочих отчаянных нежностей такой взгляд: а он у меня тогда тяжелый, свинцовый, как у бегемота, который пьет мутную воду с мелкими рыбешками — так вот, ежели я убиваю, так и страдаю, можно даже сказать, что где-то там, за спинным мозгом, взвизгиваю от страданий.

Потому что повторяю, это ужасное мучительство: любить человека и в то же время отталкиваться от него, думать о нем всякие пакости, подозревать, что он — не такой, каким должен быть тот, которого ты любишь. Как у обезумевшего пустынника, который пьет под жарким, исступляющим зноем соленую воду... Поэтому я и решил, почему я один должен страдать?? ...Ее, ласковую, судорожно любимую, тоже надо потерзать...

И я бы добил ее, если б Горячая была всегда. Больше всего меня мучило, что в действительности, в реальной жизни никаких поводов для подпольных мыслей не было; они появлялись у меня изнутри, безотносительно реальности, просто как оппозиция чувству любви.

...Последнее время Горячая редко появлялась. Это и неудивительно: я свое истязательство и на сам половой акт перенес. Бывало сольемся мы в пухлый, любвеобильный комочек, у нее от нежности даже лицо одухотвореннней становится и замирает в экстазе, а на меня вдруг найдет, что она не «та», за кого я ее принимаю, что она — не моя, не близкая, не родная, у меня интерес пропадает, я — рраз! — и спокойненько так, в самый захватывающий момент, как ни в чем не бывало встану, брюки с ленцой одену и к окошечку подойду: покурить.

Она не движется сначала, молчит, оглашенная, потом, иной раз — как заорет...

А я даже слово ей в ответ не подарю.

Сумасшедшим меня, наверное, по наивности считала. А до сути дела не добиралась. Ей и невдомек было, что нормальный человек может быть так жесток, что и сумасшедшему не приснится.

После Горячей надолго провалы наступали. Бледное солнце пустоты всходило. Кто-то жил около меня, прятался, иногда чайник кипятил.

Тоска моя проходила, и легко, легко так мне было бродить, опустынив душу... Чаечек с сахарком попью, поскребусь, в кино схожу. Так, глядишь, и время пройдет. Только легкие, тревожные укусы пустоты чувствую.

И вот вдруг появлялась Холодная. Это сразу как-то происходило, без предварительных намеков и нюансов. Появлялась и все. Я сначала молчал. Не знал, как от пустоты к ощущениям перейти. Но Холодная была совсем другая. На меня она даже не смотрела. А глядела куда-нибудь в сторону — в зеркало, в окно. И далекая-далекая такая была от меня, как звезды от уборной... Теперь все мои переживания менялись. Весь мой прежний комплекс любви-злобы пропадал. Я тихий такой становился, как скучающая мышка. А она меня чуть по щекам не била, по крайней мере, мысленно. Влюблен я в нее тоже был, но как в мешке, затаясь, и только из мешка этого, из прорези, на нее своими просветленными глазами смотрел.

Она мужиков нагонит, но не по надобности, а просто так; я же у нее на побегушках. В магазин за закуской схожу, посуду вымою... И странно, в глаза и в лицо мои она ни разу не заглядывала; и мне тихо-тихо, болезненно так было: любил я ее не так сильно, но с затаенным мучением.

Какое-то непонятное томление.

Сожмусь в углу и смотрю, что она — хорошая, близкая, хотя бы и наполовину, как Горячая, но потому что далека от меня: — все сглажено. Хоть и больно, но сглажено.

Платочек ей поглажу, полулюбовникам редиску порежу. Хи-хи... Пальчик свой окровавлю по неуклюжести чувств... Так и проходили наши дни. Я иной раз в потолок смотрел. Это чтобы от любви не переключиться.

...А она ходит, ходит по комнате и хоть бы хны. И даже имелась

она со мной тоже точно так: не обращая внимания.

Глаз я ее почти совсем не видел: куда они у нее во время этого удовольствия девались, сам не пойму... Словно под подушку она их прятала... И спихивала меня сразу же, прямо на пол. Равнодушно так, глядя на звезды.

Тоскливо мне в конце концов становилось: я ведь не мазохист, себя люблю.

И ей тоже, наверное, страшно было не обращать внимания на человека, с которым рядом, у сердца живешь, который в твою плоть влезает... Смотрит иногда на меня, после «любви», такими остекленевшими глазами...

Потом и Холодная пропадала. Пустота наступала. Иногда во время этих перерывов, мне Сонная являлась. Во сне.

С ней-то мне особенно сладко становилось, и себя жалко. Я ее не в уме видел, а прямо в сердце. Так и плыла она по моему сердцу, как по родному, дрожащему озеру. С Сонной, пожалуй, мне лучше всего было, но, во-первых, она редко приходила. Во-вторых, во сне. А какая во сне жизнь. Так, одно скольжение. Таинственно, правда, и защищенно от всего гнусного мира. И слезы у меня появлялись. Во сне. Но туманно очень. Правда, все-таки какое-то заднее чувство было: осторожный такой, благолепный дьявол во мне за стенкой сознания стоял. И внимательный такой, не потревожит, только дыхание я его чувствовал. Своим нежным, спинным мозгом. Дескать и Сонная — это только так.

Легче всего в смысле тоски мне было с Полоумной. Не то чтобы тоски меньше приходилось — нет, — но тоска была какая-то не слишком уж ирреальная, а более здоровая, феноменально-олигофреническая. Звери, наверное, такую чувствуют, когда им нечего делать.

Полоумная была крикливая, и очень похотливая, до похабности. Являлась она ко мне оживленная, наглая, точно с мороза; прямо в упор на меня смотрит и ржет, зубы скалит. От веселья удержу нет. И все лезет ко мне как баба. И самое удивительное, чем ближе к цели, тем веселье с нее спадало, и она тяжелой, серьезной становилась, как зверь.

Пасть бывало свою раскроет, и дышит в пустоту, как рыба.

А я совсем какой-то чудной делался. Я ее даже за одухотворенность не принимал. И все мне было интересно: кто она, кто? Очень часто я ей в пасть заглядывал, прямо во время любви: влезу

глазами в разинутый рот и смотрю: на красные, оглашенные жилки, кровавую слизь, на лошадино-белые зубы. И еще мне хотелось ее остричь. Мне казалось, что тогда она больше на животное походить будет. Кто она на самом деле была: я не знаю: то ли палка, то ли зверь, а, вернее всего — особое существо, которое целиком состояло из наглядной таинственности.

Не раз стучал я ее по голове: «Отзовись! Отзовись!» Развязная она страшна была: мочилась при мне, неприличные стихи читала, за член дергала. И все — давай, давай!

Долго она такой оглашенной жизни не выдерживала; чем больше я ее брал — а она все время лезла, Полоумная — тем постепенно все серьезней становилась. А от серьезности и пылу меньше.

Лежит под конец уже бывало такая отяжелевшая, ушедшая в себя, только ногой дрыгает или мух мысленно ловит.

Когда она исчезала, пустота опять возникала. Я уже говорил, что пустота — это одна из форм жены. Долго так продолжалось... Ишь, хитрец, у других одна жена, а у меня несколько... И чередовались они, читатель, по-разному, с любомногообразием... То одна появится, то другая... Хи-хи... А пачпорт — один... И прописка — одна. Только я теперь точку хочу поставить. Хватит, у меня не сумасшедший дом.

За последнее время я их всех прогнал; одна Ира Смирновская, их пустая оболочка, осталась. Да впрочем, оболочка ли? Они и внешне друг от дружки здорово отличались.

Ну, допустим оболочка. Теперь я с этим видом жены и имею дело: Оболочка. И точку я ставлю тем, что хочу дойти до истины: кто они, кто она?

Очень я этим Ирочку мучаю. Я бывало ей ручку стисну (я, читатель, люблю все живое мять) и говорю: отвечай, почему ты мое воображение? И почему это воображение так на меня воздействует, что я и сам, от собственного воображения, меняюсь... Ишь...

Сейчас я смотрю, упоенный, на Ирину. И сквозь эту Оболочку вижу Горячую, в глубине, за ней, как за прозрачной скорлупой, Холодная... И они — разговаривают, разговаривают сами с собой... Да-да шевелятся... Шепчут. А совсем далеко, далеко, как маленькая куколка, покачивается Сонная... И сжимается сердце, мое сотканное из призраков сердце. Ира, почему ты мое

воображение? Почему ты только мое воображение?

Ее глаза мутнеют от боли. Нет, нет я докажу себе, что ты существуешь... Сейчас, сейчас... Вот я целую твои руки, глаза, лоб, вот мы опускаемся на диван... Ах! ...Теперь ведь ты существуешь... Это так сильно, так остро... Но что, что такое?.. Тебя все равно нет, нет, нет!! ...Есть только мои ощущения — гаденькие, сладкие, и мокрые — только мои ощущения; а тебя — нет!

...Тебя нет, подо мной пустота... Пропасть, бездна... Я падаю... А-а-а...

Действительно, никого нет! Я очнулся. Одна пустота вокруг. В нее входят: шкаф, стол, тумбочка, кресло и Ира Смирновская, плачущая на диване...

●

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОЛАМИ

Петя Сапожников, рабочий парень лет двадцати трех, плотный в плечах и с прохладной, лохматой головой, возвратился в Москву, демобилизовавшись из армии. Остановился он в комнате у своего одинокого дяди, который, проворовавшись, улетел в Крым отдыхать. Еще по дороге в Москву, трясясь в товарном неустойчивом вагоне, Петя пытался размышлять о будущем. Оно казалось ему неопределенным, хотя и очень боевым. Но первые свои три дня в Москве он просто просвистел, лежа на диване в дядиной комнате, обставленной серьезным барахлом. Лежал он задрав ноги вверх, к небесам, виднеющимся в окне.

Иногда выходил на улицу. Но пустое пространство пугало его. Особенно сковывала его полная свобода передвижения. И безнаказанность этого.

Поэтому он не мог проехать больше двух остановок на транспорте; всегда вскакивал и, пугаясь, выбегал в дверь. «Еще уедешь

Бог знает куда», — говорил он себе в том сне, который течет в нас, когда мы и бодрствуем. Правда, он очень много ел в столовой, пугливо оборачиваясь на жующих людей, как будто они были символы.

На четвертый день ему все это надоело. «Пойду поищу бабу», — решил он.

Мысленно приодевшись, Петя ввечеру пошел в парк. Дело было летом. Везде пели птички, кружились облака. Вдруг из кустов прямо на него вылезла девка, еще моложе его, толстая и с добродушным выражением на лице, как будто она все время ела.

— Как тебя звать?! — рявкнул на нее Петя.

— Нюрой, — еще громче ответила девка, раскрыв рот.

Петя пошарил на заднице билеты в кино, которые он еще с утра припас.

— Пойдем в кинотеатр, Нюра, — проговорил он, оглядывая ее со всех сторон.

Самое главное, он не знал точно, что ему с ней делать. Почему-то ему представилось, что он будет тащить ее до кинотеатра прямо на своей спине, как мешок с картошкой.

«Тяжелая», — с ухмылкой подумал он, оценивая ее вес.

У Нюры была простая мирная душа: она мало отличала солнышко от людей и вообще — сон от действительности.

Она совсем вышла из кустов и, спросив только: «А картина веселая?» — поплелась с Петей под ручку по ярко освещенному шоссе.

«Ну и ну», — только и говорила она через каждые пять минут.

Петю это не раздражало. Сначала он просто молчал, но затем посреди дороги, когда Нюра бросила говорить «ну и ну», он взялся рассказывать ей про армию, про ракеты, от огня которых могут высохнуть все болотца на земле.

— А куда же это мы с тобой прем? — спросила его Нюра через полчаса.

Петя на ветру вынул билеты и, посмотрев на время, сказал, что до сеанса еще два с половиной часа. Они хотели повернуть

обратно, но Нюра не любила ходить вкось. «Напрямик, напрямик», — чуть не кричала она.

Пошли напрямик. Петю почему-то обрызгало сверху, с головы до ног. Нюра от страха прижалась к нему. Она показалась ему мягкой булкой, и от этого он стал неестественно рыгать, как после еды.

В покое прошагали они еще четверть часа. Мигание огоньков окружало их. Пете хоть и было приятно, но немного тревожно, оттого что в мыслях у него не было никакого отражения, что с ней делать.

— Пошли, что ль, ко мне, — неопределенно сказал он. — Надо ж время скоротать.

— А что у тебя? — спросила Нюря.

— Музыка у меня есть, — ответил Петя. — Баха. Заграничная. Длинная.

— Ишь ты, — рассмеялась Нюрка. — Значит, не говно. Пойдем.

Дом был как обычный: грязно-серый, с размножившимися людишками и темными огоньками. Нюра чуть не провалилась на лестнице. Жильцы-соседи встретили их как ни в чем не бывало. В просторной комнатенке, отсидевшись на стуле, Петя завел Баха. Вдруг он взглянул на Нюру и ахнул. Удобно расположившись на диване, она невольно приняла нелепо-сладострастную позу, так что огромные, выпятившиеся груди даже скрывали лицо.

— Так вот в чем дело! — осветился весь, как зимнее солнышко, Петя.

Он разом подошел к ней сбоку и оглушил ее ударом кастрюли по голове. Потом, как вспарывают тупым ножом баранье брюхо, он изнасиловал ее. Все это заняло минут семь-десять, не больше. Поэтому вскоре Петя сидел на табуретке у головы Нюры и, глядя на нее спокойными мутными глазами, ел суп. Нюра долго еще притворялась спящей. Петя тихо хлопотал около нее, даже накрыл одеялом. Открыв на Божий свет глаза, Нюра разрыдалась. Она до этого была еще в девках, и ей действительно было больно. Да и крови пролилось, как из корытца. Но главное — ей стало обидно; это была мутная неопределенная обида, как обида человека,

у которого, предположим, на левой половине лба вдруг появилась ягодица.

Петя ничего этого не знал, поэтому он, кушая суп, доверчивыми умоляющими глазами смотрел на Нюру.

— Оденемся, соберем, что ль, барахло, Нюр, и прошвырнемся по улице, — сказал он ей исподлобья.

Нюра молча стала одеваться. Она вся надулась, как индюк или мыслящий пузырь, и, правда, еле передвигалась. При взгляде на нее Петю охватило волнение и предчувствие чего-то неожиданного.

Накинув пиджачок, Сапожников вместе с ней вышел во двор. По углам выкобенивались или молчали уставшие от водки мужики. Петя вдруг глянул на Нюру. Она передвигалась медленно, как истукан, глаза ее налились кровью, и все лицо надулось, как у рассерженной совы.

Петя так перетрухнул, что неожиданно для себя побег. Прямо, скорей — в открытые ворота, на улицу. «Куда ты?» — услышал он только громкий Нюрин крик...

Оставшись совсем одна, Нюра беспокойно огляделась по сторонам. Заплакала. И, громко причитая, так и пошла по Петиным следам через двор к открытым воротам.

— Ты чего ревешь, девка?! — хохотнули на нее парни, стоявшие у крыльца.

— Да вот Петруня, в синей рубахе, из того дома, изнасиловал, — протянула Нюра, подойдя поближе к парням. Кровь мелкой струйкой еще стекала по ее ногам. — И вот в кино хотели пойти, а он убег.

— Да тебе не в кино надо идти, а в милицию, — гоготнули на нее парни. — Иди в милицию, вот, рядом...

«А то и вправду пойду, — подумала Нюра, отойдя от ребят. — А куды ж теперь деваться?.. Петруня убег, в обчежитие иттить — девки засмеют. Пойду в милицию. Обмоюсь, — решила она, — кровь-то еще текёть...».

...Тем временем Петя сидел на сеансе около пустого кресла, предназначавшегося для Нюры, и ел крем-брюле. А когда в чуть угнетенном состоянии он пришел домой, его уже поджидали, чтоб арестовать. Арестовывали толстые сиволапые милиционеры; у одного из них все время текло из носа.

...Вскоре состоялся и суд. Народу собралось тьма-тьмущая. Перед началом суда, на улице, толстые и говорливые соседки обступили Нюру. У одной из них было такое лицо, что при взгляде на него оставалось впечатление, что у нее вообще нет лица. Но она усердствовала больше всех. Другая, с лицом, похожим на брюхо, кричала:

— Чево ж ты, девка, наделала! тебе ж совсем ничего, вон ты какая здоровая, платье на тебе рвется, а ему теперя десять лет сидеть!.. Десять лет каждый дён маяться!.. Подумай...

Нюра разревелась.

— Да я думала, что его только оштрафують, — говорила она сквозь рев. — И все... Да я б никогда не пошла в милицию, если б он не убег... Зло меня тогда взяло... Сидели б в кино смирехонько... А то он — убег...

— Убег! — орали в толпе. — Ишь, Нюха! Небось, не так тебя били, и то ничего.

— Били! — ревела Нюрка. — папаня в деревне поленом по голове бил, и то отлежалась...

— Дура! — говорили ей. — Парень только из армии вернулся, шальной, мучался, и теперь опять же ему терпеть десять лет... Ты скажи в суде, что не в претензии на его...

Наконец начался суд. Судья была нервная, сухонькая старушонка с прыщом на носу и орденом на груди и бешенными, измученными глазами. Рядом с ней сидели два оборванных заседателя; они почти все время спали.

Петю, вконец перепуганного, затурканного, ввели два равнодушных, как полено, милиционера. Гляда на виднеющееся в окне безмятежное небо и верхушки деревьев, точно кивающим самим себе, Петя почувствовал острое и настойчивое желание оттолкнуть этих двух тупых служивых и пойти прогуляться далеко-далеко, смотря по настроению. От страха, что его отсюда никуда не выпустят, он даже чуть не нагадил в штаны.

Суд проходил как обычно, с расспросами, объяснениями, указаниями. Петя отвечал невпопад, придурошно. Окровавленные штаны в доказательство лежали на столе.

Чувствовалось, что Нюра всячески выгораживает его и дает путаные, нелепые показания, противоречащие тому, что она по простодушию своему рассказала в милиции и на следствии.

— Бил он вас кастрюлей по голове или нет?! — уже раздра-

женно кричала на нее судья-старушонка. — Совсем, что ли, он у вас ум отбил, потерпевшая?..

— Само падало, само, — мычала в ответ Нюра.

Но, несмотря на это заступничество, Петя больше всех боялся не судью, а Нюру. Правда, она так возбуждала его, что у него и на скамье подсудимых вдруг вскочил на нее член. Но это еще больше напугало его и даже сконфузило. Глядя в тупые, какие-то антизагадочные глаза Нюры, в ее толстое, напоминающее мертвенно-холеный зад, лицо, Петя никак не мог понять, в чем дело и почему она стала для него таким препятствием в жизни. «Ишь ты», — все время говорил он сам себе, словно икая. Она напоминала ему, как бы с обратной стороны, его военачальника, сержанта Пухова, когда этот сержант в первый день Петиного приезда в армию, ничего не сказал ему, а только молча стоял перед Петей минут шесть, глядя на него тяжелым, упорным и бессмысленным взглядом.

«Дивен мир Божий», — вспомнилось Пете здесь, в казенном заведении, слова его деда.

Между тем, в середине дела Нюра вдруг встала со своей скамьи и, собравшись с духом, громко, на весь зал прокричала:

— Не обвиняю я его... Пущай освободят!..

— Пущай освободят, — недовольно передразнила ее судья. — Это почему же «пущай освободят»?! — низким голоском пропела она.

— Зажило уже у меня... Не текёть, — улыбнулась во весь рот Нюрка.

— Не текёть?! — рассвирепела судья. — А тогда текло... Чего ты от него хочешь?!

— Сирота он, — отвечала Нюрка. — В деревню его возьму. Мужиком...

— Слушайте, — вдруг прикрикнула на нее судья, — нас интересует только истина. Вы и так даете сейчас странные, ложные показания, совсем не то, что вы давали на следствии. Смотрите, мы можем привлечь вас к ответственности. Суд вам не провести. Вам, наверное, хорошо заплатил дядя Сапожникова, возвратившийся из Крыма.

— Да я его и не видела, — промычала про себя Нюрка.

Петя все время со страхом смотрел на нее.

Наконец все процедуры закончились, и суд удалился на сове-

щание. В зале было тихо, сумрачно; только шептались по углам.

Через положенный срок судьи вошли. Все поднялись с мест. Петя приветствовал суд со вставшим членом.

— Именем,.. — читала судья. — За изнасилование, сопровождавшееся побоями и зверским увечьем... Сапожникова Петра Ивановича... двадцати трех лет... приговорить к высшей мере наказания — расстрелу...

— Батюшки! — ахнули громко и истерично в толпе. — Вот оно как обернулось!

Петруню — в расход. Капут ему. Смерть.

●

ОТДЫХ

Жара плыла по южному берегу Крыма; от красивости прямо некуда было деваться: и было даже что-то грозное в этой игрушечной красоте, потому что это была не просто игрушечная красота, а красота природы, то есть чего-то независящего от воли человека. Людишки, приехавшие сюда из разных мест, хихикали до потери сознания; их больше бесила не красивость, а теплота и воздух, в которые они погружали свои разморенные непослушные тела. Они не понимали, почему на свете может быть так хорошо, и, тупо выпятив свое безмутные глаза и животы вперед, на море, толпами стекались к берегу.

Весь пляж был усыпан телами, как белыми свиньями; и дальше это месиво продолжалось в море; в нем, плоть к плоти, стояли и бултыхались людишки; некоторые приходили в воду с закуской и, погрузившись по грудь в море, часами простаивали на месте, переминаясь время от времени, тут же перекусывая; другие ретиво полоскали белье; наиболее юркие и смелые заплывали подальше, куда обыкновенные обыватели не рисковали. На пляже было несколько грязных пунктов для еды, два дощатых туалета и неу-

ютный, как ворона посаженная на палку, крикливый громкоговоритель.

Дальше, над людьми величественно-безразлично возвышались горы; а пониже — курортный городишко с белыми хатами, ларьками, венерической больницей и парком культуры и отдыха.

В одном из маленьких домишек-клетушек, целиком забитых приезжим народцем, снимала треть комнаты Наташа Глухова — странное, уже четвертый сезон скуки ради отдыхающее у моря существо. В домике этом у обезумевшей и впавшей в склероз от жадности хозяйки все комнаты-норы были уже до неприличия замусолены отдыхающими. Людишки, оказавшиеся здесь, до абсурдности все походили друг на друга; не то, чтобы они были безличны — нет, но все их изгибы и особенности были странно похожие, во всяком случае одного типа; они даже слегка шалели, глядя друг на друга. К осени почему-то потянулось и более отклоняющееся от нормы; рядом с Наташей снял, например, гнездо лысо-толстый пожилой человек; он всем говорил, что приехал на юг потому, что страсть как любит здесь испражняться. «Оттого, что, во-первых, тут ласковый воздух, — загибал палец он. — Во-вторых, я люблю, как тюлень, совсем голым, без единой маечки, во-время этого быть; а у нас в Питере этого нельзя — простудесся». Сама Наташа Глухова даже этого типа воспринимала спокойно, без истерики; она не то, что не любила жизнь, — и в себе, и в людях — а просто оказывалось, что жизнь сама по себе, а она — сама по себе. Она не жила, а просто ходила по жизни, как ходят по земле, не чувствуя ее. Формально это было двадцатитрехлетнее существо, с непропорциональным, но угловато-большим телом, и с лицом, в котором дико сочеталось что-то старушечье и лошадиное. Лучше всего на свете она выносила работу — спокойную, тихую, как переписка. Немного мучилась вечером после работы. Так и свой отдых в Крыму она воспринимала как продолжение работы — нудной, скучной, только немного похуже, так как надо было самой заполнять время.

Поэтому она, несмотря на нежное, пылающее солнце и море, подолгу растягивала свои обеды, походы за хлебом; из всех столовых и магазинов выбирала те, в которых очередь подлиннее.

«Постою я, постою, — думала она. — Постою».

Иногда, в состоянии особого транса, она у самого прилавка

бросала очередь и становилась снова, в конец.

В очереди было о чем поговорить.

Нравилось ей так же кататься из стороны в сторону на автобусах. Правда, смотреть в окна она не особенно любила, а больше смотрела в одну точку, чаще на полу, Пешком она ходила медленно, покачиваясь.

Зарплатишка у нее была маленькая, шальная, некоторые собачки больше проедят, но ей хватало; к тому же, за четыре сезона в Крыму у нее выработалась меланхолическая старушечья привычка по мелочам воровать у отдыхающих. Это немного скрашивало ей жизнь. Но в основном проделывала она это спокойно, почти не таясь; отдыхающие не думали на нее просто потому, что на нее нельзя было подумать. У одного старичка она стянула даже грязный носовой платок из-под подушки. «Во время менструации пригодится», — подумала она.

Как ни странно, но Наташа Глухова была уже женщина; наверное, потому, что это не составляет большого труда. Но одно дело — стать женщиной, другое — держать около себя мужиков; насчет этого Наташа была совсем вареная.

От нее разбегались по двум причинам. Во-первых, от скуки.

«Полежим мы, полежим, — казалось, говорил весь ее вид. — Полежим».

— Какая-то ты вся неаккуратная, — сокрушался один парень-свистун. Он почему-то боялся, что она заедет во время любви своей длинной ногой ему в затылок; заедет просто так, по неумению располагать своим телом.

Во-вторых, многие чуждались ее хохота.

Надо сказать, что Наташе все-таки немного нравилась половая жизнь; поэтому-то она не всегда просто «шагала» по половому акту, как она «шагала» по жизни, а относилась к нему с небольшим пристрастием. Выражением этого пристрастия и был чудной, подпрыгивающий, точно уходящий ввысь, в никуда, хохот, который часто разбирал ее как раз в тот момент, когда она ложилась на спину и задирала ноги.

Один мужик от испуга прямо сбег с нее, в кусты и домой, через поле.

Были, которые сами принимались хохотать. Так что половая жизнь Наташи Глуховой была никудышней. Но это не мешало ей здесь, в Крыму — почти всегда понапрасну — под вечер,

выходить на аллеи любви. Сядет и сидит на скамеечке.

«Половлю я, половлю, — думала она. — Половлю».

Ее — по какому-то затылочному чувству — обходили стороной. А она все сидела и сидела, утомленно позевывая; иногда принималась с ленцой соображать, у кого из проходящих мужчин член длиннее. Ветер ласкал ее волосы.

Этот год, наверное, был последним в жизни Глуховой на берегу моря; она просто решила на следующий раз поглядеть другие места.

И это последнее время проходило как-то нарочито запутанно; сначала, правда, бывало как всегда, весело-пусто и скучно. И она была одна. Но потом вдруг примкнулась к жирной почти сорокалетней бабе Екатерине — с двумя детьми, въехавшей в соседнюю комнату. Она была такая блудница, что тем для разговоров хватало на весь дом.

— Рожу бы ей дегтем вымазать, — от злобы и зависти гово-рили все: старухи и молодухи.

Но Наташа Глухова к ней привязалась. Как раз в это время тот самый мужик, который ездил на юг испражняться, впал совсем в какое-то жизнерадостное оцепенение и перед каждым заходом в уборную на радостях страшно напивался и, запершись, по часу орал там песни. Это внесло какой-то ненужный, суетливо-мистический оттенок в жизнь Глуховой. Но Катерина ее любила: она не замечала выкинутости Наташи, была довольна, что та ее не осуждает, не может конкурировать с ней, и водила с собой. Наташа с удововольствием прогуливалась с ней за хлебом, на базар, в магазин. Часто провожала на полюбовные случки то к одному мужику, то к другому. Провожала почти до самого места, и, отойдя немного в сторону, терпеливо и покойно, положив руки на задницу, прогуливалась взад и вперед вокруг кустов. А иногда просто ложилась где-нибудь в стороне поспать.

А Катенька, надо сказать, блудница была шумливая, с кулаком. Долго она выжить на одном месте не могла. Очень быстро она совсем разгулялась и стала пускать мужика, а то и поочередно двоих, на ночь прямо к себе в комнатушку, где спали ее детишки.

Один ее полюбовник так обнаглел, что после соития захотел отдохнуть непременно один и стал спихивать дитя с раскладушки. То подняло крик. Наташа Глухова и тут умудрилась помочь Кате,

потому что успокоила разревевшееся дите сказками и тем, что старших надо слушаться.

Но озверевшие от зависти бабы-соседи на следующий день своим гамом и угрозами выгнали Екатерину. Но странно в этот же день Наташе, которая могла бы очутиться в обычной пустоте, опять подвезло. В домишко приехала из какой-то полукомандировки хозяйская родственница, из местных, Елизавета Сидоровна.

Она оказалась именно тем нелепым существом, которое подходило Наташе. Женщина эта была уже пожилая и до одурения начитанная популярными брошюрами. Каждую брошюру она читала исступленно, с какой-то сухой истерикой и значением. Делала выписки. Мужчин у нее никогда не было, если не считать однодневного греха молодости; и то этот тип оказался сумасшедшим, сбежавшим из ближнего психприюта. Он так и поимел ее в колпаке и сумасшедшем халате. Его в тот же день отправили обратно в дурдом.

С тех пор Елизавета Сидоровна его не видела, хотя у нее и сложилась потом на всю жизнь привычка прогуливаться около сумасшедших домов. Мужиков же она почти не имела: потому что боялась жить с несходными душами.

Полоумно-веселая, но с дикой тоской в глазах, она сразу же захватила в свои объятия Глухову.

На мужчину, который любил испражняться, она тут же написала донос.

А Наташеньку часами не выпускала из своей комнатушки, бегая вокруг нее и завывая тексты из популярных брошюр. Наташеньке было все равно как скучать, лишь бы скучать.

Правда, когда кончалось чтение, Елизавета Сидоровна в своем отношении к действительности была интересней.

Огромная, жабообразная с выпученным, вдохновенным лицом, Елизавета Сидоровна носилась по курортным полям, увлекая за собой Наташеньку. Она была очень хозяйственна, и когда утром вставала, то записывала по пунктам, что ей нужно сделать. Работала она по бесчисленным общественным линиям. Все ей хотелось переделать; даже на травку и на кустики она готова была написать донос, что они растут не по-марксистски.

Наташа семенила за ней. Елизавета Сидоровна водила ее, как

добровольного помощника, по разным комсомольским столовым, «друзьям природы», «стрелкам-отличникам».

Ее работа выражалась в разговорах, устных и письменных; Наташа же Глухова все время молчала; но ни от разговоров Елизаветы Сидоровны, ни от молчания Наташи ничего не менялось.

Жара была неимоверная; море стало теплое, как парное молоко; а Наташа Глухова со своей подругой носились по учреждениям. Елизавета Сидоровна как-то не замечала, что Наташа все время молчит и что ей нравится не общественная работа, а просто времяпрепровождение. Наташа находила тут слабоумный уют; она, во время общественных разговоров Елизаветы Сидоровны, переминалась с ноги на ногу, осматривала газеты, плакаты, листы, и часто простые слюни текли у нее от ушастого внимания и от такого нудно-хорошего, длинного занятия.

Ей было даже лень ходить мочиться в уборную. Одного дядю она прямо перепугала тем, что рассмеялась посреди разговора. А однажды от индифферентного удовольствия взяла и легла на пол во время собрания... Несмотря на это Елизавета Сидоровна все больше и больше привязывалась к Наташе; привязывалась как одинокий прохожий к собаке, которая бежит и бежит за ним по длинной пустынной дороге; а даже Глухова видела, что все эти люди, хотя и казенно-серьезно относятся к словам Елизаветы Сидоровны, на самом деле над ней насмехаются и она страшно одинока. И Елизавета Сидоровна тянулась к Наташе. Тем более она находила в ней что-то общее, неповоротливое и внимательное к отсутствию... А Наташеньке все было безразлично: она так же, несмотря на проповеди Елизаветы Сидоровны, поворовывала деньги, так же стояла в очередях и каменно улыбалась своей новой подруге. Последнее время, правда, Наташу стал разбирать хохот, просто так, ни с того, ни с сего, но в точности тот самый, который возникал у нее перед соитием, когда она задирала ноги. Подойдет к прилавку, возьмет булку и рассмеется тем самым давешним, пугающим смехом. И бредет себе домой, потихоньку, улыбаясь.

Но приближались уже последние дни на юге. Глухова стала слегка отходить от Елизаветы Сидоровны; просто ей было все равно, где скучать. Напоследок ее стало тянуть в море. Она долго оцепенело плавала по нему, больше вокруг жирно-упитанных мальчиков-подростков. Иногда во время плаванья ее тянуло спать,

прямо на воде. Любила она также, плавая, слушать громкоговоритель, особенно на сельскохозяйственные темы.

А скоро наступил и конечный день.

Как раз недавно — по инициативе Елизаветы Сидоровны — на пляже поставили рядом с милицейской точкой, портрет. Многие отдыхающие полюбили, под его улыбкой, вблизи, шумно отряхиваться от воды. Другие тут же подолгу обтирались, приплясывая и поглядывая на лицо... А Наташа Глухова по привычке бросила в море пять копеек.

— Я тебя провожу, родная моя, до поезда, — сказала ей взвинченная Елизавета Сидоровна.

Наташе стало легче тащить чемоданы.

Подошли к поезду. Вдруг Наташа вспомнила, что она ни разу за жизнь на юге не смотрела на вечернее, звездное небо. Ей стало грустно и она пожевала конфетную бумажку. А Елизавета Сидоровна заплакала.

— Прощай, Наташенька, я тебя полюбила больше своей жизни, — сказала она. — Приезжай, доносы напишем.

Глухова махнула рукой. Отдых кончился.

●

ВАНЯ КИРПИЧИКОВ В ВАННЕ

Нельзя сказать, что обитатели коммунальной квартирки, что на Патриарших прудах, живут весело. Но зато частенько их смрадная, кастрюльно-паутинная конура оглашается лихо-полоумным пением и звоном гитары, раздающимися из ванной. Это моется, обычно подолгу, часа три-четыре, Ваня Кирпичиков, давний житель квартиры и большой любитель чтения. Больше за ним никаких странностей не замечали.

Предлагаем его записи.

Записи Вани Кирпичикова

Иные людишки, особенно которые не от мира сего, все время говорят мне: чево-то ты, Ваня Кирпичиков, так долго моесси в ванне. А я им, оскалясь, отвечаю: оттого что тело свое люблю. И верноить, ванна наша грязная, никудышная, клозет рядом, а тараканов и крыс, как баб на пляже, так что окромя моего тела там ничего интересного нету. Правда освещение палит, как все равно свет в операционной, но это для того, чтобы тело видней было. А в теле-то и весь смак... Я на собственное тело, как кот на полусумасшедшее масло смотрю... Вродė вкусно, но чудно больно.

Но начну впервой, по порядку.

После работы, когда я, через каждый дён, заграбастав одежонку погрязней — я, читатель, люблю из ванны вылезаючи во все грязное одеться, так противуречия больше — так вот, заграбастав одежонку, с гитарой под мышкой, шныряю я по нашему длинному коридору в ванную.

Соседи, как куры глупые, уже сразу волноваться начинают.

— Наш-то уже в церкву свою безбожную побёг, — говорит обычно старушка Настасья Васильевна.

А я, Ваня Кирпичиков, уже из ванны, запершись, иной раз крикну: «Душу, души трите, паразиты!» Потом уши пухом заткну, чтоб не смущали меня всякие собачьи вольности и крики. Разденусь и брык — в воду. Вода для меня, что слезы Божьи, ласкают, а все равно непонятные. Но каюсь опустил, опустил... Таперича я этим мало занимаюсь, больно страшно... Но раньше бывало... Прежде чем воду напустить, я бывалоча ложусь в сухую ванную, без воды, голышом, и раздвинув пасть, со смешком в единственном моем глазу любуюсь чудесам тела своего... Если и ржу, то громко на всю хвартеру... Мне стучат, а я еще громче кричу, потому что в пухе-то я совсем обособленный...

А чудес на мне видимо-невидимо... Ежели взять например волосье, так что ж я по Божьему пониманию всего навсего лес дремучий?!. Ха-ха... Меня не обманешь...

Еще люблю язык свой в зеркалах разглядывать... Иго-го... Больно большой и страшный, как сырое мясо... А какое я, Иван, имею отношение к сырому мясу. Во мне душа во внутрях — а не

сырое мясо. Часто, положив, помню, ногу на ногу, я в другое мясо свое, на бедре, долго-долго вглядываюсь.

— Ишь, мясцо, а ведь не скушаешь, — подмигиваю глазком своим.

Иногда лупу возьму и через нее в ногу всматриваюсь — извилин-то сколько, извилин, а еще профессора говорят, что они только в мозгу... Я те дам в мозгу... Я сам себе доктор. Было дело, правда, один раз я забыл, что я доктур и совсем дошел.

Взял я тогда с собой в ванную вместо гитары ржавый столовый прибор и решил самого себя съесть. Я ведь иной раз бываю религиозный. Что ж — думаю — кур жрём, а до себя не дотрагиваемся. Не ладно это, Иван Пантелеич. Почесал я член и пошел себя жрать. Дело было к вечеру, тихо везде, спокойно, даже птички щебетать перестали. Им-то что птичкам. Они себя не едят. Потому как нет у них разума.

Так вот, помню, разлегся я тогда в сухой ванне, нож о зубы свои как следоваить поточил... И нет чтобы тихо все сделать, по-интеллигентному, по-товарищески, общипать там мясцо на ляжке, приглядеться, обнюхать, облюбовать — нет, раз! как саданул что было сил в ляжку... Крови-то, крови потекло, хоть святых выноси... Я и облизнуться не успел. Изогнувшись, по-обезьянему, я все-таки припал. И радость-то велика, Ваня, собственную кровь пить! По губам у меня все текло, неповоротливый я такой, словно простуженный. Кровь-то в мое горло так и хлещет, в животе, как в берлоге, тяпло, а я думку думаю: боевой ты, Ваня Пантелеич, — думаю — Бонопарте, — и почти поэт... Я в ентой крови как бы сам из себя переливаюсь... Из ляжки — в горло... Круговорот природы, игра так сказать веществ... Ване Пантелеичу бы по этим карманам у руля Всяленной стоять, с звездами перемигиваться... Иих... Только помню ослаб я тогда. Ванна в крови и в каком-то харканьи... Встаю, еле подштанники одел — и в коридор, к народу! Вид у меня, правда, был дикой, окровавленный, тело голое, как в картине, и глаз блуждает... Но ничего, народ — добрый, подсоблять начал. А я кричу — «я уже нажрамшись, спать теперь хочу... Ишь, ангелы»...

Вот какая была история. Рана потом зажила. Но этот случай стал можно сказать экстренный. Снова я себя так неаккуратно не ел. Иной раз только кулак в рот засунешь и сусешь для воспоминания. Но больше я теперь к телу своему отношусь умственно,

с рассуждением... Пугает оно меня. Иной раз вот лягу, лягу в сухой ванне — час, другой — все в тело свое пристально, как етот инквизитор, всматриваюсь... Мозга почти не работает, только удивление так шевелится, постепенно, часами: ух — думаю — тело какое белое, с закорючками, загадочное, ух и чудеса, чортова мать, и почему нога впрямь растет, а не вкось... Ишь... С одной стороны вижу ево — тело — как предмет, как тумбочку какую чужую... с другой стороны ево чувствую изнутри... Ишь... Так гул-то во мне нарастает и нарастает, я глаза на тело свое пялю, пялю, да вдруг как заору. Выскочу из ванной, дверь настежь и бегом по коридору. Это я от тела своего убежать хочу... Бегу стремглав... А сам думаю: ха-ха, тело-то свое ты, Кирпичиков, в ванне оставил... Ха-ха... Скорей, скорей... Беги от него... Надоело ведь... Ошалел от него, проклятого.

Соседи во время этих историй на крючки запираются. А я свет погашу и в шкаф плотный такой с дверцой забьюсь: от собственного тела прячусь. Как бы еще не кинулось, не придушило меня, ненормальное... Я из шкафа тогда, граждане, по два дня не выхожу. Даже молитвами меня оттуда не выманешь.

И то правда было со мной одно происшествие, не пойму то ли во сне, то ли наяву. За мной собственное тело, голое, с топором по улице гналось. Я бегу — а оно за мной. «Караул — кричу, — куда милиция смотрит!»

Так вот, бежим мы, бежим — я с криком, а тело молча, за мной, мимо старушек сиворылых и всяких оглоушивающих вывесок. Народ на нас — ноль внимания, только одно дитя рот разинуло. Я вижу — спасу нет; юрк в подворотню и в — помойный бак. Сознание у меня совсем неприятное сделалось. Жду. Вдруг стук о крышку помойную. Обмер я. Потомыч крышка приоткрывается и вижу я — харю тела моего, на меня смотрящую... Ну я туда, сюда... Съёживаюсь... И вдруг — чмок! поцеловал тело мое в губки. И знаете разом сняло! Тела уже не было, тело стало при мне, спокойное, как у всех. Я из бака осторожненько так вылез, огляделся на Божий свет и покачал головой: «и какую же только хреновину Создатель на этом свете не выкинет... Ишь, проказник». И удавил маленького, тщедушного котенка... Ну а вообще-то я веселай... Не всегда, не всегда Ваня Пантелеич так кондов. Я ведь побаловаться люблю. Но только не в сухой ванне. Я уже говорил, что вода — как Божьи слезы. Когда я гнусность свою

— телеса — окунаю в эдакое, теплое пространство, то я совсем сам не свой делаюсь. Точно меня Душа расслюнявила. И весь я от мира — водицей этой — огороженный. Мыслишек никаких, но зато слух — на радость и на полоумие обращен. Оплескав слезками мира сего тело свое драгоценное, наглядевшись, нанежив клетку каженную, я ручищу протяну — и с табуретки гитару — хвать!

И улыбка-то на мне тогда Божья, как все равно у князя Мышкина. Прям до ушей. Но громкая. Треть тела моего с головой — вне воды, в руках мускулистых — гитара... И как зальюсь, как зальюсь бывалочи песнею... «Не брани меня, родная, что я так его люблю» или «Не могу я тебе в день рождения...»

Так что гул по всей квартире стоит. Милицию вызывали, но я от всех диаволов водицей этой завсегда огороженный.

Но хватит, хватит об этом, братцы. Я ведь идти к концу хочу.

А недавно я на все плюнул.

Посоветавшись — смеха ради — со старым корытом, висящим у нас в ванне, я насчет тела своего точку поставил. Нет у меня тела — и все. А что же я тогда мыть буду?

И решил я тогда, Ваня Кирпичиков, мыть вместо себя вешалку. Куклу на нее драную, без личика, для видимости одел — и все.

Сам на тумбочке голый сижу, в темноте, иной раз песенку заунывную завою — но вешалку полоскать полощу, водицей горячей брызну. И словно я теперь становлюсь загробней. Нет у меня тела — и все. Вместо тела — вешалка, которая там, не у мене, а в ванной. А я сам по себе, холеный такой и высокоумный. Соседи ничего не понимают, а я все отдаляюсь и отдаляюсь.

И чудно — как тело свое я таким путем от себя отдалил, грусть у меня сразу пропала. И тело мое стало спокойней: с топором за мной уже не гоняется. Знает — я ему честь отдаю, в ванне мою. В шкаф я больше не прячусь, знаю, знаю покой для меня наступает на свете. А то раньше: лишь в комнату свою зайду, то под стол загляну, то под кровать — не прячется ли где с ножом мое тело?! Все ведь от него можно ожидать, одичавшего.

Но теперь спокойней, спокойней. А когда во вне спокойно, никто тебя не тревожит, съесть не хочет — я теперь никогда не порываюсь, читатель, себя съесть; пропало все, не пустоту же есть — когда во вне спокойно, то и в душе весело-весело и все на дыбы становится.

А вчерась я с телом своим навсегда расстался: помыл вешалку

как следоваить, поцеловал словно мать родную, простился — и все разом сжег. В ванне. В сухой. Огонь так и полыхал из окон. Прямо на улицу... Пожаром.

...О, Господи, какое во мне спокойствие. Таперича Ване Пантелеичу большие дела предстоять.

●

КРЫСА

Однажды летним, хохотливым днем я вышел на улицу, раздираемый, как всегда, двумя противоположными, но обычными для меня аффектами: сексуальным бредом и желанием выпить. После долгих, мучительных колебаний я отдал предпочтение последнему и завернул в грязную, полусумасшедшую пивнушку на углу. Усевшись за столик, я огляделся. Вокруг покачивались в своем пьяном плясе круглые, красные морды людей; кто-то мотался из стороны в сторону, другие плевались, пели песни, перешептывались. Среди всех плавно проплывали, как жирные лебеди, сочные, до невозможности аппетитные, лишь слегка задумчивые, официантки. Их пухлые тела, высовывающиеся из платья белизной шеи и лица, казалось были пропитаны пивом, воровством и долгим, тягучим сладострастием.

Мне отчаянно захотелось укусить в живот одну из них. Единственное, что меня спасло, это раздавшийся рядом плеск водки, который сразу настроил меня на более возвышенный лад. Около меня стоял толстый, рваный обыватель со стаканом алкоголя. Он пил понемножечку, глоточками, но после каждой порции принимался долго и по-нездешнему хихикать с таким видом, точно он перехитрил весь мир.

— Что сильнее, водка или смерть?! — вылупил он на меня глаза.

Я икнул и задумался.

— Вы знаете, у меня цирроз печени, — брякнул он. — Каждый

стакан водки в 3-4 раза укорачивает мою жизнь... Но я пью... Потому что, пока я выпивши, смерти нет, а есть одно благоденствие... Значит водка покрепче смерти!

Вокруг раздавался глухой, обрывистый рокот. Обыватели, пугливо озираясь на стены и друг на друга, вытаскивали из засаленных карманов четвертинки и поллитровки.

От льющейся в стаканы водки стоял такой гул, словно поблизости был добрый, матерый водопад. В это время в пивнушечку нежненько, как ангелочек, вошел он. Первым делом он почему-то устремился ко мне и занял единственное свободное место (столик был на двоих). «Он» был стройненький, худенький молодой человек с нервически-изломанным, но необычайно грязным, замазюканным лицом. Его беспомощные, женственные ручки высовывались из рваных пятнистых рукавов пиджака.

— Боюсь! — громко выдавил он из себя.

Я посмотрел на него и налил в стакан водки.

— Боюсь! — еще громче крикнул он и оглянулся.

— Кто же вас напугал? — тихонько спросил я и погладил себя по ноге.

— Скажите, вы христианин? — спросил он.

— Да, христианин, а что? — удивился я.

— Наконец-то, наконец-то, — захихикал он, чуть не плача. — А то меня уже тошнит от атеистов. К тому же этих трусливых тварей я чересчур легко довожу своими идеями, так что они лезут на стены... А вы все-таки более серьезный противник.

— Так что же вас напугало? — интимно повторил я.

Он посмотрел на меня ошалевшими глазами, поманил пальцем и сказал на ухо:

— Уже давно, как я думаю только о загробной жизни... Мучаюсь: что там вечность или ничто... Видения бывают... И знаете, к чему я пришел, — он дыхнул в меня и опять оглянулся. Его лицо вдруг стало выглядеть не женственно-изломанным, а чудовищно-лохматым, насупленным, как у старца, — что одинаково кошмарна и вечность и ничто. Мы заперты в клетку.

— Почему? — завопил я.

— Что ничто кошмарно — это понятно. Но знаете ли вы, — продолжал он, — что такое вечность, настоящая, непридуманная?! От этого с ума можно сойти. А реальность, та, высшая реальность?! Пусть переходы, транс-воплощения, иные состоя-

ния — но главное, это путь в абсолютную тьму... И страдания... Страдания... Чудовищные страдания... И всегда можно погибнуть навек, выйти из игры... Зачем, зачем!!? ...Не христианство, не манихейство... Не сатанизм убогий — потому что он всего лишь протест против света, реакция, донкихотство... Но света-то нет! Нет света!! Вот в чем дело! ...Одна тьма, одна абсолютная тьма... Тьма!!!

— Да как вы смеете! — чуть не закричал я и хотел было плеснуть в него водкой.

— Тсс! — вдруг хихикнул он и опять оглянулся, но уже на потолок. — Знаете, что мне открылось: что Бога нет, а мир создан Крысой, огромной такой, трансцендентной, омерзительной и припадочной, мстительной, с половыми извращениями, галлюцинацией, бредом, тяжелым, кошмарным характером.

— Не может быть, — испугался я.

— Почему же не может быть? — усмехнулся он. — У меня откровение было... А потом разве вы сами не видите, естественным разумом, что мир — чудовищная экспериментальная мастерская для крысы, для зла... Вы смотрите в корень: для чего мир создан: для добра или зла? — он вдруг сладострастно подскочил на стуле, пролил уксус, глазенки его загорелись и весь дрожа от смешков и нетерпения, он потянул меня за галстук. — Обратите внимание, — он прямо сгорал от радости, — на одну тончайшую, убедительнейшую деталь-с. Добра и жизни в мире отпущено как раз ровно столечко, сколько необходимо для зла и смерти... Матерьялец, матерьялец ведь нужен для зла, для садизма — вот что такое жизнь! — (он так стал хихикать, что чуть не упал лицом в блюдо) — Ну подумайте сами: стопроцентная смерть и стопроцентное зло — бессмыслица, потому что тогда некому было бы умирать и некого мучить. А наоборот, пропорция добра и зла в нашем мире как раз в самую тютельку — (он опять взвизгнул) — подходит для самого наихудшего, патологического мучительства, для Крысы... Добра и жизни — как раз столечко, сколько ее крысиной душонке нужно, чтобы истязать. ...Этот мир самый оптимальный для зла и Крысы...

Он тяжело дышал, губы его дрожали, по лицу лил пот. Мне стало жутко...

— Тысячелетия, — с воем опять начал он, — люди считали, что мир создал Бог, добрый и всемогущий, и сочиняли замысловатые,

отчаянные объяснения торжества зла на земле и никому не приходило в голову, что мир создан не Богом, а Крысой, злобной и параноидной, создан для того, чтоб было ей что мучить... По ночам я смотрю на чистое, звездное небо и в хаосе галактик вижу ее огромную, патологическую проекцию... Крыса... Тонкие, безумные, как звездная пыль, омерзительные очертания... Ее тень всегда с нами: в трепете травы, в шуме ветра, в корчах гибели, в нашей душе... Вы думаете, будет конец мира? Ерунда! Тогда нечего будет истязать... Ей может быть уже самой все это противно, она блюет сгустками крысиной злобы, но не может кончить истязание — как не может кончить измученно-обезумевший развратник... Вы заметили, как легко и нелепо человеком овладевает надежда и именно в самых безнадежно-ясных ситуациях. Это Крыса впустила в человеческую душу такое глупенькое, никогда не оправдывающееся чувство, чтобы каждый человек погибал не сразу, а медленно, по кусочкам, надеясь, чтоб был материал-с, экономия... Посмотрите на этого типа — вон на эту рожу — он пришел сюда мрачный, как труп, а сейчас выпил немножечко и уже веселый. Как мало нужно человеку... Для счастья... Хе-хе... Это тоже предусмотрено... Потому что если не было бы такого ослиного переключения, все бы давно повесились... Красота, природа... Это тоже предусмотрено (он хихикнул) — И ласковый, весенний ветерок и дымные очертания гор и далекий плеск моря — все это нужно для того, чтобы сильнее привязался человек к своей обреченной жизни и тогда больше будет простора для садистической фантазии Крысы...

Я был оглушен.Откуда-то из неведомого измерения смотрела на меня тупая и бессмысленная морда Крысы.

Он ухмылялся и парил в небесах:

— Даже величайшие мудрецы мучились, как примирить идею всемогущего и мудрого Бога с идеей о его благости... Сами знаете, сколько рахитичных, хиленьких объяснений появились на свет — их даже гипотезами стыдно называть... И никто не взял на себя крест соединить в единое идею Творца и зло.

Он горделиво посмотрел на меня.

— Мое открытие предельно просто. Как все великое, оно даже слегка слабоумно... Я могу объяснить, почему в мире есть добро, а вы не можете, почему есть зло.

Я, наконец, собрался с мыслями, перевел дух и сказал:

— Допускаю, что все теодиции весьма слабы... Но вот одна. То, что зло нужно для испытания, для того чтобы существовало Добро как его противоположность. Эта теория обратна вашей. Зло нужно, чтобы оттенить добро. Докажите мне, что наоборот.

Он подленько рассмеялся:

— Однако вы не глупы. Но ерунда это все. И вот почему, — он глотнул маленькую одинокую картошечку с моей тарелки и опять схватил меня за галстук. — Слушайте. Для чего же тогда вашему всемогущему и доброму Богу понадобилось так кошмарно, патологически много зла, чтобы оттенять добро. На днях, например, у нас в доме крысы — не мировая Крыса, а обыкновенные, имманентные крысы — сожрали живьем трехлетнего мальчика. Для какого оттенения добра понадобился этот фокус? Особенно, если, подобно вашему Творцу, иметь в виду добро как цель, как постоянную реальность. Кроме того, добро вполне можно было бы оттенять просто меньшим благом. Потому что, скажем, если у вас имеется дом, а вы хотите быть нравственно совершенным, то меньшее благо может оттенять большее. ...В то время как зло — отрицание чего-то, значит должно быть что-то положительное, материал-с для терзаний, а не просто какое-нибудь меньшее отрицание... Итак, соотношение добра и зла в мире такого, что если его создал Бог, то он либо не добр, либо бессилен, то есть в любом случае уже не Бог. А если мир создала Крыса, тогда все станет на свое место, потому что введение в мир еще большего зла, чем оно есть, разрушило бы жизнь, материалец. А сейчас — все в меру. Крыса-то и всемогуща, и зла-с, оказывается. Полное совмещение атрибутов, — (он хихикнул) — Тот свет тоже, конечно, в веденьи Крысы; ведь то, что там благо, воздание за нелепые земные страдания, это может пожелание одно, писк; а если и есть — то просто золотой сон, грезы погибшего, приличие потусторонних похорон. А сущность: тьма, вечная тьма.

Мне стало совсем жутко. Я уже не видел ни слившихся для меня в один кошмарный туман жующих рож, ни извивающихся задниц жирных официанток. Он замолчал, улыбнулся, и вдруг начал тихонечко так, нежно гладить мои ручки.

— Хороший, — сказал он, посмотрев на меня.

— Обратите внимание, — умилился он опять, — в какие психопатические, жуткие, выверченные антимонии впал человеческий

разум. ...И не то еще будет... Это вам не девятнадцатый век, не Достоевский, не слезинки замученного ребенка! К тому же вспомните массовое убийство человеческих душ!.. Самого сокровенного...

— А духовный прогресс!? — вдруг, вспомнив, взвизгнул я, опрокинув графин с водой. — А духовный прогресс?! Искусство, субъективная жизнь?!

Он даже подскочил от радости. Захихикав, потирая руки, он сломя голову побежал в уборную. Через две минуты вернулся оттуда, оправленный.

— Уморили вы меня, — извинился он. — Да знаете ли вы, что такое духовный прогресс, искусство, субъективная жизнь? Видели ли вы когда-нибудь глаза раздавленной, но еще живой собаки, которую переехала на улице машина? Загляните, обязательно загляните как-нибудь в такие глаза, наклонитесь так покойненько и всей душонкой своей живите ее последним, человеческим взглядом... Не бойтесь, она вас не укусит... Только пить не давайте... Вольные, фантастические видения раздавленной собаки — вот что такое духовный прогресс, искусство, субъективная жизнь... Простая, неадекватная, истерическая реакция человека на невыносимые, навсегда непонятные для него страдания — вот что такое жизнь духа. Жалкая, обреченная слезинка на глазах раздавленной собаки — вот что это такое. Заметьте как символически сплелись в один клубок между собой... великие духовные откровения и самое мелкое, пакостное страданьеце. А вне страданий нет и так называемой духовной жизни — одна животность и одичание...

— А наслаждения? — вдруг тупо спросил я и от конфуза даже покраснел.

Он пропустил мою шутку мимо ушей, но все-таки рассказал один случай.

— Мой отец во время войны был в армии, — улыбнулся он. — Папа оказался утром около небольшого лесочка, где кто-то кого-то — не помню точно его рассказ — вешал. Повешенных было уже много — они, как гигантские, доисторические листья трепались на шумящих деревьях. Отец подошел посмотреть, как вешают последнего. Его мгновенно вздернули, и вдруг на мертвом, с потускневшими глазами теле гаденько шевельнулся обыкновенный член — и мелкие, жалкие, маразматические капли

спермы слезливо и обреченно упали из него на выжженную сухую землю.

Мой собеседник встал.

— Эх вы, верующие, — тьфу! — и он плюнул в мой стакан с водкой.

Я тоже вскочил. Но мне вдруг захотелось подать ему пальто.

— Могу надеть на вас галоши, — нелепо произнес я.

Он горделиво посмотрел на меня и пошел к выходу. Я семенил за ним.

— А все-таки чему вы так радуетесь? — сумасшедше отсутствующим голосом проговорил я. — Ведь и вас это касается.

— Знаю, знаю, — высокомерно провизжал он. — Но зато я первый все это открыл. Мне еще люди памятник поставят. Хоть и Крыса, а все-таки божество.

А ночью, очутившись в каком-то не то потустороннем, не то шизофренном состоянии, попал я в будущее. Лет на сто вперед, в самую столицу всего человечества.

Над всем городом, на распростертой площади, возвышался гигантский, уходящий в облака обелиск. Людей почти не было.

Обелиск сочетался с каменной фигурой человека. Я сразу же узнал его. Золотая надпись на памятнике гласила: «Он открыл Крысу. Прозревшее и благодарное человечество не забудет его».

●

ПРИКОВАННОСТЬ

(Рассказ тихого человека)

Почему все это произошло именно со мной, мне попытался объяснить один шуплый, облеванный чем-то несусветным старичок, отозвавший меня для этого за угол общественного туалета, во тьму.

Он прошептал, что мой ангел-хранитель сейчас не в себе и ушел странствовать в другие, нелепые миры. От этого-то я и не могу никуда двинуться.

А началось все с того, что мне рассказали одну сугубо телесную историю.

Жила на свете некая Минна Адольфовна, серьезная врачиха и весьма полная баба. Жила она одна, но без мужа не была, потому что денег получала уйму. Любила жить в чистоте, широко и от внешнего бытия брать одни сливки. Было ли у нее что-нибудь внутреннее? Кто знает. Но один ее любовник говорил, что она могла неслышно икать, вовнутрь себя, распространяя смысл этого икания до самого конца своего самобытия. Иногда похлопывала себя по заднице и читала немецкие книжки.

Так вот, недавно ее разбил паралич; причем почти намертво, так что она лишилась дара речи, всех серьезных телодвижений, какой-то части сознания и лежала на кровати, безмолвная. Говорили, что она так может пролежать лет пятнадцать. Пенсию она стала получать большую, и так как была совсем одинока, то назначили к ней от ее учреждения нянечек, которые тихо и покойно подбирали за ней дерьмо, меняли обмоченные простыни, кормили чем Бог пошлет.

Через месяца два ее в прошлом богатенькая комната стала почти пустой, так как нянечки и медсестры все обобрали, а Минна Адольфовна могла только молча за этим наблюдать...

Я выслушал эту историю где-то в пригороде, на окраине, в грязном замордованном сквере, поздно вечером...

Отряхнувшись, я пошел к далекому, невзрачному столбу, и в небе передо мной встал образ Минны Адольфовны, обреченной одиноко лежать среди людей пятнадцать лет. «Ку-ка-реку!» — громко закричал попавшийся мне под ноги петух.

И вдруг вся тоска и неопределенность жизни перешли в моем сознании в какое-то неподвижное и неприемлющее остальной ужас решение. Я уже твердо знал, что пойду к Минне Адольфовне и буду ходить к ней каждый день, из года в год, тупо проводя около нее почти всю свою жизнь.

Вскоре я уже нелепо стучался в ее дверь; соседка впустила меня, и я увидел почти голую комнату — сестры милосердия вывезли даже мебель, — в которой были, правда, одна кровать с Минной Адольфовной, тумбочка, гитара и ночной горшок. Минна Адольфовна могла делать только под себя, в судно, и ночной горшок стоял вечно-пустой, как некое напоминание.

Я остался вдвоем с Минной Адольфовной, но стоял около двери,

у стены. Она сонно и животно смотрела на меня остекленевшими глазами. Я не знал, что делать, и внезапно запер дверь. Подошел к ней поближе и вдруг похлопал ее по жирному, огромному животу. Она не испугалась, только челюсть ее чуть отвисла, видимо, от удовольствия.

— Ну что ж, Минна Адольфовна, начнем новую жизнь, — закричал я, бегая по комнате и потирая руки. — Начнем новую жизнь!

Но как нужно было ее начинать?!

Я сел в угол и начал с того, что просидел там три часа, неподвижно глядя на тело Минны Адольфовны.

А за окном между тем медленно опускалось солнце. Его лучи скользили иногда по животу Минны Адольфовны. А серая тьма наступала откуда-то сверху. Вдруг Минна Адольфовна с трудом чуть повернула голову и уставилась на меня тяжелым, парализованным взглядом.

Я почувствовал в ее глазах, помимо этой тяжести, еще и смутное беспокойство и попытку объяснить себе мое присутствие. Она знала, что у нее больше нечего красть, и боялась, по-видимому, что теперь ее будут есть. (Говорили, что одна юркая старушка, кормя ее, пол-ложки отправляла себе в рот.)

Наконец, в ее глазах не осталось ничего, кроме холодного любопытства. Потом и оно уснуло. Она уже смотрела на меня мутно, нечеловечески, и я отвечал ей таким же взглядом. В конце концов, встал, зажег свет.

Она издала слабое «ик», больше животом.

И вдруг она подмигнула мне большим, расплывающимся глазом. Мне показалось, что она захлопнула меня в свое существование.

Вскоре я бросил работу, жену, карьеру, потом порвал все душевные связи...

И с тех пор уже десять лет каждый день я прихожу в эту комнату, расставаясь с ней только на ночь. Минна Адольфовна подмигивает теперь только безобразной черной мухе, ползающей у нее по потолку.

Но я не обижаюсь на нее за это. Мы по-прежнем смотрим друг в друга. Я навсегда прикован к ее существованию. Иногда она кажется мне огромным черным ящиком, втягивающим меня в свою неподвижность.

Откуда эта странная прикованность?

Я понял только, что она спасает меня от этого мира: я потерял к нему всякий интерес, раз и навсегда, как будто черный ящик может заменить самодвижение. Но она спасает меня и от потустороннего мира, потому что и в нем есть движение. Я ушел от всех миров в эту прикованность, точно душа моя прицепилась к этому застывшему жирному телу.

Почему же иногда Минна Адольфовна плачет, в полутьме, невидимо, внутрь себя, словно в огромный, черный ящик на миг вселяются маленькие, светлые ангелы и мечутся там из стороны в сторону?

Неподвижность, одна неподвижность преследует нас.

Иногда, в моменты тоски, мне кажется, что Минна Адольфовна — это просто тень, тень от трупа моей возлюбленной.

Но постепенно у меня становится все меньше и меньше мыслей. Они исчезают. Одна неподвижность сковывает мое сознание, и все существование концентрируется в одну точку.

И, возможно, меня точно так же разобьет паралич и полностью обезмолвит, на десятителия, на всю жизнь. И я уже знаю, что какой-то влажный от ужаса, взъерошенный молодой человек с сонными глазами наблюдает за мной.

Он ждет, когда меня разобьет паралич, чтобы точно так же присутствовать в моей комнате, как я присутствую в комнате Минны Адольфовны.

●

ПАЛЬБА

Что делал Федор Кузьмич всю свою жизнь?

Ответ: гонялся за крысами. Он и сам не знал, почему был к этому предназначен. Детства своего он не помнил, предыдущего воплощения тоже.

Он даже не считал, что ходит на работу, спит и обедает в темной столовой. Хотя на самом деле он выполнял все это, благодаря чему, повидимому, и существовал.

Был ли он практичен?

Едва ли. Но для «главного», то есть для ловли крыс, он проявлял необходимую четкость и здравость ума. Достаточно сказать, что он обменял свою солнечную отдельную квартиру на грязную, в провалах, комнату, где, по слухам, водились крысы. Комнатенка была где-то в углу старого дома, с особым входом, и пугающе изолированная от других комнат бесконечными лестницами, закутками, стенами и какой-то вечной темнотой.

Федор Кузьмич был тогда еще молодой человек лет двадцати, с взъерошенной челюстью и почти невидимыми глазками. От своих родителей — почтенных граждан — он наотрез отказался.

Одна уверенная, но погруженная в себя девушка сделала ему предложение. Федор почему-то отослал ее к трубе, торчащей далеко в поле, на месте само собой разваливающегося завода. Больше ему никто не делал предложений. И жизнь его потекла удивительно однообразно, хотя и очень замкнуто. Заработок свой он не пропивал, но, питаясь чуть ли не помоями, откладывал его в копилку, которую клал в собачью конуру... Единственной серьезной покупкой Федора было охотничье ружье.

«Главное» происходило таким образом. Федор просыпался ночью на своей полукровати от какой-то внутренней молитвы. Зажигал лампадку, хотя икон нигде не было. Весь пол уже как живой: усеян не то крысами, не то мышами, для которых Федор разбрасывал на ночь еду.

Тогда Федор в нижнем белье, мысленно прижавшись к трепетному пламени, вовсю палил из ружья по крысам. Гром сотрясал комнату. Поэтому обычно стекла в ней были выбиты.

Так прошло десять лет.

Федор стал замечать, что несмотря на дикое обилие крыс в этой местности, их уже меньше собиралось у него по ночам. Хотя за все десять лет он не убил ни одной крысы. Но, возможно, такая безудержная пальба травмировала их.

Тогда Федор решился ловить крыс голыми руками. Ему никогда не приходило в голову, что укусят, и его действительно не кусали — настолько внебиологичны были его отношения с крысами.

Проснувшись среди ночи — теперь уже не от внутренней

молитвы, а от красивого, образного, почти детского сна — Федор торопливо зажигал неизменную, но ставшую холодней и мертвенней, лампадку. Странное отсутствие икон возле нее — эта пустота голой стены — указывало на преображение ее сущности.

Полуголый, сделав несколько безумных, почти клинических прыжков вверх и вбок, Федор кидался в самую гущу этих тварей. Теперь они совсем не боялись его, безоружного, ускользая из-под самых фединых рук. А он на четвереньках прыгал за ними из стороны в сторону.

Может быть, крысы чувствовали, что все это неспроста и здесь вовсе не охота за ними? Но что же это тогда было? Впрочем, за первые пять лет ему удалось поймать за хвост четырех крыс. Но что он с ними сделал потом, Федор не помнил.

Надо сказать — никто из людей не знал, что Федор гоняется за крысами. Его давнюю стрельбу из ружья принимали за оборонную тренировку. А последние годы он вообще приумолк, обходясь своими квази-прыжками.

Так прошло еще десять лет.

Внутри этой его замкнутой структуры, дающей ему способ устойчивого существования, произошли светлые изменения на одном и том же месте. Теперь Федор уже гонялся не только за крысами, но и за крысиными призраками. Попросту говоря, он стал преследовать «их» днем, прыгая за ними в разные стороны, хотя «на самом деле» крысы в это время отсутствовали. Это преследование ирреальных крыс как-то сразу облегчило ему жизнь. Она сделалась просветленней, поэтичней, так как исчезла эта тяжелая, угрюмая, ежедневная необходимость просыпаться среди ночи. Последнее было единственным, почему Федор принимал свое занятие также за тяжкую, серьезную работу.

Теперь Федор стал легок, более поворотлив и мог часами, никуда не выходя, прыгать в своей комнатенке за крысиными призраками!

Воздушность, воздушность овладела им!

Так прошло еще десять лет!

Мир в представлении Федора был структурален, замкнут и вполне адекватен его сознанию. Лучшего нельзя было и желать. Федор был счастлив, особенно, если счастьем можно назвать отсутствие горя. И никто не знал, в чем причина его устойчивости.

Однажды он шел по перелеску, возвращаясь — по видимости — из поселка в соседний городок.

Внезапно из-за деревьев вышла огромная фигура. Формально это был человек, только весь обросший. Когда он подошел поближе, Федор увидел его лицо. Оно было рыжеватое, щетинистое; глазки — как стальные и точно навек пригвожденные к лицу.

И Федора обдало мертвым, разрушающим его душу холодом. Впервые за всю жизнь смертельный страх объял его. Потому что самое страшное, что увидел Федор в неживом, сонном лице нового существа было: этот человек вне его — Федора представления о мире, вне всего, что он может создать.

Возможно, это был нечеловек — Федор никогда раньше не видел таких лиц; или, во всяком случае, человек из другого мира.

— Не будешь больше гоняться за крысами, — вдруг оскалясь, сказал он в лицо Федору и с силой ударил его ножом в грудь...

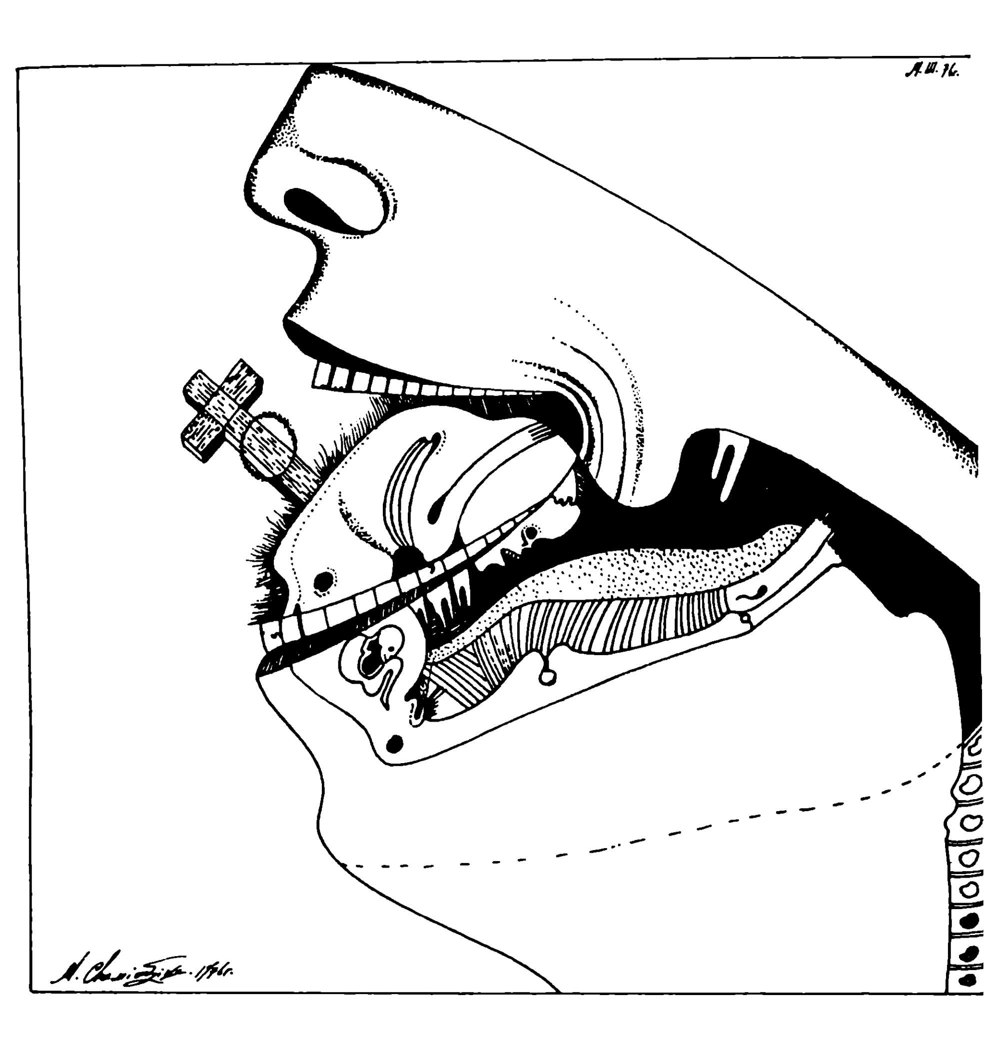
«Откуда он знает?!.», — последнее, что успел подумать Федор. И это убило его больше, чем удар ножа.

●

ХОЗЯИН СВОЕГО ГОРЛА

Этот человек жил в затемненной, сумасшедшей комнатушке, разделенной висячими, полурваными одеялами на четыре равные части.

В каждой части жила своя, отъевшаяся салом и заглядывающая в пустоту, семья. Только в одной, задней части, куда солнце проглядывало только через рваное одеяло — жил он, Комаров Петр Семенович, хозяин своего горла. Формально это место называлось общежитием, а на самом деле было скоплением мертвых, без всякого потустороннего выхода, точно застывших душ. Но Комаров не входил в их число. Раньше он любил на гита-



ре играть, малых деток ведром с помоями пугать. Но сейчас — все это позади. Свое новое, импульсивное существование Комаров начал с того, что неожиданно, столбом, упал на колени и так долго, долго простоял в своей конуре за колыхающимся одеялом.

Уже тогда эти тени мелькали у него на стене. Но сумеречно, вернее, это были тени теней. Главное — находилось в нутре.

С этого момента Петр Семенович почувствовал, что он становится хозяином своего горла. Точнее, он теперь понял, что его сознание предназначено и появилось на свет для того — и только для того — чтобы ощущать это горло и жить его внутренней, в некотором смысле необозримой жизнью.

Поднявшись наконец, Петр Семенович засуетился и, подхватив сумку, поскакал на работу, в учреждение, где учитывались свиньи и прочий скот.

И сразу же он почувствовал неудовольствие, чего раньше с ним никогда не случалось. Именно: ему стало неприятно, что он настраивает свой интеллект на все эти учеты и прочие размышления, в то время как он — интеллект — теперь должен быть предназначен только для горла.

Просидев часика два, Комаров не выдержал и, схватив со стола часы, убежал.

Пришел домой в несколько взбудораженном состоянии. За одеялом раздавался угрюмый вой; кто-то большой и голый ползал по полу, заглядывая в соседние, отделенные одеялом «комнаты».

Закутавшись в другое, спальное одеяло, Комаров лег под кровать, что он делал всегда, когда хотел создать видимость своего отсутствия. Конечно, не только для людей.

Взял в руки Библию и стал читать. Но опять поймал себя на огромном, неизвестно откуда взявшемся сопротивлении. Его вдруг снова стало раздражать, что приходиться использовать сознание для ненужного, несвойственного ему дела. Точно он испытывает свой дух не по назначению.

В конце концов, Комаров скрутился калачиком и задремал, погрузив свое «я» в горло. Чудесные картины открывались ему! Порой ему казалось, что его горло распухает, приобретая дикие размеры, уходящие в загробные миры. И он сквозь красные прожилки своей гортани видел немыслимые, беспорядочные реалии: Божество, бегущее с ведром за курицей, некие линии, и мышонка, запутавшегося в сплетениях Гегелевского духа.

Но внешнее мало интересовало его: иногда этот, виденный им, загробный мир казался ему просто загробным сном, более соответствующим, правда, своей действительности, чем обычно земной сон — своей.

В целом он весь жил этим горлом. Нырял своим «я» в его кровь, и его сознание как бы плыло по крови, как человек в лодке по реке. Шептался с шевелениями своих жилок; заглядывался на их бесконечную красоту.

— Что кашлять изволите, Петр Семенович, — вернул его к так называемой реальности человеческий голос.

Толстый, голый мужчина в тапочках — сосед — сидел у него на кровати и играл сам с собой в карты.

Петр Семенович показал с пола свое бледное, изможденное течениями лицо.

— Тсс! Никому не говорите что я у вас, — приложив лапу к губам, проговорил сосед. — Меня ищут. Но ребенок запутался в одеялах.

Комаров смрадно выругался, чего раньше с ним никогда не бывало, и неожиданно ущипнул толстяка в задницу. Тот, перепуганный, что-то прошипел и на четвереньках пополз в соседнеодеяльную комнату.

Вообще, действительность рушилась.

Комаров теперь ясно видел, что мир не имеет никакого отношения к его сознанию, особенно как некая цель. Цель состояла в горле.

Идя по этому пути, Комаров бросил свою карьеру в учреждении по учету свиней. Он вообще перестал работать. Неизбежную же пищу он добывал на огромных, величиной, наверное, с Германию, помойках, раскинувшихся за чертой города.

Существовать так не представляло труда, но Петра Семеновича все время смущала малейшая направленность его сознания на «пустяки» или «бесполезность», то есть, иными словами, на мир.

Рано утречком — еще соседи колыхали своим храпом одеяла — Комаров бодренько, обглодав косточку, выскакивал на улицу и замирал в изумлении. Божие солнышко, травка, небо — казались ему противоестественными и ненужными.

«Надо жить только в горле», — думал Комаров.

Даже от его былого увлечения молоденькими женщинами не осталось и следа.

Он пытался также сократить прогулки до помоек, набирая свою относительную пищу на целые дни. Впрочем, и во время этих встреч с творением, он наловчился так погружать свое «я» в горло, что фактически вместо мира ощущал темное пятно. Он брел, как слепой.

И все-таки все реже и реже он выходил на улицу.

Только высокие, пестрые, уходящие в потолок одеяла окружали его. Иногда он видел на них смещения цвета.

Рев, доносившийся из соседних «комнат», уже не донимал его. А голый мужчина больше никогда не заглядывал к нему.

Скрючившись, Комаров жил в горле.

Он уже явственно ощущал в своей глотке пустоту, потому что его сознание ушло в сторону. Иногда, закрывши глазки, он издавал какие-то беспрерывные урчания, звуковые липучки, просто нездешние звуки.

Но, в основном, была тишина.

Комаров видел перед собой внутреннее существование своего горла, — эту радостную непрерывную настойчивость! Его «я» барахталось в горле и было как бы смрадным осознанием каждого его движения, глотка. Внутренними очами он видел весь безбрежный океан этих точек, кровеносных сосудов, мигающих неподвижностей. Плавал по их длинному, уходящему ввысь бытию. И его потрясало это настойчивое, уничтожившее весь мир существование.

Редко, протянув руку за кружкой, он отпивал глоток холодной воды, чтобы смешать ее с этим новым откровением. Тени теней на стене становились все более грязными и видимыми. Они сплетались, расходились и уходили в другой мир.

Иногда нависали над комнатой.

Его больше всего удивляло, что же сделалось с сознанием?

Оно превратилось в узкую точку, больную своим непосредственным великим существованием. Это противоречие смешило и раздражало его.

Но наконец он смирился с ним.

Он видел даже цвет своего сознания, погруженного в горло. Оторванное от своего прежнего существования, оно жило новым миром.

И вдруг — все это неожиданно разрешилось. (За его комнатой, кажется, колыхались ватные одеяла). Сначала он умер. А потом,

а потом — вот он был выход, который он так ждал, который он так предчувствовал!

Его душа, оторвавшись от жалкой, земной оболочки, ушла. Но так, что обрела невиданную, страшную устойчивость, почти бессмертие — потому что в ней, в душе, не было ничего, кроме отражений жизни Комарова в горле.

А тело Комарова выбросили на помойку; кто-то заглянул ему в рот и увидел там, в глубине, изъеденные, черные впадины.

●

ДНЕВНИК СОБАКИ-ФИЛОСОФА

Этот мутный дневник, запечатленный в иных сферах, чем бумага, был найден в одном из закоулков того света, куда его странным образом занесло.

Вот его содержание.

1. Всем собакам известно, что я самая глубокая собака. Глубже меня никого нет на свете. Вчера, как видно из нашей собачьей информации, маленький английский песик вундеркинд околел от зависти, что я — такой гениальный. А старый пес Врун, известный художник, рисующий хвостиком, от зависти укусил меня в ушко. Около десятка моих поклонников истерзали его до полоумия. То-то! Пойду греться в конуру.

2. Говорят, что все собаки соскучились по философии. Я дам им великое учение и они успокоятся.

3. Всем собакам известно, что мир создан Собакой № 1.

То, что мы видим вверху — это ее челюсть, с миллиардами светящихся, мигающих, недосягаемых для нас клыков.

То, по чему мы ходим — это часть ее языка, вернее, как уверяют эзотерические учения, пупырышек на ее языке. Сама же ее плоть — и это понятно — навеки скрыта от нас. Мы никогда также не увидим самое главное — глаза Собаки № 1.

Если и увидим, то только, когда сдохнем.

4. Маленькая облезлая собачонка, избитая, без одной лапы, вчера приползла к моей конуре, и, надрывая мое сердце, стонала. Я облизал несчастную. Несчастная спросила меня, почему на свете так плохо, если мир создан Собакой № 1.

Я хотел сказать, что это превосходит собачье разумение, но, подумав, ответил, что все собачки все равно скоро воскреснут и будут вечно жить в блаженстве. Для этого надо только раза два в месяц поскулить на Большой Клык Собаки № 1.

5. Вспомнил я, что по поводу вечного блаженства говорила мне одна дворняжка-софистка. Негодяйка уверяла, что, если все собачки будут вечно-блаженные, от лаю некуда будет деваться и все сферы лопнут от шума.

Вчера молился Собаке № 1, чтобы в раю было побольше мяса и места.

6. Очень тяжелый день. С утра меня облили кипятком. Еле приполз на помойку и там весь день облизывал дрожащую кожу. Ввечеру собрался совет мудрецов: один бульдог без глаза и четыре головастые овчарки. Речь шла о вселенной. Главный вопрос был проблема зла. Говорили тихо, еле тявкая, чтобы нас не слышали непосвященные собаки и не взбунтовались против самих себя.

Всем известно, что мир, как явление, делится на съестное и несъестное. То, что существует съестное, вполне понятно и разумно. Разумность этого лишний раз доказывает, что мир создан собакой. Но почему существует несъестное?

Мы различаем несъестное пассивное и несъестное активное, злое.

Главный представитель активного несъестного — двуногий предмет, который несет нам и пользу и гибель. Предмет, надо сказать, самый старинный на свете. Я всю жизнь думал, почему Собака № 1 допустила его существование?

Однако ж самое злое несъестное — пожар — бывает все-таки относительно редко.

К чему бы это?

7. На совете мы все же не смогли придти к единому заключению о причинах зла.

Под конец мы так разнервничались, что стали щериться. Одноглазый бульдог первый не выдержал и вцепился в горло овчарке, которая отстаивала противоположную точку зрения о происхож-

дении зла. Он наверняка удушил бы ее, если бы не я, который стал скулить в ушко бульдогу о тайном милосердии, после чего он отпустил овчарку. Вообще дело все-таки кончилось потасовкой. Я ушел с разодранной задней лапой. Но на своей точке зрения буду стоять до конца, до смерти.

8. Мы говорим всем собакам: вы должны верить, что мир создан Собакой № 1 и что конечная цель его сотворения вполне разумна: то есть изобилие съестного. Именно потому что его цель: изобилие съестного, мир и создан собакой. Иначе был бы абсурд. Предположим, что цель мира — противоположное, то есть создание несъестного, то тогда мир был бы абсурден, бессмысленен, и противоречил бы благу и счастью. Он был бы нетерпим с нравственной точки зрения.

Резюме: мир создан для съестного, то есть для всеобщего блага. Значит, мир разумен. Значит, он создан Собакой № 1. Значит, когда мы сдохнем, то на том свете будем есть целую вечность.

Вот логика, которая неотразима! А сколько крови пролилось за эти идеи!

9. Все это, конечно, хорошо, но налицо симптомы брожения. Многие собаки отказываются нам верить. Они не верят, что мир создан Собакой № 1. Особенно распространились эти идеи в одной области, где неизвестно почему двуногие предметы стали пожирать всех попадающихся собак. Даже те двуногие предметы, которые долгие годы держали около себя собак и любили их, вдруг пожрали своих же псов. Это, действительно, какой-то ужас! Весь день молился Собаке № 1.

А вечером из этой области приволоклась собачка с помутневшими глазами и без уха и такое рассказывала, что мы две ночи не спали. Между прочим мы решили, что причина того, что двуногие предметы стали пожирать собак, абсолютно непознаваема. Это навеяло еще больший ужас.

10. Одноглазый бульдог по-прежнему верит в Собаку № 1.

Я твердо верю в то, что если эта вера будет потеряна, все собаки сойдут с ума.

Уже сейчас известны случаи массовых самоубийств. Помойки завалены собачьими трупами. Пар и смрад идет от них, высоко-высоко, к мигающим клыкам Собаки № 1.

На моих глазах плюгавенькая, с ноготок, домашняя собачонка так разволновалась от потери веры, что попросила огромного,

неуклюжего волкодава перегрызть ей горло. Волкодав по глупому усердию проглотил ее всю.

В тайных кружках и сектах распространяется учение, что мир абсурден.

11. Лично я для народа всегда буду говорить, что мир создан Собакой № 1.

Но в душе...

Да, многие сейчас ищут ответ путем только одного разума.

Конечно, некоторые собаки находят забвение в деятельности, например, в бегах. Бега устраиваются, где попало. Бегут все, от мала до велика. Даже дамы. Быстробегающие собаки сейчас в почете. Как философы и поэты. Некоторые, правда, уверяют, что спасет активная собачья деятельность по преобразованию мира на наш собачий лад. Надо разгрызть все несъестное и завалить мир продуктами питания. И вообще везде настроить конуры. Вот уж воистину ублюдки.

Но хватит.

Я в тайне, без паники, все больше и больше стараюсь исследовать суть нашей собачьей души и тем самым понять мир.

Да здравствует разум!

12. Очень много теорий разума гуляет сейчас по свету среди собак. Я люблю эти теории. Я сам тайный создатель одной из них... Довольно распространена, например, теория, по которой в мире действуют две субстанции: съестное и несъестное, и высшая сила — это вовсе не Собака № 1, а нечто, частным проявлением которого и является съестное и несъестное. А мы собаки, высшие земные существа, являем собой сгусток съестного по отношению к самим себе.

Некоторые теории говорят, что мир просто туманное отражение нашего лая, то есть наших чувств.

Иные рассматривают мир, как самодвижение съестного до кала, и от кала обратно, взад и вперед. Кал они рассматривают одновременно как начало и как конец мира, которые между собой сходятся.

Надо однако заметить, что сейчас с приближением всеобщего мира очень распространены этические учения.

Например, один фокстерьер уверял, что нам нужно замкнуться в себе, почти ничего не жрать, а главное не лаять, особенно на кошек. Благодаря этому мы станем ближе к высшей силе.

Один пудель основал учение о сверхсобаке. Правда, многие псы его не поняли. Один кобель, к примеру, развил это учение, главным образом, количественно; он решил объесться, чтобы раздуться в целую корову, и околел от переедания.

Среди неких шавок появилось учение о том, что на свете вообще ничего не существует, в том числе и собак.

13. Вчера был у этих неких шавок. Прослушал их учение. По дороге отодрал маленькую, глупую сучку, которая бежала из области, где пожирают собак.

14. Часто, виляя хвостом, смотрю я на двуногие предметы. Собака № 1, откуда они взялись!?

Но хорошо, что они не могут влезть нам в душу — там, в своей душе, мы свободны. Мы не знаем, кто они, они не знают, кто мы...

15. Сегодня весь день было холодно. Глодал на помойке крысиные кости. В подворотне встретил свою старую суку — Лайку. От тоски разговорились. Понюхали друг дружке зады. Она уверяет, что божественная эманация проявляется главным образом в виде слюны, или более обще: сладости. Эта эманация исходит из рта Собаки № 1.

И взаправду слюнотечение я очень люблю.

16. Слушайте, слушайте, мое последнее сообщение! С утра я наткнулся на двуногий предмет. Я не мог оторвать от него глаз. Он стоял передо мной и пристально, тупо пережевывая мясо, смотрел на меня. Я вильнул хвостом, но его взгляд был по-прежнему холодный и зачарованный. Он подошел и вдруг дико, делая какие-то движения, заголосил.

Мне стало страшно, оттого что существует он, то есть нечто, что превосходит всякое понимание. И все-таки он существует! Нелепо огрызнувшись, я убежал. И от тоски стал бегать мимо разных странных, катящихся и точно нацеленных в меня предметов.

Высунув язык, я добежал до канавы. Труп кошки лежал у воды, и я лизнул его. Тоска, впрочем, скоро прошла. Все равно двуногие предметы по-видимому не существуют, так как они слишком непонятные. Но, если они есть, ведь и для них существует точно такое же непонятное.

Кошечка лежала головой в лужу и как будто пила из нее воду. Я осмотрелся кругом. Мир несъестного давил своим существо-

ванием, по сторонам торчали невиданные, вздымающиеся вверх, палки.

И вдруг что-то ударило в меня и прошло насквозь. И вот я лежу в сыром, проваливающемся поле, и у меня, кажется, больше ничего нет, кроме головы. Но даже ее я не могу поднять.

Может быть, у меня остался только один глаз.

Я смотрю им высоко-высоко — туда... Вот мигают бесчисленные клыки Собаки № 1... Вот ее тень... А... я... Я кажется слышу Ее лай, далеко, далеко, во всей Вселенной... Лай Собаки № 1... Как ждал я этой минуты! Весь мир колеблется, стонет... Там, там... Мой глаз — сплошная молитва... Я, кажется, вижу Ее Огненный язык... Он поднимается над горизонтом... Выше, выше эти лучи... Выше, выше...

●

ВЕРНОСТЬ МЕРТВЫМ ДЕВАМ

Малолетний карапуз Коля, с весело-оживленными, голубыми глазами, вдруг, ни с того, ни с сего, застрадал от онанизма.

Мамаша переполошилась.

Сначала долго прислушивалась. Дескать, в чем дело. Однако дело уходило в тайну. По некоторым признакам это был вовсе не обыкновенный онанизм, а совсем-совсем особенный. Мамаша это поняла по остановившимся, ничего не выражающим глазам младенца. Знакомая с культурой, она начала поиски.

Во-первых, ее поразило, что ребенок совсем изменил свой быт. К примеру, когда ел манную кашу, то чрезмерно улыбался. И нехорошо косил глазками.

Материнское сердце всегда найдет доступ к душе дитяти, и через месяц путем расспросов, картинок, интуиции Анне Петровне выяснилась совершенно пустая, точно наполненная страхом картина. Оказалось, что Колю посещала (в виде образа, разумеется) кра-

сивая двадцатилетняя женщина, с вызывающе-похабными чертами лица, и самое главное — в одежде людей девятнадцатого века. Дитя такого никогда не могло видеть, поэтому ассоциации исключались. У мамаши заработало сознание.

Тем временем события развивались. Родители уже точно знали — по выражению лица младенца — когда приходит «она».

Например, если Коля во время еды выплевывал кашу изо рта и говорил «ау» — родители знали: значит откуда-то из мрака на него смотрят черные глаза девы.

Когда же он поворачивал свой толстый, изумленный лик на какой-нибудь светлый предмет и внутренне охал — они знали: наступит сверхсон.

Иногда дитя переставляло солдатики, словно гоняясь за своим призраком. Вообще оно очень приучилось плакать. «Такой был мужественный ребенок, — вздыхал отец, — а теперь все время плачет».

По-видимому, дело шло к очень серьезному. Дитя часто застывало с ложкой манной каши у рта, когда возникало видение.

— Смотри, он скоро опять начнет дрожать, — со слезами говорил отец, всматриваясь в мрачный силуэт ребенка, когда тот сидел за детским столиком.

— Это бывает ровно в шесть вечера, когда она приходит, — со злобой отвечала Анна Петровна. — Хоть вызывай милицию.

— Что ты, испугаешь соседей, — чуждался отец.

— Да, дело идет к концу, — отвечала мать. — Чем бы ему помочь.

Решили вызывать крыс. Коля еще до появления образа очень обожал крыс и не раз забавлялся с ними в постельке. Отец смотрел на это сквозь пальцы, но теперь он был — за. Правда, крысы теперь уже не помогали. ребенок дергал их за хвост, и пытался, видимо, рисовать ими облик своей дамы.

— А если это любовь, — говорил иной раз папаша, задумчиво попыхивая трубкой.

Анна Петровна не отвечала, и только мысленно попрекала отца, что он думает о любви, а не о судьбе ребенка. Врачи абсолютно не помогали. Член у дитя был маленький, крохотный, как девичий мизинчик, но тут совершенно неожиданно — вопреки всему — из него стала изливаться сперма, причем столько, что мамаше некогда стало стирать простынки. Было от чего сойти с ума.

— Когда же это кончится, — вздыхала бабушка, обращаясь к душам своих умерших предков.

Но конца не было видно.

— Повесить его, что-ли, — рассуждал папаша после лекции. — Совсем опоганил род. Скоро о нас вся Москва будет говорить.

— Не дам дите, не дам дите, Ирод, — сопротивлялась Анна Петровна. — Повесить твой член надо, а не ребенка. Он ни в чем не виноват.

— Я уже устал от этой жизни! — вскрикивал ее муж, Михаил Матвеич. — На работе одни неприятности; любовницы изменяют; а в доме черт знает что... Все игрушки обрызганы спермой, а вчера залилась моя диссертация. Лучше пришей мне пуговицу.

Бабушка Кирилловна только угрюмо исчезала на целые недели.

Ночью, при блеске свечей, которые горели в углу, дитя вставало с постели, и в белой рубашонке, беспомощное и раздавленное, ползало по полу, словно становясь отражением чудовищного образа девушки девятнадцатого века, посещающей его по ночам.

Особенно возмущало докторов, что дите почти перестало есть.

— Пусть онанирует, сколько хочет, — говорил толстый ученый врач. — Не он первый, не он последний... Но чтобы дите бросило есть... Это что-то не то.

— Бедный ребенок, — вздыхала старушка-соседка. — А ведь во всем родители виноваты.

— Не родители, а Творец, — говорил в ответ один дворовый мистик.

— Сколько же это может продолжаться? Чтоб у такого щенка, у малолетки потекла сперма, да еще как из бочки... Это, знаете ли, извините меня, извините меня, это — просто чудо, нарушение законов природы, — ворчал недовольный отец.

Мамаша пугливо всматривалась в обмазанное манной кашей неподвижное лицо младенца, устремившего свой взгляд на игрушку. «Приближается», — говорила она про себя. Действительно, когда «она» появлялась, лицо дитяти совсем тупело, кроме глаз, которые напоминали глаза Блока перед смертью.

— Что же потом будет, — схватывался за голову папаша.

— Ау, ау, — отвечал ребенок в ночной тиши, и казалось, тихие слезы лились из глаз ангелов, притаившихся в неведомом.

— Лучше бы его убить, чем он так мучается, — уныло повторял отец.

— Почему ты думаешь, что он мучается; может, это ему совсем напротив нравится, — резонно отвечала мамаша, вспоминая пропитанные спермой простынки.

— Лучше бы ты заглянула в его глаза, когда он видит Ее, — возражал папаша.

— А ты бы посмотрел в его глаза, когда он кончает, — парировала мамаша...

— Но ведь он ничего не понимает, — кипятился отец. — Нельзя же все сводить к одному физиологическому удовольствию. Только женщины с их тупым реализмом могут так понимать любовь... Ребенок ведь не отдает себе отчета, что за образ его посещает, откуда он, почему в конце концов... Ведь это насилие над свободой воли... Погляди, в его возрасте только с котятами играть, а он уже познал то, что нам и не снилось.

— И не говори, — отвечала мамаша, заплакав.

— Все-таки я считаю, его надо убить. Неприлично, чтоб такое дитя существовало, — возмущался отец.

— У тебя это уже становится параноидной идеей, Миша, — возражала жена. — Я защищу его своими руками. Он вышел из моего чрева, и будь он хоть сам Антихрист, я не позволю его убивать.

— Ах, сволочь, — возмущался отец, — если бы ты любила меня на одну сотую того, что любишь его... Ведь все равно он тебе плюнет в морду, когда вырастет, или еще чего доброго изнасилует... Но на таких дурах, как ты, держится весь род человеческий.

Между тем дите, не замечая семейного совета, проползши по ковру, возвращалось в свою постельку.

Но нежные, напоенные чудодейственной женской красотой глаза не оставляли его и там. «Кхе, кхе, кхе», — только покашливал он от страха, задирая вверх ножку. Его бедное личико совсем сморщивалось, а слезы словно лились внутрь тела, точно все пространство вокруг было отнято у него любимой.

— Если б он просто онанировал, — вздыхал серьезный, ученый врач, — это было бы ерунда. Не такие люди, как он, увлекались этим. Но ведь это еще к тому же любовь. Вот в чем загвоздка. И в таком возрасте!.. Чорт знает что.

Мальчонка действительно хирел. Из игрушек раскладывал Ее глаза, улыбался призрачным, уходящим лицом, глядя в пустоту. А когда он однажды совсем заохал и уполз под кровать, сердце матери не выдержало.

— Что-то нужно предпринять, — взмолилась она. — Действие, действие прежде всего... Если врачи не помогают, обратимся к Богу.

Тут-то как раз и вернулась из дальнего странствия бабушка Кирилловна. Она была слегка ученая и начала о чем-то шептаться с Анной Петровной, которая тоже была не так уж глупа.

Неожиданно картина прояснилась. Существовали признаки, по которым можно было различить, что налицо феномен «верности мертвым». Более точно, Колю, по-видимому, посещал образ, клише умершей женщины, которую он страстно любил в своем предыдущем воплощении, в прошлом веке. И теперь она преследовала его. Вот уж воистину любовь побеждает смерть.

Нужно было принимать очень четкие, разумные меры. У Анны Петровны были некоторые связи с людьми, занимавшимися оккультной практикой. И она страстно хотела освободить младенца от любви. Сама по себе операция снятия любовных чар, как известно, очень проста и действует безотказно, но все уперлось в необычность феномена. Ведь освобождать необходимо было не от любви к живой женщине, а к душе умершей.

Наконец, общими усилиями нашли ясновидящую ведьму, живущую в сорока километрах от Москвы, которая согласилась уничтожить эту идиотскую связь.

..Был крепкий, сорокаградусный, кондовый российский мороз. Казалось, деревья вот-вот рассыпятся от тяжелого воздуха. Младенца закутали в несколько шерстяных одеял. Голову покрыли надежными, бабушкиными платками. Видны были только его детские глаза, помертвевшие от страха перед женским образом.

В два часа вызвали такси.

Папаша вытащил дитя на своих руках. Анна Петровна с матерью разместилась с дитем на заднем сидении, а отец сел рядом с водителем, указывая дорогу.

Сначала было трудно выбраться из центра, несмотря на мороз; то и дело застревали в потоке автобусов и грузовых машин.

У Анны Петровны сжалось сердце; неожиданно она вспомнила страшное стихотворение Гёте.

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой...
К отцу, весь издрогнув, малютка приник;
Обняв его, держит и греет старик.

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» —
«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:
Он в темной короне с густой бородой» —
«О нет, то белеет туман над водой». — ...

...«Ко мне, мой младенец! В дуброве моей
Узнаешь прекрасных моих дочерей,
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять.» —

«Родимый, лесной царь созвал дочерей:
Мне, вижу, кивают из темных ветвей.» —
«О нет, все спокойно в ночной глубине:
То ветлы седые стоят в стороне». —

«Дитя, я пленился твоей красотой:
Неволей иль волей, а будешь ты мой!» —
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;
Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать!»

Ездок оробелый не скачет — летит...
Младенец тоскует, младенец кричит...
Ездок погоняет, ездок доскакал...
В руках его мертвый младенец лежал.

Не в силах отключиться от этих образов, она тупо сжимала перезакутанного ребенка.

— Брось его прижимать, — ворчал Михаил Матвеич, — опять эта проклятая эротика!

Вскоре выехали из города, на шоссе. Черные, обугленные морозом деревья стояли в своей неподвижности и равнодушии ко

всему живому. Снег среди леса блестел, но каким-то мертвым, полоумным блистанием.

Папаша проклинал все на свете.

Младенец цепенел, одурев от присутствия Любимой в своем сознании, и пускал слюни изо рта.

— Ты знаешь, — истерически твердила Анна Петровна своей матери, — он уже не говорит мне «лодная», как раньше... И я заметила, что теперь он лепечет «лодная», только, когда видит эту тварь... Вот до чего дошел.

— Не то еще будет, — подвывала старушка Кирилловна,— особенно, когда он научится читать...

Наконец, машина подкатила к селению, к более или менее приличному деревянному домику.

С трудом младенца вытащили из такси. Одно одеяло упало, и, дитя, дрыгнувшись, принялось неистощимо пищать.

— Точно чувствует, гад, что скоро с ней расстанется, — проговорила Кирилловна.

Ведьма была уже обо всем предупреждена друзьями Анны Петровны. Один из них, среднего возраста, в очках, напоминающий философа Владимира Соловьева, тоже ждал гостей.

Когда дитя подтащили к двери, оно подняло совсем до неприличия истерический визг и даже брыкалось ножками. «Не хочу, не хочу», казалось, готово было выкрикнуть оно.

Бабка Кирилловна вконец осерчала:

— Ишь, как мучался, ведь начинал дрожать, паразит, за полчаса, как она появлялась... а туда же... корючится... жалко с любовью прощаться... Ишь, Гомер.

— Да выброси ты его к чертовой матери, — верещал Михаил Матвеич, бегая вокруг себя. — Прямо в снег... Чтоб сдох... Ишь, скольку шуму наделал... За три месяца всю душу вымотал!!!

Наконец, дите впихнули в дверь.

Операция прошла очень удачно. Через некоторое время знакомый Анны Петровны, напоминающий Владимира Соловьева, ясно, с некоторым состраданием, говорил ей:

— Все кончено. Любовь убита. Могу сообщить вам чисто формальную сторону: ваш сын Коля в предыдущем воплощении был Куренковым Гаврилой Иванычем, торговавшим пенькой в начале девятнадатого века. Жития его было семьдесят восемь лет. Семидесятилетним старцем воспылал страстию к девице

Афонькиной, Клавдии Гавриловне, урожденной мещанке, дочери торговца мылом, и жил с нею последние восемь лет. Душа Афонькиной сейчас еще там. Тело захоронено на Богородском кладбище. Феномен типичен для любви к мертвым.

Счастливый отец, тихо урча и поругивая прогнозы, заворачивал младенца.

— Ничего, мамаша, не плачьте, — грубовато ободрила Анну Петровну ведьма, костлявая, огромная женщина лет сорока пяти. — Ваш Коля хороший кобёл будет. А о Клавке забудьте — все, — и она похлопала Анну Петровну по заднице.

— Все, все, — неожиданно и смрадно проговорил знакомый Анны Петровны, похожий на философа Владимира Соловьева. — Такие вещи в наших силах. Так что нечего отчаиваться. Человек — хозяин своей судьбы. Хе-хе-хе...

Действительно, явление умершей женщины в душе младенца Николая было уничтожено. Понемногу он поправлялся. (И если онанировал, то просто так, как все люди). Даже физически он быстро окреп. Появился аппетит и румянец.

Но Анна Петровна все-таки не удержалась — вот что значит материнское сердце! — и разыскав на Богородском кладбище могилу Афонькиной Клавдии Гавриловны (дочери торговца мылом), оплевала ее.

— Не будет больше смущать моего Колечку! — довольно бормотала она, стоя в очереди за пивом.

●

В БАНЕ

В общественной бане № 666, что по Сиротинскому переулку, начальником служит полувоздушный, но с тяжестью во взгляде человек по фамилии Коноплянников. Обожает он мокрых кошек, дыру у себя в потолке и сына Витю — мужчину лет тридцати, не в меру грузного и с язвами по бокам тела.

— Папаша, предоставь, — позвонил однажды вечером Витенька своему отцу на работу.

Коноплянников знал, что такое «предоставь»: это означало, что баня после закрытия должна быть пользована — на время — для удовольствий сына, его близкого друга Сашки и их полуобщей толстой и старомодной подруги Катеньки. Одним словом, для оргии.

— Пару только побольше подпусти, папаша, — просмердил в телефонную трубку Витенька. — И чтоб, насчет мокрых кошек — ни-ни.

Выругавшись в знак согласия, Коноплянников повесил трубку.

Часам к одиннадцати ночи, когда баня совсем опустела, к ней подошли три, весело хихикающих в такт своей заднице, существа. От закутанности их трудно было разглядеть. Но в руке у более женственной была авоська с поллитрами водки и соленой, масляной жратвой. Другой нес какой-то непонятный сверток.

Разом обернувшись и свистнув по сторонам, друзья скрылись в парадной пасти баньки.

— Покупаться пришли, хе-хе, — проскулил старичок Коноплянников, зажав под мышкой мокрую кошку, а другую запрятав в карман, — хе-хе...

Герои, истерически раздевшись, гуськом вошли в небольшую полу-парилку, пронизанную тусклым, точно состарившимся светом. Толстый Витя покорно нес авоську.

Сначала, естественно, взялись за эротику. Витя даже упал со спины Катеньки и больно ударился головой о каменный пол. Окончившись, Саша и Катенька полулежали на скамье, а Витя сидел против них на табурете и раскупоривал бутыль. Пот стекал с его члена.

Саша был худ, и тело его вычурно белело на скамье. Катюша была жирна, почти светилась от жира, и похлопывала себя по бокам потными, прилепляющимися к телу руками.

Тут надо сделать одну существенную оговорку: мужчины (и в некотором роде даже Катенька) были не просто шпана, но к тому же еще начитавшиеся сокровенной мудрости философы. Особенно это было видно по глазам: у Вити они напоминали глаза шаловливого беса, бредившего Божеством; у Саши же они попросту были не в меру интеллигентны. Вообще же своим видом в данный момент друзья напоминали каких-то зверо-философов.

Представьте себе, например, Платона, одичавшего в далеких лесах.

— Катенька, а Катенька, у вас было много выкидышей?! — вдруг спросил Витя с чувством сытого превосходства мужчины над женщиной.

— И не говори, Вить, не говори, — всплеснула руками Катя, — Сатана бы сбился, считая.

— А знаете ли вы, голубушка моя, — неожиданно посерьезнел Витя и даже поставил бутыль с водкой на пол, — что душа убитого ребенка не всегда сразу отстает от матери и очень часто — вместе со всеми своими оболочками — надолго присасывается к телу родительницы. На астральном плане. И я не удивлюсь, что если бы мы имели возможность лицезреть этот план, то увидели бы на вашем теле не один и не два таких присоска.

Катенька побледнела и уронила шайку под табурет. Сначала мысленно вспотела: «так или не так»; и почему-то инстинктивно почувствовала: «так»; должна же куда-то деваться душа зародыша, и, естественно, что она — несмышленка этакая — не может сразу оторваться от матери-убийцы: любовь, как известно, слепа, да еще в таком возрасте. Ощутив это во всей полноте, Катенька завыла.

Но Саша сухо прервал ее.

— Что вы, собственно говоря, так кипятитесь, Катенька? Жалко полу-дитя?! Не верю. На всех и у Господа не хватит жалости. Кроме того, я полагаю, что — в принципе — зародыш должен быть счастлив, что не появлился на Божий свет от вас. Другой раз ему повезет. Так что не верю. Скажите лучше, что вам неприятно от того, что на вашем теле такие гнусные присоски.

— Неприятно, — робко кивнула головой Катенька.

— Их у нее, наверное, видимо-невидимо, — неадекватно вставил Витя, глотая слюну.

— Сколько бы ни было, — по-мужски оборвал Саша, подняв руки.

— Ну, подумайте, Катенька, — продолжал он, — что реально причиняют вам эти присоски?! Вы ведь в другом мире и их, если так можно выразиться, вой не доносится до ваших ушей... Кстати, Витя, что говорят авторитеты про такие случаи... в смысле последствий для матери здесь?

— Да ерунда... Иногда чувствуется легкое недомогание...

— Ну так вот... Легкое недомогание! — Саша даже развел руками и привстал на месте. Тень от его голой фигуры поднялась на стене. — А потом, — ласково улыбнулся он, — присоска все равно отстанет... И надеюсь, в смысле следующего воплощения будет более удачлива... Недомогание! Да я бы на вашем месте согласился таскать на себе сотни две таких душ-присосок, чем породить, а потом кормить одного такого паразита. Я бы прыгал с такими присосками с вышки, как спортсмен, — загорелся вдруг Саша, соскочив со скамьи и бегая вокруг Катеньки в парной полутьме комнаты. — Да я бы сделался космонавтом! Оригиналом в конце концов! Шостаковичем! А сколько нервов стоит воспитать этакого появившегося паразита?! Ведь в наших условиях — это черт знает что, сверхад, Беатриче навыворот! Себя, себя любить надо!

Как ни странно, такие доводы неожиданно подействовали на Катеньку и она успокоилась.

...Часа через полтора три вдребезги пьяных существа, хватая руками темноту, выскакивали из баньки. На одном промокло пальто. Другое потеряло шапку. Третье было босиком. Но из всех трех уст раздавался вопль:

Прожить бы жизнь до дна,
А там пускай ведут
За все твои дела
На самый страшный суд.

...Одинокие прохожие и тараканы пугались их вида. ...А вскоре за ними из двери баньки юркнула фигура старика Коноплянникова. Бессмысленно озираясь, он ел голову мокрой кошки. Это был его способ прожигания жизни.

●

УПЫРЬ-ПСИХОПАТ

Этот упырь был в двух отношениях необычен. Во-первых, у него — неведомо какими путями — сохранилось ясное и тревожное сознание, хотя сам он, как фигура, застрял, подобно всем упырям, между тем и этим светом. Но в отличие от других, правда, занырял еще куда-то в сторону. Итак, наш упырь в целом не обладал особой сумеречностью, хотя, как видно, положение его не отличалось определенностью. Во-вторых, это был до ненормальности трусливый упырь. Поэтому он страшно боялся пить кровь у живых людей, даже у деток. Обдумывая себя, он устроился на донорский пункт, где мог — после некоторых комбинаций — в покое и досыта упиваться донорской кровью из пробирок. Служил он там медицинским братом и считался тихим и вдумчивым товарищем. Никого не пугал даже его портфель, не по ситуации огромный.

Вот его записи.

21-ое мая. ...Сегодня во сне видел Канта.

22-ое мая. Михайлова обхожу стороной. Боюсь, он подозревает, кто я. На душе тревожно, но держусь добрячком. На работе выпил три пробирки кровушки группы А. Неужели вскроется?

23-тье мая. Не обольщайтесь, тупоумные людишки, вы, жирные дамы, и вы, зверо-воинственные мужчины: я еще более или менее формальная сторона вампиризма, а истинный вампирчик — так или иначе — сидит в вас!!!

24-ое мая. Нудный и скучный день. С утра простоял в очереди за молоком. Но пить не смог — вырвало. Чтобы все время материализовываться, нужна энергия, и, черт побери, на высшее остается совсем мало духу. Плохи наши дела! Говорю это к тому, что во сне опять видел Канта. Потом, к вечеру, зашел в библиотеку — почитать. Мое впечатление — Кант, по существу, писал только о нас, об упырях. Ведь опять все те же проблемы: свобода воли, мораль, практическая ответственность перед Богом. И насчет теории он молодец: действительно, ну как из разума можно вывести существование Бога?? Какого, например, Бога можно

вывести из нашего вурдалакского ума? Ничего, кроме тьмы не выведешь. Но вот насчет внутренней свободы — это есть; я даже в самый момент экстаза, раньше, когда еще был смел и пил кровь из младенцев, все равно чувствовал в своей душе нечто свободное, божественное и даже игривое! Это ли не гарантия бессмертия души! Недаром все мыслители так отличают внешнее от внутреннего.

25-ое мая. Не люблю бульдогов и вообще собак. Пожирание без присутствия разума ничтожно... Сделали выговор (не мне, а начальству, хи-хи-хи!) за утечку крови. Боюсь, что наш донорский пункт разгонят. Все считают, что начальник спекулирует кровью.

31-ое мая. Страшная тоска... Жажда иного берега, как говорят. И когда, когда все это кончится?!! Пьешь, пьешь кровь, воруешь, оглядываешься, читаешь Канта — и все-таки хочется в иной мир, в иной, а не в загробный, будь он трижды проклят, надоел совсем, хуже этого мира.

Не знаю, чем это кончится. Самоубийство бессмысленно, и даже оккультное тоже, потому что вряд ли достижимо, да и жалко себя по большому счету. Хочется уединиться, и чтоб в тепло, и чтоб Высшие Иерархии в душу смотрели, чтоб кровушку пить, но так чтоб никому не причинять этим зла.

Не иначе как душа в рай просится.

Федоренко (воплотившийся упырь, работает в бане, за городом) говорит, что все это у меня от того, что я давно не пил живой крови, из человеков, потому и затосковал. Говорит, кровь из пробирки пить — одно расстройство; вроде одно и тоже — а чего-то, весьма существенного, не хватает!! Ну-ну!!

1-ое июня. Опять думал о Канте! Как здорово он определил, что весь наш мир — явление, кажимость в конечном счете! Сам на себе я это очень хорошо чувствую! Ну, бывало раньше, выпьешь кровь из одного дитяти, из другого, они помрут (потом, может быть, опять воплотятся, может быть, и нет) — и все это так несерьезно, так не серьезно! Серьезности нигде не вижу, вот что!! Ну, может ли в сути своей такое существо, как я, наделенное метафизическим чутьем, бессмертной душой и т.д. стать упырем?? Ан, оказывается, может, да еще как!! И это несмотря на бессмертную душу?!! Но в таком случае разве не видимость — и то, что я сосал кровь из младенцев, да и сама кровь... Все

фук, все ничто, все бред абсолютного!! Да и эти бедненькие дитяти!? Вы думаете, я их не жалел?!! Еще как! особенно одну девочку, милую такую, одухотворенную, с глазами, как у христианских ангелочков?? Но не мог не пить: против естественных законов я — нуль, козявка, даже со своей бессмертной душой!!! Да и ведь девочка эта — тоже видимость, отражение, ведь не может же что-то реальное погибнуть от такого глупого, идиотически-бессмысленного существа, как упырь. Только призрак может погибнуть от призрака.

Но, кончаю, кончаю, на сегодня хватит.

Пойду сосать пробирки.

6-ое июня. Федоренко определенно прав, когда говорит, что частично моя тоска — от недостатка живого объекта... Но не могу — труслив, труслив-с стал до невозможности. Прямо сил нет. Может быть, это от разума, от интеллигентности!!!

Я и раньше норовил только детишек сосать. Чище они и беспомощней. И умирать им радостней. (Это только тупое быдло возмущается смертию детей; на самом деле нет ничего благолепнее — и по последствиям для детишек тоже. По настоящему тяжело умирать только гению).

Но теперь я не могу детишек сосать. Боюсь! Одного даже крика ихнего и писка боюсь. Нервозен стал до невозможности. Дитя ножками болтает, глаза пучит, слюну пускает — а я дрожу, вожделею, извиваюсь, но боюсь! А чего боюсь, сам не пойму!! Очень уж стал чувствителен к своей особе.

Но больше так жить не могу. Нужны объекты!! Во рту пересохло; все тело мое (не совсем земное, в конце концов!) трясется; глаза жаждут небесного!! Что делать!??

7-е августа. Два месяца я не брался за перо. И какие два месяца, какие!!! ...Разве можно передать словами то, что я пережил?!! ...Я влюбился, влюбился, в очаровательную нежную, земную девушку с чистой и возвышенной душой!! ...И как влюбился — платонически!!! (Впрочем, другая влюбленность для меня была бы странна!) ...Я люблю ее!! Помогите!! Помогите!! ...Люди!!! ...Люди!!! ...Где вы!!!

...Что, что мне делать?? Я люблю каждое ее дыхание, каждый стон, каждую мысль, каждую искру в туманных и глубоких глазах!! ...Мы встречаемся у памятника Гоголю... Она принимает меня за своего... Возможно, любит меня!! ...Помогите. ...Я

люблю ее душу, ее душу еще, может быть, больше, чем ее плоть — и потому желаю ей бессмертия, реального бессмертия, и спасения, а не пустых мечтаний об этом... Но как достичь всего этого среди мрака и бреда потустороннего мира?? ...Не рассказывать же ей о Штейнере!! ...Чем я могу ей помочь?!. Я, упырь, могу ли я спасти ее, вывести на светлый путь вечности, одарить ее сверхдуховным сознанием??!!! ...О, будь проклято все! ...Пусть все погибнут, лишь бы она спаслась!!!

8-ое августа. Очень боюсь я, что она меня признает... Она очень глубинна... Вдруг в моих синих, прозрачных глазах блеснет то... и все будет кончено.

9-ое августа. О, как хочется мне — уже ночью, в виде призрака! — мелькнуть в ее окне, пройти в обитель, и приникнуть — тихо, тихо — к изголовью! Чтоб она не слышала, не испугалась!!! ...И пусть извиваются мои черты, пусть синеют от пламени глаза, пусть трепещет трупное дыхание — я буду смотреть на нее с такой любовью, что этой любви будут завидовать ангелы... Бедная, бедная моя деточка, если бы она знала... Вся выпитая мною кровь превратилась в сплошное моление... Но я люблю ее, люблю! Как странно любить из другого мира.

10-ое августа. В конце-концов это ужасно — платоническая любовь и вампир!! Своими огромными, охлажденными смертным ужасом глазами, с кровью, чернеющей на устах, я смотрю на нее — и вижу в ней иерархию чистых, всепроникающих, боговдохновенных духов! О, слезы катятся из моих глаз!! Как тяжки мне мои ненужные руки, и как прекрасно из пламени ада — из вечного пламени — глядеть на Бога и чистоту его духов! О это небо, небо над адом!!!

12-ое августа. Мы продолжаем встречаться. Я дрожу при мысли, что она вдруг — от болезни, от случая — умрет и ее встретит потусторонний ужас. О, как я хотел бы защитить ее, спасти и превратить в божество — божество для себя, — вечное и всеторжествующее... Но что могу я, бедный упырь, пустая жертва мировых законов?!!!

13-ое августа. Сегодня первый раз поцеловал ее. О, как сладок человеческий поцелуй!! Ничего подобного нет среди нас, вампиров. Всю ночь проплакал один в своей комнате. (Кровь из пробирок пью мало, совсем ничтожно, только чтобы не сойти с ума и не провалиться в бездну).

23-е августа. Прошло две недели. Я иду к своей гибели. Неожиданно я почувствовал вампирическое влечение к своей любимой. На святой алтарь брызжет поток крови. Как я еще не сошел с ума, не понимаю.

И именно платоничность и чистота наших отношений привела к такому концу. Точнее, к этому привела — любовь, любовь, святая и безграничная! Ведь любовь — это оправдание. Ведь в любви — нет страха, и в ней исчезает объект. Именно потому что я люблю ее, рухнули все преграды между ней и мною, и вместе с тем та странная преграда, которая заставляла меня в страхе останавливаться даже перед ликом ребенка, когда я жаждал крови.

А теперь — этого нет. Любовь сняла страшное, последнее препятствие. Она сделала мою любимую самой наилучшей для кровососания.

Вот и кончится мое недомогание, мои страхи, мои пробирки, я выздоровлю, обрету покой — если буду потихонечку, потихонечку пить ее кровь. Так чтобы она даже не замечала. Скажем, в поцелуе. Тихо и незаметно. Но со страстью, как всегда бывает при любви...

25-ое августа... Я гибну... Но только бы не погибла она... Я люблю ее... Нет, нет, я люблю не ее, а свое кровососание, свою животность, свой стон... Нет, нет!!! ...Я люблю ее и зову Бога в свидетели этого!... Но все кончается. Я не могу побороть в себе два влечения: любви и кровососания.

Боже, только бы она не почувствовала, что я — упырь... Почему она глядит на меня такими глазами?! ...Почему иногда из ее глаз льются слезы?! ...Слезы всепрощения... Может ли она меня простить, если узнает все... О, если бы она меня простила (хотя бы из-за мучений, мучений, моих мучений!) и любила по-прежнему, я бы вознесся, я стал бы божеством, я обратил бы кровь в слезы блаженных младенцев... Во всепрощающие слезы... Но я гибну... Дважды меня охватывало бешеное желание броситься на нее, перегрызть ей горло и выпить всю кровь... Нет, нет, не сексуальное... Моя любовь свята... Просто эта жуткая потребность... Простите меня... Милосердия... Милосердия... Но я еще больше хочу спасти ее душу — и вознести в обитель богов... Она достойна быть только там... Да, да, но не среди богов, а такой, как они, всемогущие, всеодухотворяющие... Да, да, я видел эту идею в ее глазах... Она мелькнула в них, как искаженный свет...

Она — будет Божеством... И в то же время я хочу напиться ее крови... Крови Бога... Нет, нет я схожу с ума... Милосердия, милосердия!!!

Я знаю, знаю, где выход: завтра, завтра, когда она выйдет гулять, одна, в этих, видимых только духам цветах вокруг своих глаз, я подкрадусь к ней... и... мы вознесемся... Оба... Туда, туда в обитель богов... Она — спасет меня, я — ее... Да, да вознесемся, хотя перед этим я обрушу на нее удар и выпью всю кровь.

●

ПИСЬМА К КАТЕ

Это была не очень странная девушка, с голубыми, точно нежно-выветренными глазами и с гибкой, вполне человеческой, ласковой фигурой. Ручки, личико, и, очевидно, все тело было до того нежно и в меру пухло, так бело, как будто девушка создалась из молочной, высшей спермы и появилась, как свет. Впрочем, выражение лица было так неопределенно, словно что-то за этим скрывалось, а может быть, и ничего. Девушка смотрела, как сквозь ангельский сон, хотя и не без некоторой странной, но скованной хищности. особенно, когда глотала.

Спала тоже по-божески: растягивая и изнеживая тело, любуясь собой даже во сне, но иногда только с хриплым лаем просыпаясь. Тяжело ей, видно, где-то было.

У себя в комнате, под пуфиком она обычно хранила целую гору писем: письма были от влюбленных в нее: все они — рано или поздно — покончили из-за нее жизнь самоубийством. Иных писем не было.

Иногда, когда девушка чувствовала, что ей будет особенно сладко спаться, она клала свои пачки с письмами себе под подушечку, прямо-таки под щечку, и от этого, может быть, ей еще слаще спалось.

Вот некоторые из писем.

Катя! В отношении меня ты должна твердо знать, что я — черт. Я тогда нарочно скрывал от тебя это, не хотелось говорить. Особенно последний раз, когда встречались у памятника Пирогову. Ты так заглянула мне в глаза, что я ошалел. Чтой-то у тебя глаза такие нехорошие? Или это мне только кажется по недоверию к вашему человеческому?!

Устал я жить, Катюша. Что-то совсем не то, что я ожидал тут у вас увидеть. Как говорят ваши поэты, действительность всегда ниже мечты! А как я мечтал, мечтал, холодея духом, о воплощении, о вашем мире!! Какие планы связывал с этой жизнью! Но меня опередили... А потом этот ужас... Ну да ладно. Одна ты у меня отрада. Только не грусти, как бывало. Не пой свои нежные песни. Сил нет больше жить. Боюсь что-нибудь сделаю с собой или с тобою.

Катя, не думаю, что ты могла бы меня полюбить, какой я есть. И дело не только в виде. Ты говорила, что тебя мучают мои глаза, что сам я как ряженый, особенно когда пью кофий.

Это ты про душу мою говорила. Но не буду, не буду говорить, какой я есть. И никогда, никогда об этом не спрашивай. Всего сказать не могу, но любовь наша, если б свершилась, была бы так страшна, что не решаюсь, не решаюсь. Любимая моя, я скоро перейду на визг!!! Была бы ты ведьма, что ли!! Отчего ты мне в душу, человечка, так запала?! Что у нас общего!!?

Все, ухожу. Решил, как у вас говорят, дезертировать. Если до завтра не будет знаков, ты меня здесь не увидишь.

Катя, чтобы с тобою ни случилось, как тяжело бы тебе ни было, никогда не взывай к нашему имени. Не вспоминай обо мне. Это тебе мой лучший совет. И не спрашивай обо мне у духов.

Всего сказать никак невозможно.

Твой-мой Анисимов.

До встречи.

* * *

Катя, я уже стал мертвым, потому что все мертво по сравнению с тобой. Зачем, зачем я только родился?! Мне бы бегать по лесу, ловить бабочек, пить воду из ручейка, а я мертв. Ты за меня

будешь ловить бабочек, пить воду из ручейка, потому что моя жизнь перешла к тебе.

Помнишь, я увидел твое личико, там, в вышине, у звезд, и после этого у меня был тяжелый сердечный приступ? Тогда я понял, что мир — мертв, одна ты — живая. И дико мне стало смотреть на тебя — когда ты идешь по улице, как будто вся жизнь мира перешла в тебя, и ты идешь, имея жизнь в самой себе, и каждый твой вздох — дыхание вечности.

А я мертв.

Прощай. Константин.

* * *

Катюша! Когда я тебя поцеловал, я так обрадовался, так обрадовался, что весь день потом не мог придти в себя. Какое счастье!!

К жене совсем не могу прикасаться — до того противна, что готов свинью поцеловать, лишь бы не ее.

Ух, ты мой попрыгунчик, шалунья моя ветреная, глупышка ненаглядная!

Скорей бы в отпуск. Зам обещал дать в третьей декаде. Накуплю я тогда снеди всякой, консервов, муки, колбаски, селедки в винном соусе, грибков, сядем мы с тобой, мамочка, в мой «Москвич» и махнем, как ты обещала мне, на юг. Ой, не терпится! Готов целовать зама.

Любящий тебя до печенок, целующий каждый твой пальчик, берегущий каждый твой волосок.

Петенька Васильев.

P.S. Говорил вчера с Карповым — он обещал, что тебя примут в институт, на первый курс.

Еще раз целую мою шалунью.

* * *

Здравствуй, Катя!... Где мы с тобою встретимся?!! Я хотел бы встретиться с тобой в ином мире. Потому что, говорят, мы будем там абсолютно, безнадежно одиноки, попросту говоря, один на один со своею душою. Но почему глаза твои так черны и глубоки... (Дальше неразборчиво)... Уйти, уйти в эту глубину

навсегда... (опять неразборчиво)... Почему я так несчастен... (опять неразборчиво, но в конце три восклицательных знака)... уединенно от твоих сокровищ: союза красоты и духа (совсем неразборчиво!)... смерть... (совсем неразборчиво)... смерть... (опять неразборчиво)... смерть... (опять неразборчиво)...

Твой Андрей.

* * *

Катюня, привет!

Пишет тебе твой друг с дальнего Амура, который со всею своею душою рвется к тебе. С прошлой жизнью покончено. Неделю назад был у Белого Кота и порвал со всею малиной. Это ты, матросочка моя ненаглядная, человека из меня сделала. Только ради тебя веду жизнь фраера

Через пять дней — расчет, билеты уже взял и айда к тебе. Иного пути у меня нет.

Твой Саша.

* * *

Катюша! Помнишь, как стояли с тобой на берегу реки под ветерком? Шел снег, и я разделся до самого пояса. А ты еще, смеясь, запустила в меня снежком. Помню, снежок попал мне в самую грудь под левую сиську. Неужели ты больше не подаришь мне ни одного такого дня?! Катя, Катя!!! Неужели все прошло, и мы с тобою никогда не увидимся?! Ты еще что-то говорила про судьбу. Какая же у меня теперь будет судьба без тебя!!? Я учусь на шоферских курсах и скоро окончу вечернюю школу. За окном часто поет гармоника. Но мне скушно без тебя. На стене висит портрет товарища Чайковского. Но мне не до него. Я хочу видеть тебя, Катенька. Катя, Катя, я пишу тебе восьмое письмо до востребования, а ты мне не отвечаешь. Горе мое, горе. Твердо решил получить от тебя весточку.

Если не будет, то пойду в справочное бюро и там получу окончательный ответ.

Скучающий без тебя Валера Шапошников.

* * *

Девочка моя, девочка! Ты так напоминаешь мне мою маму, когда ей было всего восемь лет, а меня еще не было на свете! Поэтому я так и люблю тебя. Теперь у меня нет моей мамы (на днях похоронил, т.е. сжег старушку), у меня у самого теперь подгибаются колени и руки дрожат от возраста, но подари мне одну ночь, всего одну ночь!! Я совсем изошелся слезами, и особенно сейчас, после похорон, мне хочется юркнуть к тебе, моя светлая девочка, под одеяло, прижаться к твоим голым коленям, чтобы обогреть твоим теплом мою одинокую старость. Пусть я шепеляв, пусть из носа течет, зато у меня есть душа. Пусти меня к тебе, моя светлая девочка!

А я плачу. Не могу забыть глаза мамусеньки во гробе. По ночам снятся кошмары. Будто гроб этот ожил, а мамусенька — нет. И будто потом этот гроб, походив по комнате, превратился в мамусеньку, а мамусенька — в гроб. И я сначала было потерялся, где гроб, где мамусенька. А потом отличил. И что потом мамусенька эта моя, которая есть гроб, превратилась в тебя, моя светлая девочка. Хи-хи.

...Мне так хочется к тебе, моя детка. Весь дрожу, ноги трясутся, жду ответа.

Целую тебя в ручку...

Вечно помнящий о тебе и своей мамусеньке доктор наук Соболев.

* * *

Катя! все что нужно для тебя — сделал. В академию больше не звони. Отсылаю тебе твои письма. Мне — каюк. Все.

Твой Владислав.

* * *

Катенька! Мамуля моя! Пыс-пыс-пыс! Надысь ты говорила, что ежели тебе выходить замуж, то только за мене. Я наизусть помню твои слова. Пыс-пыс-пыс!! Катенька, мамуля моя!! Корова у нас поутру отелилась и солнце пригрело. Приезжай. Пыс-пыс-пыс! Я очень любил нашу коровку и ухаживал за ей. Но

тебя я буду любить еще больше. Коровка у нас покойная, тихая, и теленок у ей, наверное, от мене. Приезжай. Мы оба его будем целовать. А потом, ежели на то будет судьба, то и своего теленочка родим. Ему с братцем хорошо будет на наших полях и лужайках. А еще кур у нас много. И дров. Мамуля моя!! Зимой тепло на печке, не то что в хлеву. Помнишь, как мы пригрелись? Мамуля моя!

Пыс-пыс-пыс.

Аким.

* * *

Катя! Конец. Без тебя — нет жизни. Прощай.

Толя.

* * *

Катенька! Совсем ослаб от тебя вестей не дождамшись; хирею, голубочик ты мой, без твово поцелуя; пиджак совсем затерся, в нутре пусто, и клопы падают из ушей, когда встряхиваюсь; на дворе снег; ботинки продырявились и боюсь выйти на улицу: мокро; пожалей меня, ведь мне всего двадцать три года, а чувствую себя старичком; в боку болит и слезы капают, как гляну на твой портрет. Пожалей меня. На работу меня не берут: говорят плох, и даже маменька от меня ушла. Вся надёжа на тебя, на мою ласковую, жалостливую. Если б не твоя жалостливость, я бы к тебе так не привязался и не надеялся. А по-утру еще подхватил насморк: сопли так и текут вместе со слезами. Вся голова — в полотенцах. Кот и тот на меня не смотрит. А кошка тая, которая тебя видела, когда ты у меня гостила, очень по тебе скучала и позавчера от тоски по тебе издохла. Я ее похоронил в огороде, рядом с капустой. И весь вечер там простоял, под осенним ветром.

Катенька! Если не вернешься ко мне, то и я, наверное, издохну, как эта кошка. И даже крест мне не поставят на могилу.

Все тело чешется, так и зудит, а в мыслях — ты и ты...

До последнего вздоха твой, несчастный Алеша.

* * *

Катя! Катенька! Скоро, скоро я уйду туда, где можно любить одного Бога, а не тебя. Бога, которого мы никогда не познаем, как будто любовь к нему — только скольжение по Его тени. Как холодно! Но я помню, помню тот вечер — я лежал полумертвый, и кровь у меня шла из горла, и дышать было нечем, и я звал на помощь, а ты сидела в соседней комнате, хохотала и целовалась с этим чучелом. Я, помню, говорил тогда, звал: «Катя, Катенька мне совсем, совсем плохо... Любимая моя, приди...» Свой собственный голос казался мне странным и оторванным от меня самого. Точно я разговаривал со своим прошлым нечеловеческим транс-воплощением. Потом дверь открылась и показалось это чучело, которое поклонилось мне и затем подмигнуло. А за его спиной — хохотала ты. Хохотала куда-то ввысь, не замечая нас. Катя, Катя, что ты тогда делала?!

Любимая, ответь. Почему ты ничего не говорила мне об этом существе раньше и почему оно повесилось у меня в прихожей?!! Как потом испугалась моя бедная, маленькая сестренка!! Почему у тебя последнее время стала такая прозрачная кожа, точно ты уходишь на тот свет, в то же время оставаясь здесь?!! Катя, Катенька! Почему у этого существа было столько галош, откуда он их взял? Мне потом пришлось, больному, с кровохарканьем, укладывать их в большой мешок и уносить в утиль-сырье. Только мне и забот перед смертью, что разносить галоши.

Как светит солнце в окно. Как быстро пронеслась жизнь! Хоть бы поцеловать перед концом свое предыдущее воплощение! Может быть в нем я прожил лучшую жизнь. Катюша! Катюша! Ну скажи, что по-настоящему ты любила только меня, только меня. Приди, приди ко мне — приди абсолютно, сверху, приди перед моей смертью. Я чувствую, что от этого зависит моя будущая жизнь.

Михаил.

* * *

Катя, прощай!!!

Виктор.

* * *

Иногда девушка просматривала эти письма, почти не читая их. И только, когда уходила, наглухо закрепляла фортку, словно опасаясь, чтобы кто-нибудь не вылетел в окно за время ее отсутствия.

●

ЖЕНИХ

Пелагея Андреевна Кондратова, суетливая женщина лет сорока пяти, в пуховом платке и обычных очках, потеряла дочку, первоклассницу. Дите было еще совсем неразумное, хоть и вкрадчивое. Раздавил ее на дороге, прямо против окон Пелагеи Андреевны, как раз, когда она пила чай вприкуску и смотрела на Божий свет, начинающий шофер Ваня Гадов. Ваня был очень труслив, никогда не пил и даже боялся ходить в клозет. Лето было жаркое, и он ехал на непомерно большом, точно разваливающийся дом, грузовике в одной майке и трусиках. Ваня думал о том, как он купит себе новые штаны.

Услышав что-то неладное, вроде писка мыши сквозь грохот мотора, он резко притормозил и, с папиросой в зубах, выглянул из кабины.

Дите уже представляло собой ком жижи, как будто на дороге испражнилась большая, но невидимо-необычная лошадь.

Мячик отлетел в сторону, и какой-то пузан, подхватив его подмышки, утекал со своей добычею в подворотню.

Гадов ошалел от страха: он тут же представил себе, как выбегут родители и будут его бить. Сердце прыгало так ретиво, что ему казалось, что оно выскочит через горло.

Отовсюду ему чудились крики. Сорвавшись с места, в одних

трусиках он побежал: скорее, скорее, только чтобы не видеть глаза людей.

Юркнул в подъезд и спрятался в пустующем подвале между старыми комодами.

Везде была тишина; но он всем сознанием своим прислушивался к ней; а не разорвутся ли где-нибудь далеко-далеко вопли.

Между тем на улице были и смех и слезы. Стадо любопытных, еле сдерживая внутренние смешки и пьянящий испуг, обступило мокрый комок и стояло переминаясь с ноги на ногу.

Где-то в углу дюжие милиционеры связывали отца. Ведь он был как ненормальный и мог бы убить кого-нибудь. Мать, лежавшую пластом, отхаживали на лестнице. Рыжая кошка лизала ей пятку.

Санитары из сумасшедшей белой машины совком сгребли остатки девчушки в медицинский мешок и увезли.

Очень скоро на улице стало как обычно, опять понеслись вперед автомобили, проезжая по темному, никому не заметному пятну на асфальте.

Только в доме Кондратовых творился переполох. Бабушка Анастасья совсем потерялась и стала считать полотенца. Откровенно говоря, ей на все было плевать: она так вжилась в собственную будущую смерть, что многое казалось ей естественным. Витя, семнадцатилетний брат покойной — если только можно считать комок покойницей, — так любил играть в футбол, что не понимал различия между смертью и забитым голом. Его еле-еле оторвали от игры в соседнем дворе и привели в дом чуть не за руку, подталкивая. Только Пелагея и ее муж — здоровый, пузатый мужик Петя — были не в себе. Кто-то из соседей советовал Пелагее, чтоб, опомниться и не так переживать, принять слабительное и сходить несколько раз в клозет. «Прочисти желудок, Пелагея, прочисти!» — орала на нее здоровая рыжая баба со щеткой.

На следующий день в доме была мертвая тишина. Бабка Анастасья уехала в Белые Столбы за грибами. Витя сидел у стола хмурый и ковырял в носу.

Родители бродили по комнатам, как тени. Пелагея так ослабела, что не могла есть. Вечером приперся здоровый, розовощекий милиционер.

— Здорово, мать! — заорал он с порога.

Пелагея ничего не ответила, но только мутно посмотрела на него.

Служивый расположился за хозяйским столом, как у себя дома.

— Первое, поймали убийцу, мать, — сказал он, стукнув по стулу. — Сиротой оказался. Если заинтересуешься, приходи к нам... Второе, штраф плати. Твой-то, когда буянил, за нос укусил одного учителя. Нехорошо!

Пошумев, милиционер ушел.

Потянулись скучные дни. Кошмар вошел даже в суп, который они ели. Пелагея точно совсем онемела, и слезы заменили ей слова. Целыми днями она плакала и исчезала из одного пространства в другое.

Петя был сурово-молчалив; Анастасья же сквозь платок с испугом заметила, что он спрятал в комод топор.

Молчание его было столь многозначительным, что Пелагее, хорошо знавшей Петю, казалось, что погибшая Надюша переселилась в него и он ее там в себе хоронит. Его тело казалось ей Надюшиным гробом и оттого — таким молчаливым и таинственным. Она боялась спать с ним в одной постели.

Наконец наступил суд. Ваня Гадов уже находился в тюрьме. Окончательно его добило то, что теперь приходилось спать на жестком. Поэтому он громко, истерически рыдал на суде.

А по ночам — он спал в углу, у параши — ему виделись бесчисленные жалобные свои личики, то появляющиеся, то исчезающие в стене.

Кондратовы, как в тумане, видели во время суда его трясущееся лицо. Но все их внимание было приковано к нему. Прикинув, Ваню посадили на два года. Жалобного, в слюнях, его отправили в лагерь.

А Кондратовы притихли, зажили своей Надюшей. Витя с бабкой Анастасьей, правда, шумели по-прежнему, но теперь в их шум замешался бессознательный мистицизм. Витя даже голы забивал, как все равно молился Господу. А Анастасья, собирая грибы, осторожливо обходила белые.

Может быть, суровое молчание Пелагеи и Пети подавляло их. Бабка Анастасья, бывало, за чаем, дуя в блюдечко, нет-нет, а вздрогнет.

— Петь, Петь, — спрашивала она, — зачем топор-то в комод среди белья положил?.. Ты чего?.. А?

Петя бессмысленно смотрел на нее и говорил:

— Для дела, мать... для дела, — и опять задумывался.

Пелагея часто срывалась с места и убегала в клозет. Оттуда доносилось ее жалобное, похожее не сектантское, пение.

Но вообще звуков было мало. В основном — молчание.

И вдруг среди ночи — Пелагея, теперь принимавшая огромный волосатый живот Пети за Надюшин гроб, спала на отдельной постели, но рядом с мужем, — вдруг среди ночи Пелагея, почуявшая, что муж тоже не спит и думает о том же, о чем она, но по-своему, тихо выговаривала в пустоту:

— Петь, а Петь... а никак Ваня родной... Все-таки Надин убивец... Давай его возьмем к себе на воспитание... Ведь он сирота...

Петя долго, долго молчал. И вдруг в тишине раздался его свист: громкий, длинный, как из трубы.

Больше Пелагея ни о чем его не спрашивала: свист она оценила как согласие.

Недели через две смущенная, раскрасневшаяся Пелагея, хлебнувшая для храбрости сто грамм водки, с ворохом бумаг сидела перед последней инстанцией: ожиревшим, самодовольным гражданином-товарищем. Чин долго не понимал, в чем дело.

— На поруки хотим взять Ваню, на поруки, — рассвирепела наконец Пелагея Андреевна. — В семью убиенной...

— Если только в порядке общественности, — тупо сообразил чин.

— Как хошь, так и назови, — ответила Пелагея.

Чин, потирая жирную шею, соображал, как лучше нашуметь по этому поводу в какой-нибудь газетке. осоловевшими от власти глазами он смотрел на свою руку, подписывающую: «не возражаю».

...А между тем Ване в лагере приходилось не сладко. Больше всего он жалел свой подвижный зад. Одурев от страха и жалости к себе, так что везде на него лезли видения, он начал с того, что стал предавать кого попало, вообразив, что от этого ему будет лучше. Он почти ничего не знал об окружающих его уголовниках и больше фантазировал, чем предавал. Начальство прямо остолбенело от его рвения. Остолбенели даже уголовники.

«Первый раз вижу такого ненормального Иуду», — говорил старый, порыжевший в лагерях каторжник. Уголовники от неожиданности даже не нашлись сразу убить его. А потом, когда

Ваня даже сквозь дурость сообразил, что наделал, то прятался он в уголках, под ногами у начальства, в лазаретах. От страха перед возмездием он все время болел.

Единственным его наслаждением, за которое он судорожно, нравственными зубками, уцепился, было подолгу, присасываясь, испражняться в привилегированной уборной, куда ему — единственная плата за предательство — был открыт доступ и где могли испражняться только свободные люди. Около уборной стоял часовой с автоматом.

...После того как Ване, наконец, сообщили о странной возможности выйти на волю, к Кондратовым, он, ночью, укрывшись с головой под одеялом, поглаживая родной зад, истерически думал: «Не пойду... Убить хотят... Заманить!»

Но после того, как он в полоумно-потустороннем страхе наделал столько нелепостей, предавая других, то, наконец, с большим опозданием холодный рассудок заговорил в нем. Правда, под аккомпанемент трусливого попискивания в сердце.

«Все равно меня тут прирежут, — думал он, размазывая для нежности слюни по животу. — Все равно прирежут... А там черт его знает, как обернется... Сбежать, однако, от Кондратовых не убежишь: ведь берут на поруки только в их семью, будь она проклята... А там черт его знает... Надо хоть мать повидать, поговорить».

Дня через два Ваню отвезли в подходящее место для свидания с Пелагеей Андреевной. Пелагея, когда подходила к месту свидания, думала только о своей Надюше. Наконец, она очутилась в комнате. Ваня вошел туда дрожаще-затурканный, с бегающими глазками и не знал, то ли ему закричать петухом, то ли подпрыгивать козлом. Перепуганный, он сел на скамейку рядом с Пелагеей. Мать убиенной смотрела на него ласково и внимательно. Молчание длилось очень долго.

— Ведь ты любил ее, Ванюша, — вдруг добреньким голоском пропела Пелагея.

Ваня остолбенел и хотел было выжать: «Да ведь я ее и не видел никогда, если только не считать кучки». А ведь кучку, как известно, трудно полюбить.

Но вместо этого Ваня вдруг робко взглянул в глаза Пелагеи и увидел там явно выраженное, тупое доброжелательство. Тогда он тихо выговорил: «любил».

— Я так и думала, сынок, — спокойно и гордо ответила Пелагея. — Поедем в нашу семью.

У Вани слегка отнялась челюсть, и противоречивые мысли гадливо шевельнулись в нем. Он то с испугом, то с надеждой смотрел на нос Пелагеи Андреевны.

«Такая не схитрит», — говорил в нем инстинкт. Он очень выигрывал своим молчанием: ведь с языка его могло сорваться Бог знает что.

— Я подумаю, мам, — дрожащим голосом произнес он последнее жуткое слово и тут же блудливо-испытующе глянул на Пелагею. Та раскраснелась от радости.

— Я подумаю, — произнес Ваня и уходя, протянув длинную руку, схватил с колен Пелагеи узелок с провизией.

Его отвели в какую-то узкую одиночную камеру. Здесь на полу он пожирал пелагеины гостинцы: набивал рот до отказа яйцами вместе с конфетами и сыром... Сердце его радостно колотилось... Инстинктивно, еще не веря разумом, он чуял, что здесь кроется не месть, а что-то другое, непонятное для него, но в общем благополучное... А при виде того, что он опять заключен в мрачную и безысходную клетку, ему захотелось вскочить и завопить: «Я согласен! Я согласен!».

Еще больше сроднясь с самим собой, он в ужасе представлял, что его ждет страшный лагерь, где в каждой темноте нацелен приготовленный для него нож.

«Не хочу, не хочу! — дрожал он. — У Кондратовых-то прежде, чем погибну, хоть отъемся малость да посплю на мягком... А там кто его знает».

В тот же день Ваня дал свое согласие. А Пелагея между тем после свидания с сыном побрела в храм. И молилась так, как может молиться только раз в жизни простой, блаженный русский человек, если его пригвоздит самое страшное горе. Роняла про себя необычные, никогда ей и не снившиеся слова.

— Господи! — говорила она, съежившись на корточках у желтой иконы. — Господи! Не может быть так жисть устроена, чтоб один человек был причина погибели другого... Не может... Ваня не убивец, хоть и убивал... Он только прикоснулся к Надюше и связался с ней раз и навсегда... Тайна, о Господи, их связала... Теперь для меня что Ваня, что Надюша... Таперича Ваня не убивец, а жених, воистину жених будущий Наденьки!

И она коснулась своим легким, полуживым лбом горячего от пота и слез пола.

Наступил день встречи с Ванюшей. Кондратовы всей семьей вылезли на какой-то не от мира сего, пыльный вокзал.

Ваня вышел из поезда с тяжелым чемоданом, осторожно озираясь по сторонам, вобрав голову в плечи.

Пелагея бросилась к нему вперед со сдержанной, чуть застенчивой радостью. За ней с бессмысленным взглядом, остолбенело трусил Петя. Анастасье же, живущей своей будущей смертью, было все одно: приезд убийцы она восприняла как приезд квартиранта или просто как повод для обычной суеты.

Один Витя, чуть отставший, был сконфужен и даже покраснел.

Наконец семейство окружило Гадова.

Ваня, ошалевший от страха и надежд, сразу же громко, на весь вокзал заговорил о погоде. В это время подошли корреспонденты, и после торжественной части Кондратовы с Ваней, закупив водку и закуску, в такси отбыли домой.

Дома за столом было шумно и непонятно. Ваня так перетрусил, что набросился не столько на жратву, сколько на водку. Особенно его пугали бессмысленно-доброжелательные глаза Пети.

Надувшись водки, как воды из-под крана, Ваня таким образом ушел от мира сего.

Непрерывно пил он и следующие дни, опоминаясь только для того, чтобы доползти до бутылки с самогоном и сразу влить в себя самую дикую порцию. И опять, тут же рядом, тяжело и неумолимо засыпал.

Наконец после одного долгого беспробудного сна он очнулся.

Утренние лучи солнца играли у него на лице, и голос Пелагеи Андреевны около него прозвучал: «Сынок, милый, что ж ты пьешь-то, как зверь». Ваня от страха почесался и привстал. Добрые, но уже с сумасшедшинкой, глаза Пелагеи смотрели на него.

Откуда ни возьмись вынырнула большая, в пуху голова Пети.

— Чай, чай надо пить, Ваня, — проговорила голова.

С ужасом Ваня заметил, что над его постелью висит огромный портрет Надюши. Это была действительно милая девочка с доверчивыми ясными глазами ребенка. В ее руках был мяч, тот самый, который под шумок украл толстопузый малыш. Озираясь,

Ваня в одних трусах пошел к столу. Его нелепая трусливая фигура безразлично освещалась солнцем. Прислуживала Анастасья.

Узнав, что Пелагея спала с ним в одной кровати, Ваня чуть не упал.

— Пупок-то у тебя, Ваня, совсем как у Надюши, — сморщенно проговорила Пелагея, прихлебывая чай.

И мутно, чуть остановившимися, влюбленными глазами посмотрела в лицо Вани.

Ваня обмер. Глянул по сторонам. «А может, все в мою пользу», — появилась наглая мысль.

Наконец, все, вроме Анастасьи, разошлись на работу.

Ваня пугливо бродил по дому, и ему казалось, что он все время натыкается на Надюшины вещи. (Пелагея по странности ходатайствовала даже, чтобы перенести Надину могилку им во двор; и место облюбовала: в огороде).

Потянулись легкие незабвенные дни.

— Ешь, сынок, ешь, — говорила Пелагея, пристально вглядываясь в его жующий рот.

По мере того, как Ваня чувствовал, что его не хотят убивать, у него разыгрался аппетит.

Но срывы все-таки были. Правда, Пелагея больше не ложилась в его постель. И пугал-то его больше Петя. Он был совсем смирный, как тень Пелагеи, но травмировал Ваню своим нелепо-бессмысленным доброжелательством.

Аккуратно из каких-то далеких углов приводил Ванюше худых, непонятных блядей. И только иногда Ване становилось совсем нехорошо: когда Петя, как морж, долго вглядывался в Надюшин портрет и потом тяжело переводил глаза на Ваню. При этом Петя неожиданно, враз, всем телом вздрагивал. Но потом опять опоминался.

А Анастасия мимоходом заметила, что топор из комода он выбросил далеко, за помойку.

Сама-то Анастасия относилась к Ванюше просто, по-хозяйственному: иногда даже мыла ему ноги, запросто, как моют тарелки.

И этой же тряпкой говорливо обтирала Надюшин портрет.

Даже Витя, который сначала относился к Ване недоуменно-здраво, чуть изменился и даже приглашал его играть в футбол.

— Хороший ты край, Ваня, — ласково говорил он ему.

Пелагея уже больше не молилась в храме, как тогда; реальность исчезновения Надюши и присутствия Вани была выше молитв. В ее мозгу появлялся образ Надюши, и тут же она переключалась на Ваню, на жениха; он был рядом, он существовал; иногда даже она путала их имена; когда Ваня уходил в уборную, она, по-темному улыбаясь, говорила иной раз в ошалевшее окружение: «А Надюша поссать пошла... Дай ей Бог здоровья!»

И Ваня обычно нервно передергивался, когда Пелагея впотьмах ровным петушиным голосом окликала его: «Надюша, Надюша!»

— Больно здоров Иван-то для Надюши, — усомнилась один раз Анастасия.

Очень любила Пелагея некоторые привычки ванины, особливо как он ел: аппетитливо, выжимая все соки из пищи и урча. Ей казалось, что тем самым он дает жизнь не только себе, но и погибшей Наденьке.

— А вот за дочку, Ванечка, — подносила она ему жирные, в луке, маслящиеся котлеты. — И первый кусок за нее... И второй.

Ваня жадно проглатывал все.

Иногда, расчесывая густые Ванины волосы, искала там Надюшины слезы.

— Много их у тебя, Ваня, — приговаривала она.

Справляли как-то день рождения Ванин. Единственное, что предложил Петя — так он чаще молчал, — это объединить день рождения Вани и Надюши в один.

Пелагея за столом совсем распустилась.

— Ну признайся, Ваня, сукин ты кот, — сказала она, сомлевшими глазами осматривая сына, — ты ведь любил Надюшу... Ну признайся...

Этот день стал переломным. Ваня наглел с каждым часом.

— Ну, конечно, любил! — громко кричал он на весь дом. — Да еще как! — И рвал на себе рубашку.

После этого дня Ваня надел на шею медальон с фотографией Наденьки. Теперь убийца ничего не боялся. И жизнь его пошла как по маслу... Через полгода это уже был настоящий тиран в семье, маленький божок. Везде он паразитировал на Надюшиной гибели, смердел и нередко целовал ее портрет. «Малютка», — называл он ее теперь.

Работать он уже не желал, а хотел, чтобы Кондратовы его откармливали, да получше. С их помощью он приобрел даже

документы о своем якобы слабоумии. И начал жить припеваючи: плечи у него стали сальные, гладкие, как у бабы, ел он до невозможности много и очень часто пьянствовал, сидя с распухшей, жирной мордой в радостно-лихорадочных пивнушках.

И лежа под одеялком, не мог нарадоваться на свою судьбу. А к «малютке» он почувствовал что-то похожее на благодарность и нечто вроде юродствующей любви.

На Кондратовых он уже так покрикивал, что Витя сбег из дому. А когда Пелагея раздевала его, пьяного, в постельку, отмывая блевотину, то он ахал и для строгости вспоминал «Надюшу».

Ее имя стало для него вроде талисмана.

Иной раз он вспоминал ее и во время полового акта, когда вдавливался в пухлую женскую плоть.

Теперь, когда Ваню кто-нибудь спрашивал о жизни, о ее смысле, он всегда отвечал, что мы живем в самом лучшем из миров.

●

ПОСЛЕДНИЙ ЗНАК СПИНОЗЫ

Районная поликлиника № 121 грязна, неуютна и точно пропитана трупными выделениями. Обслуживают больных в ней странные, толстозадые люди с тяжелым, бессмысленным взглядом. Иногда только попадаются визгливые сексуальные сестры, словно готовые слизнуть пот с больного. Но у всех — и сестер и врачей — нередко возникают в голове столь нелепые, неадекватные мысли, что они побаиваются себя больше, чем своих самых смрадных клиентов. Один здоровый, откормленный врач — отоляринголог — плюнул в рот больному, когда увидел там мясистую опухоль.

Вообще люди, непосредственно связанные с больными, имеют здесь особенно наглое, развязное воображение. Те же, кто работает с аппаратурой — рентгенологи, например — наоборот чисты, и на человека смотрят как на фотографию.

Больной здесь — как и везде — загнан, забит и на мир смотрит зверем. В Бога почти никто не верит. А о бессмертии души вовсе позабыли.

В эдакой-то поликлинике работала врачом-терапевтом ожиревшая от сладострастных дум женщина лет сорока — Нэля Семеновна. Жила она одна в комнате, заставленной жраньем и фотографиями бывших больных — теперь покойников.

Внешних особенностей Нэля Семеновна никаких не имела, если не считать, что нередко среди ночи она высовывала голову из окна, обычно с тупым выражением, точно хотела съесть окружающий ее город.

Вставала рано утром и, потягиваясь, шла на рынок. Иногда ей казалось, что она вылезает из собственной кожи. Тогда она сладостно похлопывала себя по заднице, и это возвращало ей субстанциональность. Окинув рынок мутным, полудиким взглядом, Нэля Семеновна набирала в огромную сумку курей, моркови, картошки, репы. По возвращению с рынка ей всегда хотелось петь.

Пожрав, для начала обычно в клозете, Нэля Семеновна собиралась на работу. Если на душе было добродушно, она шла, покачиваясь в самой себе, как думающая булка, и поминутно глядела на витрины; если ж наоборот: душа была в шалости, она шла вперед с трупным, внутренним воем, который, разумеется, никто не слышал.

Если ж, наконец, какая-нибудь мысль сидела в ее голове гвоздем, надолго и мертвенно — она была покойна тихим, диким спокойствием слона, изучающего стереометрию. В эти минуты она допускала, что ее на самом деле не существует.

Нередко, раскинувшись своей обширной, наверное, с тремя сердцами, задницей в мягком кресле, она ворочалась в нем, как в мире.

Больной почему-то лез к ней уже полумертвый и она, скаля зубы, с радостью ставила смертельный диагноз. Просто от этого ей было легче на душе, солнце светило расширяюще веселей, и она словно каталась в представлениях о смерти, как кругленький сырок в масле.

Гнойно изучала жизнь смертельного больного, его привязанности. Сколько людей прошло за всю ее жизнь! Бывало зайдя в свой ярко-освещенный, солнечный кабинет, она первым делом выпивала бутылку жирного кефира, чтобы ополоскать

внутренности от всех смертей. Затем, похлопывая себя мыслями, принимала больных. Вонючий пот не мешал ей думать.

Особенно доставляли ей удовольствие молодые, дрожащие перед смертью. Их жизнь казалась ей ловушкой. И выстукивая, прослушивая такого больного, она с радостью — своими потными, сладкими пальчиками — ощупывала тело, которое может быть уже через несколько дней будет разлагаться в могиле. Вообще почти всю свою жизнь Нэля Семеновна думала только о смерти. Думала об этом во время соития, когда жила с черным, вспухшим от водки мужиком, думала, когда жрала курицу, думала, когда от страха перед раком чесала свое студенистое, жидкое от себялюбия тело. Единственно, о чем она еще могла думать «логично», то только об этом, на все остальное же она смотрела как на галлюцинацию.

Для жизни она была тупа, а для смерти гениальна, как Эйнштейн для теории относительности. «Меня не обманешь», — часто говорила она кошке, пряча свое жирное лицо в подушку.

За многие годы дум о смерти у нее сложилось такое представление. С одной стороны ей казалось нелепым, что со смертью все кончается. «То, что мы видим труп, — это факт, — нередко повторяла она про себя. — Но это факт такого же значения, как тот, когда люди в древности видели вокруг пространство, разумеется, «плоское», и отсюда заключали, что вся земля плоская. Мало ли было таких видений. Ведь то, что мы видим, только жалкая часть всего мира».

С другой стороны — все представления о загробном казались ей высосанными из земной жизни, из теперешнего сознания. Она не верила в то, что будет загробная жизнь, но не верила и в то, что после смерти ничего нет.

Зато она чувствовала, что после смерти будет такое, что не укладывается ни в какие рамки, ни в какие правила или супергипотезы.

«Это» — так она называла то, что будет после смерти — нельзя назвать загробной жизнью или как-нибудь иначе; «это» — вообще никак нельзя было назвать на человеческом языке; ни существованием, ни небытием; ни до рождения, ни после смерти... То ли ужас перед ничто нагнал на нее эти предположения о «той» жизни и они были лишь отражением этого ужаса; то ли наоборот этот ужас пробудил в ней инстинктивное виденье истины, дал

толчок интуиции; то ли просто она была очень догадлива — рассудит сама смерть, но это представление о непостижимом после смерти так расшатало ее сознание, что она, и кстати, совершенно последовательно, стала видеть как неадекватное и обрамление смерти, то есть саму жизнь. (Ведь понимание последней целиком зависит от понимания первой). Ей даже казалось, что чем бессмысленнее — и вне обычных рамок — она видит мир и себя, тем ближе она к Богу и к истине послесмертного бытия.

Однажды Нэля, совсем очумевшая от мира, который она рассматривала как придаток к смерти, с трудом приплелась к своему врачебному кабинету. В коридоре была уже тьма-тьмущая народу, причем половина из них — полуумирающие. Эти последние были особенно наглы и активны: норовили влезть вне очереди, стучали кулаками по запертой двери, кусали друг друга.

Более здоровые смущенно сторонились по углам. Гаркнув на больных, Нэля с трудом установила очередь. Потом заперлась в кабинете, и, чтоб скрасить себе существование, проонанировала перед медицинским зеркалом. Только стук больных, вконец потерявших терпение, привел ее в чувство.

Охрипшим голосом Нэля зазвала первого. Это был смрадный, полуразрушенный пожилой человек, переживший раньше двенадцать ножевых ранений в лицо. Запугав его медицинскими терминами, Нэля Семеновна избавилась от больного. Второй была сухонькая старушка с бантиком на голове, пришедшая сюда со скуки. С ней Нэля занималась долго: позевывая, прощупывала сердце, сосуды, упомянула о заднем проходе. Старушка ушла, оставив в качестве гонорара десять копеек. Затем показалась дама с дитем.

— Если вы, мамаша, будете так переживать из-за того, что ваше дите все равно помрет, вы еще раньше его загнетесь, — разнузданно встретила Нэля Семеновна мамашу.

Она знала, кому из клиентов терпимо говорить святую правду-матку.

Мамаша так запуталась в предстоящей смерти своего дитя и в своей собственной, что разрыдалась. Приговоренное дите между тем не среагировало: весело, точно оно уже было на том свете, дите носилось по врачебному кабинету, гоняясь за лучами солнца.

Обалдев, Нэля Семеновна выперла бессмысленных. Заглянула в коридор.

«Батюшки, сколько их!» — ужаснулась она. Полуумирающие лезли друг на друга, надеясь на Нэлю Семеновну, как на эдакое сверхъестественное существо.

Только один, очень начитанный, жался в угол: он был шизофреником и боялся, скончавшись, перенести свое шизофренное сознание на тот свет.

«Только бы не быть там шизофреником», — думал он.

Плюнув на пол, Нэля Семеновна опять восстановила очередность. В кабинет влетел серенький, помятый, плешивый человек с дегенеративным лицом и оттопыренными ушами.

— Требую к себе внимания! — заорал он, усевшись на стул перед Нэлей Семеновной.

— Почему? — спросил врач.

— Потому что я — Спиноза, — завизжал человечек, вцепившись руками в угол стола. — да, да, в прошлой жизни я был Спиноза... А теперь у меня почти не работает кишечник... Я требую, чтоб меня отправили в самый лучший санаторий.

— А ну, загляну-ка я ему в горло, — подумала Нэля Семеновна. — Раскройте-как рот. Вот так.

И она с интересом заглянула в глубокое горло жалующегося. Когда кончила, больной тупо уставился на нее.

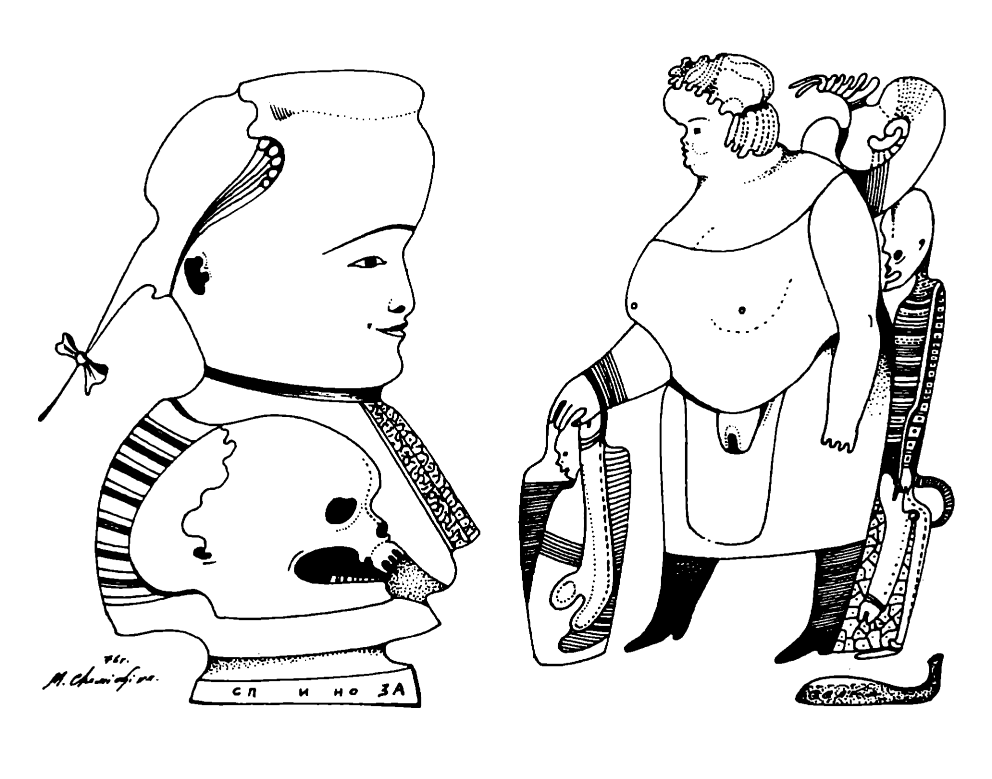
— Я повторяю... Я был Спиноза... Спиноза... Спиноза, — брызжа слюной, закричал человечек.

— А может, и вправду был, — трусливо мелькнуло в уме Нэли Семеновны и под задницей у нее что-то екнуло. Молча она сняла трубку телефона, набрала номер Центрального Управления санаториев, но сразу договориться было невозможно. В трубку что-то шипели, возражали, убеждали повременить, ссылались на какие-то директивы. Спиноза между тем, тихонько присмирев, сидел в углу.

Нэля Семеновна запарилась, обзванивая различные учреждения. Наконец, злобно взглянула на человечка.

— Не может быть, чтобы такой идиот был Спинозой, — раздраженно подумала она. — Где, в конце концов, доказательства?!!

Устало она положила трубку. Человечек опять нервно засуетился.


сп и но за

— Вы мне не верите, — с ненавистью выдавил он, глядя на Нэлю. — Все вы такие здесь на земле скептики.

Он вдруг вскочил с места, и, подойдя к Нэле Семеновне, наклонившись, стал что-то шептать ей в ухо.

— Ни-ни, — проговорила Нэля Семеновна, раскрасневшись, — ничего не понимаю, — и помотала головой.

— Ах, не понимаете! — злобно вскрикнул человечек, побагровев от негодования. — Ну, а это вы, надеюсь, поймете, — он забегал по кабинету и вдруг резко распахнул рубашку.

Вся его грудь была в татуировках: но среди обычных, блатных, вроде «не забуду мать родную», выделялся огромный мрачный портрет Спинозы, причем, в парике. Нэле даже показалось, что Спиноза на этом портрете странно вращает глазами.

— Ну, что ж, и теперь не верите? — ухмыльнулся человечек, глядя на врача.

— Не верю. Вот переспите со мной, тогда поверю, — вдруг похотливо выговорила Нэля, сразу спохватившись, как такое могло вырваться из ее рта.

Но человечек не выразил удивления.

— Ну, что ж, это я могу, — миролюбиво согласился он, наклонив по-бычьи голову. — Только у вас дома.

— Прием окончен, — произнесла Нэля, высунув голову в коридор к больным.

...А через час, мерзко извиваясь мыслями в высоту, она, потная, валялась в постели с голым Петром Никитичем (так по-своему называла она больного, стесняясь окликать его Спинозою. Человечек добродушно согласился, что в этой жизни его можно называть и Петею). На расплывшемся лице Нэли было написано довольство.

— Наглый ты, все-таки, Петя, — почесывая ему член, говорила Нэля Семеновна, — уверяешь, что был Спинозой. В ухо чего-то шепчешь. Тоже мне, доказательство! Или его портрет на грудях нарисовал! Ну и что ж из этого?! Может, ты приблатненных этим пугаешь.

Петя снова только-только собирался залезть на Нэлю Семеновну, но такое недоверие обидело его.

Покраснев, он соскочил с постели и с озлобленным личиком забился в уголок. Он угрюмо молчал, не удостаивая Нэлю возражениями. Последняя, внимательно вглядываясь в его, чуть


РАБ ХРУЩЕВА
НЕ ЗАБУДУ
РОДНУЮ
M. Chemiakine 76.

оттененное мыслью, дегенеративное лицо, не понимала, отчего у Петра Никитича такая уверенность: то ли это было просто внутреннее убеждение, то ли он знал какие-то тайны.

— Да ведь ты, Петя, — идиот, — проговорила наконец Нэля Семеновна, обглядывая его, — как же ты мог быть Спинозою?

Петр Никитич прямо-таки взвился: выгнувшись, как ученая гадюка, он подскочил к кровати; тусклые глаза его светились.

— А про нравственную гармонию забыла, про закон справедливости, — пробормотал он. — В прошлой жизни я был Спиноза, а теперь — идиот... Для нравственного равновесия, для гуманности. Не слишком было бы жирно, если б я и теперь стал Спинозою? Зато тогдашний какой-нибудь кретин сейчас небось... эдакий... как его... Жан-Поль Сартр...

Нэля расхохоталась. Пугливо-дегенеративное лицо Петра Никитича повернулось в угол.

— Откуда ты все это знаешь? — колыхаясь телом, изумилась Нэля Семеновна. — Вот уж не подумаешь... Хотя в тебе действительно есть что-то подозрительное. Ну, иди, иди ко мне, мой Спиноза! — и она протянула к нему свои пухлые, потные руки.

Вечер прошел благополучно.

На следующий день за завтраком, прожевывая здорового сочного кролика, чье мясо удивительно напоминало человечье, Нэля, после долгого молчания, проговорила, плотоядно ворча над костью:

— Ты что, действительно веришь, что в мире есть справедливость? ...А как же этот кролик? Может быть, ты скажешь, что он тоже когда-нибудь станет Спинозою?

Лицо Петра Никитича вдруг нахмурилось и приняло умственно-загадочное выражение.

— Я был, конечно, односторонен тогда, Нэля, — просто сказал он. — Но не думай, что я, как все эти, верущие, понимаю только нравственность, забывая о познании. Наоборот, я убежден, что именно в познании ключ к нравственности. Когда мы действительно познаем потустороннее, когда спадет пелена и мы увидим, в каком конкретном отношении находится наша земная жизнь — эта малая часть великого — ко всему остальному, то, естественно, все наши представления изменятся, и мы увидим, что зло — это иллюзия, и на самом деле мир по-настоящему спра-

ведлив... Да, да... И этот самый кролик, которого ты так сладко пережевываешь... Да, да... Не смейся... И его существование будет оправдано... Ведь на самом деле он не просто кролик... И кто знает... Может быть, он когда-нибудь и будет этаким... даже Платоном.

Петр Никитич поперхнулся. Кусок кролика застрял у него в горле, и он долго откашливался, пока кусок не прошел в желудок. Нэля утробно рассмеялась: эти речи в устах такого идиота, как Петя, поражали ее, словно чудо.

— И все-таки, ты печешься о нравственном законе, — начала она, — пусть и путем познания, а не этой слабоумной... любви. Но почему ты уверен, что, когда спадет пелена, все окажется таким уж благополучным. Допустим даже, что земное зло — кстати, очень наивное, — как-то разъяснится, но зато может открыться новое зло, более глубокое и страшное... Неужто уж тебе не приходило в голову, что добро и зло — второстепенные моменты в мире, сопутствующие проблемы, а высшая цель — совсем в другом, более губоком... Эта цель связана с расширением самобытия, самосознания...

Нэля встала, вдохновленная своей речью. Глаза Пети горели, как у факира, и Нэля мельком подумала, что, может быть, Петя действительно был в свое время Спинозой. Это еще больше распалило ее. Она продолжала:

— И даже, если проблема добра и зла разрешится в пользу добра, то с точки зрения мирового процесса это совершенно второстепенно... Неужели ты думаешь, что у высших сил нет более глубокой цели, чем счастье всех этих тварей? Неужели мы должны судить о высшем по себе, вернее, по явном в нас?..

В конце этой тирады Нэля вдруг заметила, что Петя опять подурел. Его взгляд потух, лицо приняло придурковатое, выдуманное выражение; он начал хихикать, пускать слюни... и наконец, запел советские песни. Нэля еще не могла прийти в себя от выглядывания в Петре Никитиче эдакого духовного существа, как он уже полез ее лапить. Скорее даже ее задницу, причем, совершенно абстрактно.

День закончился полусумасшедшим путешествием в кино.

А следующие дни пошли, как в поэме: весело, придурочно и неадекватно. Петя совсем позабыл о санатории.

Обрызганный своими эмоциями, как мочой, он скакал по

комнате, пел песни и все время упирал на нравственную гармонию, что де, хотя сейчас он идиот, но зато раньше был Спинозою и наверняка еще им будет. Это очень умиляло его, и часто Петя, усевшись на кровати, спустив ноги, бренчал по этому поводу на гитаре.

Нэле он нравился именно как идиот. И еще ей было приятно сознание того, что ее дерет самый настоящий олигофрен, как будто сперма от этого становится чернее и наслаждение крепче. Нэле казалось, что ее окружают невидимые родившиеся от нее мальчики-идиоты.

Для умиления и для грозности она — во время врачебных обходов — брала с собой Петра Никитича к домашним больным. Тем более, что Петя всем своим видом и нелепыми высказываниями вселял в больных уверенность в устойчивость загробного мира.

Один мужичок даже выбросил из окна все религиозные предметы, заявив, что у него теперь только один Бог — Петр Никитич. Другой — радовался Пете, как отцу, и хотел как бы влезть в его существование. Даже умирающее дите ласково улыбнулось Петру Никитичу и радостно подмигивало ему глазком; особенно, когда Петя, дикий и нечесаный, стоял и мутно глядел в одну точку. Только одну старушку-соседку Петя не мог ни в чем убедить; старушка уже помирала, но вместо того, чтобы молиться, держала перед собою старое зеркальце, в которое ежеминутно плевала.

— Вот тебе, вот тебе, — приговаривала она, глядя на собственное отражение. — Тьфу ты... Хоть бы тебя совсем не было.

Оказывается, старушка вознегодовала на себя за то, что она — как и все остальные — подвержена смерти.

Умерла она самым нечеловеческим образом. Задыхаясь, приподнявшись из последних сил, она гнойно, отрывая от себя язык, харкнула в свое отражение; харкнула — упала на подушки — и умерла...

А Нэля не могла нарадоваться на такие сцены; ее сознание пело вокруг ее головы, употребляя выражение теософов; она позабыла обо всем на свете, даже о своем экзистенциальном чревоугодии.

А отходящих вдруг выдалось видимо-невидимо: в районе, в котором лечила Нэля Семеновна, люди стали умирать друг за

дружкой, точно согласованные. Раскрасневшаяся, с разбросанными волосами, Нэля Семеновна с бурной радостью в глазах носилась по своим домишкам, как ожиревшая бабочка. Последнее время уже одна, чтобы ни с кем не делиться своим счастьем.

У нее даже появилась привычка щипать умирающих или дергать их за руку, якобы для лечения.

А нравственно — после этих посещений — она все вырастала и вырастала... но куда, неизвестно... Во всяком случае — внешне — она стала писать стихи, очень сдержанные, по латыни.

Но одна страшная история напугала ее. Петр Никитич исчез. На столе лежала записка: «Уехал в Голландию».

«Прозевала, прозевала, — мучительно подумала Нэля Семеновна. — Из-за моего увлечения умирающими... Он не вынес равнодушия к себе. Ушел».

И она осталась одна — наедине со смертью.

●

НЕ ТЕ ОТНОШЕНИЯ

Милое, красивое существо лет двадцати двух Наденька Воронова никак не могла сдать экзамен по сопромату.

Преподаватель Николай Семенович все отклонял и отклонял.

Наконец, извинившись, просрочив все на свете, Наденька решилась в последний раз. Свидание состоялось в неуютном, полутемном закутке, около аудитории. Взяв билет, Наденька заплакала. Николай Семенович, солидный, женатый мужчина лет около сорока, посмотрел на нее холодным взглядом.

— Вот что, Наденька, приходите ко мне в субботу в восемь часов вечера. Я буду один. Вы меня поняли?

— Да, — как-то неожиданно тупо и даже согласно пролепетала Наденька.

— Запишите мой адрес.

Надя сама не понимала, что делает. Однако же ко всему этому она была фрейдисткой и верила во Фрейда, как в своего отца.

В субботу ровно в восемь часов она была у преподавателя.

— Вы один, Николай Семенович? — жалобно спросила она.

— Да, один. Ни жены, ни детей нет.

— Николай Семенович, — заплакав, ответила Наденька, — я вас понимаю... Что тут можно сделать!! — всплеснула она руками. — Вы неудовлетворены женой...

— Ну-те, ну-те! — пробормотал Николай Семенович.

— Но знаете, — робко вставила Наденька, — ведь всем известно, что в этом случае лучше всего помогает огородничество. Огородничество прекрасно компенсирует сексуальную неудовлетворенность.

— У меня все наоборот, — сердито возразил Николай Семенович, — именно, невозможность заняться огородничеством я компенсирую половой жизнью с супругой. Но учтите, что ни огородничество, ни супруга не имеют к нашим отношениям ничего...

— Так что же вы от меня хотите? — вспыхнула Наденька.

— Наши отношения будут более серьезны. И в некоем роде странны...

— Странны?

— Да, — ледяным голосом ответил Николай Семенович. — Но учтите, Надя, ни вашему здоровью, ни вашей психике не будет причинено никакого ущерба. Вы согласны?

— Да... Если так.

— Зачетка при вас?

— Угу.

— Ну так раздевайтесь, милочка.

— Насовсем? — пролепетала Наденька.

— Насовсем, — сухо ответил Николай Семенович.

Наденька разделась.

— Пройдемте в эту комнату. Так, — вдруг как-то непонятно, не глядя на голую Наденьку, проговорил Николай Семенович. — Видите эту кровать? — резко спросил он. — Помогите мне передвинуть ее в центр.

Наденька, опостылев самой себе, стыдясь лунного света, помогала. Николай Семенович, однако ж, был очень строго одет, даже строже, чем бывал на кафедре.

С трудом кровать передвинули.

— Кота уберите, — приказал Николай Семенович.

Наденька вынесла кота на кухню.

— Настольную лампу перенесите в угол. И слегка притемните. Вот так. Все стулья вынесите на кухню. И чернила тоже унесите.

— Что-то теперь будет?? — остолбенело подумала Наденька. В душе она была чиста и, кажется, была еще полу-девушкой.

— Ну-те, ну-те, — так встретил ее Николай Семенович, когда она вошла в комнату.

Странно, что он почти совсем не бросал взгляда на ее вполне адекватную фигуру.

— Николай Семенович, ради Бога... — заплакала Наденька.

— Ничего, ничего, милочка... Я же вам сказал, ничего страшного не будет. Только не дрожите так.

— Что мне теперь делать?! — трагически воскликнула Наденька.

— Ложитесь на кровать. Так, как есть. И ничем не накрывайтесь.

Наденька тупо легла на огромную, двуспальную постель. Почему-то вспомнила кота, который мяукал в закрытой кухне.

— Ну-с. Ну-с. Итак, на меня не обращайте внимания. Лежите на постели и каждую минуту вскрикивайте: «Ой, петух! Ой, петух!»

— Николай Семенович!

— Что «Николай Семенович»!? делайте, что вам говорят! Лежите и вскрикивайте «Ой, петух!»

— Николай Семенович!

— Надя, — ледяным голосом повторил Николай Семенович. — Я сказал все.

— Ой, петух! — робко, с каким-то даже молитвенным оттенком воскликнула Наденька.

Ответом была гробовая тишина.

— Ой, петух! — повторила Надя, закатывая глаза. Почему-то в стороне ей показался чей-то лик, но опять же вверх тормашками.

— Ой, петух! — почти дурашливо выкрикнула она в третий раз.

— Надя, — тяжелым, гипнотическим голосом проговорил где-

то сбоку Николай Семенович. — Не кривляйтесь. Говорите четко и спокойно, через каждую минуту «Ой, петух!.

Душа Наденьки оледенела. Равнодушная даже к своей груди, она начала выкрикивать эти глупейшие слова. Они звучали в пустоте, как стон святого, отлученного от Бога. Прошло несколько мгновений. Наденька робко взглянула, что же все-таки делает Николай Семенович. Оказалось, Николай Семенович всего навсего с важным и надутым видом (важнее, пожалуй, он никогда не был) равномерно, строго и чинно, в черном костюме, ходит вокруг кровати. Наденька обомлела. Великолепна же была эта сцена, когда почти профессор, не удостоив даже взглядом голую студентку, сумрачно, как ученый кот, попыхивая трубкой, ходит вокруг постели, без всякого намека на сублимацию, а голая Наденька то и дело выкрикивает в пустоту: «Ой, петух! ой, петух! ой, петух!».

Наконец, минут через двадцать Николай Семенович глянул на часы так, как будто занавес опустился.

— Ну вот и все, Наденька, — равнодушно проговорил он, даже чуть позевывая. — Одевайтесь.

— Ого! — только и воскликнула Наденька.

Через несколько минут она была на кухне, одетая. Николай Семенович мирно, за бедным столом, попивал чаек с сухарями.

— Ну как? — спросил он, воткнув в нее тусклый взгляд.

— Ничего, — испугалась Наденька.

— Ваша зачетка?

— У меня в бюстгальтере, — окончательно запуталась Наденька.

— Угу, — ответил Николай Семенович.

Счастливая, с пятеркой в графе, Наденька, оправляясь, поползла к выходу.

— Одну минуту, Надюша, — мрачно сказал Николай Семенович. — Можно встретиться с вами у памятника Гоголю в среду в 18.00?

— Да, да, — пробормотала она.

— Разговор будет еще более серьезный и глубокий, чем то, что было сегодня.

— Ага, — ответила Наденька.

В среду, ровно в 18.00, почти чиновничья фигура Николая Семеновича чернела у памятника Гоголю. Наденька, верная какому-

то непонятному чувству долга, заметила его издалека.

— Вот что, Надя, — сжав трость и даже несколько побелев, выговорил Николай Семенович, когда они уселись на скамью, — можете ли вы, раз в полгода и в дальнейшем приходить ко мне и в точности повторять то, что было?

— Но Николай Семенович!

— В чем дело!!

— Николай Семенович! Но почему бы вам не попросить жену совершать это?

— Не те отношения, — сухо ответил Николай Семенович.

— Поймите, Надя, — проговорил он потом, и Наденьке показалось, что волосы его поседели, — для меня это вопрос жизни и смерти. Мне неудобно предложить вам плату за этот сеанс, это оскорбило бы вас, меня и вообще все в целом... Прошу вас согласиться только из уважения ко мне... Повторяю, для меня это вопрос жизни и смерти.

— Ну, раз это касается смерти, — вдруг заплакала Наденька, сама не понимая, что говорит, — я согласна.

С тех пор, каждые полгода, Наденька приходила домой к Николаю Семеновичу, молча раздевалась, передвигала кровать в центр, ложилась на нее и дико выкрикивала «ой, петух! ой, петух!»; Николай Семенович же, строгий и подтянутый, без малейшего лишнего движения многозначительно ходил вокруг нее, ничего другого не делая.

Промежду этих контактов они нигде не встречались и вообще не обменивались даже словом по телефону.

Так прошло много лет; прогремели войны; большинство ушло в лучший мир; осиротело сознание. Наденька счастливо вышла замуж, родила детей, была вся в хлопотах и жизнерадостности; но «сеансы» не прерывались ни на один раз.

Наконец, Наденька стала солидной, высокопоставленной дамой с собственной машиной и выездом на дачу; Николай Семенович же стал старичком; однако ж, симбиоз продолжался, история все тянулась и тянулась...

Умилителен же был вид Надюши, когда она, пышнотелая, респектабельная супруга, голенькая, точно молясь сумасшедшему идолу, выкрикивала в пустоту: «Ой, петух! Ой, петух!». Николай Семенович же был по-прежнему невозмутим и, весь в седине, оторопело шагал вокруг кровати, опираясь на палку.

А однажды Николая Семеновича не стало... Наденька повесилась ровно через три дня после того, как случайно узнала об этом, у себя дома, на рваных чулках своей дочери.

●

ГОЛОС ИЗ НИЧТО

Дело это давнее, малодоступное, поэтому теперь, когда меня не существует, я могу рассказать обо всем по порядку.

Начну с того, что я с этого летнего утра начал почти беспрерывно жрать. Сначала одну котлетку в рот окунул, потом другую... И казалось мне, что перевариваю самого себя... Под конец я две банки коричневого соуса съел. Съел, прикорнул на подоконнике и подумал: «Слава те Господи!»

Раздулся я в общем и ничего в себе не чувствовал. Потом, пошатываясь, вышел на улицу.

Мир как-то до странности отупел, точно движения приобрели олигофреническую направленность. Я и мороженое кушал как-то пугливо — ненормально, и оберточная бумага прилипла к моим губам. Я так и шел с ней, как с трепыхающимся продолжением губы.

В уголок помочиться зашел, на алмазы драгоценные за витриной глядел. «И откуда такое сияние», — удивлялся я.

Не разбирая сам как, что, да почему, я оказался за большими домами. Окон на них в вышине видимо-невидимо, и все поблескивали точно со значением.

Ну там опущу всякие гадости, только за помойкой и трубой, идущей из земли, увидел я сытого грязного человека, который валялся на земле. Одежонка на пузе его была распахнута, так что живое показывало свой вид. Волосье на нежной черепной коробке было беспорядочно и напоминало мелькающие тени. Человече не то был пьян от водки, не то от трезвости ума своего, но

поминутно рычал, слегка пассивно катаясь по земле. Тайное, в скорлупе тупости моей, тихо шелохнулось.

Тронул я незнакомого калошей, чтоб он привстал. Незнакомый присел, опираясь на задницу свою, как на гнездо. Пошарил вокруг себя рукой, уставившись на меня мутными, не простыми глазами.

— Кто вы? — строго спросил я.

— Ангел, — ответил незнакомец. — Небожитель я...

Опущу здесь некоторые знамения, подтверждающие его слова, но потом пошли мы с этим небожителем в подвал, что напротив.

— Как же вы так опустились? — ужаснулся я, глядя на него.

Вид его, выражающий внутреннее, был действительно дик и ничем не радовал глаз. Даже виднеющееся голое тело висело телесными лохмотьями. А башка почти совсем не варила. Первое время он просто мычал. Но потом мы наконец разговорились. И все сразу стало до удивительности мрачно и серьезно.

— Отчего у меня такой гнусный вид, — начал Ангел, поминутно рыгая и прополаскивая горло какой-то вонючей жидкостью, — вам будет понятно, если только я вам расскажу об устройстве всего творения... Должен сказать, что я был не просто ангелом, а еще более великой самосущностью — метагалактическим сознанием — и, можно сказать, почти созерцал Абсолют, или, попросту говоря, Главнокомандующего, Самого... Хе-хе... Так вот, о главном припципе мира сего... Да, кстати, может, испражнимся? — блудливо-непонятно спросил меня Ангел.

Мы присели в углу у ящиков с разбитыми, как головки, лампочками, и он продолжал:

— Весь бредок в том, что Абсолют, в котором заключено все высшее сознание, как вам сказать... скучает... Не то слово... Скажем просто: от полноты абсолютного бытия своего стремится к своей единственной противоположности, к абсолютному Нулю, к Ничто, которое притягивает Абсолют, как единственная реальность вне Его. Заметьте только, что я объясняю только ту причину стремления Абсолюта к Нулю, которая вам, человекам, доступна. Итак, самоуничтожение — единственный вид деятельности для Абсолюта: зная все, Он стремится к сладостному исчезновению, но так как сразу перейти от полного-то бытия к нулю весьма и весьма загадочно, немыслимо даже для Творца, то... Ангел на минутку запыхтел, — то... Его чудовищное стремление к самоуничтожению выражается в том, что Он по-

стоянно отчуждает, низводит Себя на низшие ступени духа, сначала низводит до уровня метагалактического сознания, потом все ниже и ниже, с трудом, по порядку, так степенно, наконец, появляемся мы, ангелы, потом вы — человечество, а отсюда недалеко и всяческих вшей и минералов. А вши и минералы — это уже всего-навсего гаденькое, мутное полуощущение; почти конечная цель Творца; почти Ничто; но до полного небытия дойти... не так просто; тайна сия велика есть... тяжек, тяжек путь к Ничто... Анти-Голгофа... И сам акт творения, и его результат: мир, как вы видите, всего лишь средство для Творца, чтобы покончить самоубийством, истечь через творения Свои в Ничто...

Между тем, мы уже кончили испражняться и уселись у подвального окна, еле выходящего из-под земли, так что мир, виденный оттуда, был вполне дефективен: мы видели только беспричинные ноги проходивших мимо людей и обособившуюся у окна травку.

— Творцу, — продолжал Ангел, — трудно прийти к своей цели еще потому, что каждая отчужденная ступень Его творения (даже метагалактическое сознание) уже не является Абсолютом, а, имея в себе только часть Творца, испытывает в бреду души своей по Нему томление и стремится опять вверх, к Абсолюту. И таким образом в творении действуют две великие и противоположные силы: одна сила — тайна творца, истинная, стремится к своей погибели; другая — вздох каждой твари, ее стремление, возникающее из недостаточности, вверх, к более высшему существу. Но низшее все равно с трудом достигает высшего; и даже если возмечтать, что какая-либо о себе мнящая тварь, пройдя все ступени, сольется с Абсолютом, то, будучи с Ним слита, опять почувствует, как в замкнутом круге, стремление вниз, к Ничто...

Ангел немного примолк и посмотрел на окружающее так, как будто все было предназначено для его речи. Поганая кошка заглянула к нам в разбитое окно.

— Вы, людишки, — умиленно, но мутно предчувствуя в себе визг, продолжал Ангел, — полагаете, что Творец, дескать, создал сначала низшее, амебное, а потом это развилось до высших форм; это вам так кажется по химеричности времени; а по сущности — наоборот; не человек «произошел» от обезьяны, а напротив, обезьяна — от человека; и так дальше вниз — до клопа, вши, до червя... Правда, это не значит, что творение всегда происходило

в такой временной последовательности, но по сущности — всегда. Или... Ну, впрочем, дальше вам все равно не понять... Спонтанный закон деградации — вот знак Бога, — вдруг завизжал Ангел, — ибо Творец, — самоубийца; и мир этот еще существует только потому, что стремление Бога к самоуничтожению уравновешивается отчаянной жаждой тварей — мутных частиц Его самого — подняться обратно вверх; и таким образом в мире поддерживается относительное равновесие; равновесие, позволяющее только существовать, а отнюдь не гармония... Гармонии — нет, не было и быть не может! — забрызгался Ангел, покраснев от злобы.

Хорошо помню, что во время этих речей я стал чуть приплясывать на одном месте.

— Продолжайте, продолжайте, — утробно бормотал я.

— Так вот, — осклабился Ангел, — когда я, еще будучи метагалактическим сознанием, проник в тайный закон Творца, понял, что стремление вверх — иллюзорно, что мы в клетке, я страстно захотел исполнить этот божественный закон деградации, приобщиться к всеобщему, слиться, можно сказать, с единственным желанием Абсолюта; войти в него... Вы, наверное, понимаете, плясун, что индивидуальное самоубийство бессмысленно, даже для вашего племени, оно — просто иллюзия. Нужно было следовать по пути родового самоубийства, то есть, неумолимо превращаться в низшие по уровню существа, вниз по эволюционной лестнице... Ну, так вот... С помощью эзотерических тайн, выполняя волю Божью, я стал деградировать... Туда-сюда... Туда-сюда... Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Был я и Ангелом... И вот теперь я — человек, перед вами, — и Ангел плюнул мне в лицо. — Только не пляшите, это действует на мои нелепые нервы... Я и ряд тайн эзотерических сохранил, чтоб дальше идти... Моя интимная мечта, — причмокнул он, наклонившись к моему демонически развеселившемуся личику, — превратиться в свинью. Жирную такую и вонючую. И жрать собственных поросят... Это от метагалактического сознания до свиньи... Недурен путь... а? — закончил он.

Тайное, отдалив тупость мою, нарастало. Я весь как бы раздулся в тайну во плоти и оттого вспотел. Глазки мои невидимо-черно блестели, сердце выстукивало самое желанное.

Теперь уже я мог проявиться вовне и сам пощупать своего дружка.

— Скажите, — понятливо выговорил я, — а не вы один, наверное, там, наверху, воззнали замысел творца?... Как там сами?!...

— Конечно, конечно, — захихикал человечек, — некоторые уже давно превратились в клопов или в бабочку-однодневку... Великие были личности, оттого так далеко и пошли.

— Я так и знал, — засмеялся я, содрогаясь. — Пойдемте к свету... Ну его, подвал... Чего-то страшно стало.

Мы вышли на свет. Кругом не было ни души. Одни только мертвые здания, выпустив людей на работу, переговаривались окнами... Да торчала труба у помоек.

— Так вот, — захлебываясь, начал я, — теперь я о себе буду говорить. Я, конечно, не был осведомлен, что наш Творец, — самоубийца и весь наш тварный мир не что иное, как безграничный, спонтанный акт самоубийства творца. Но знайте, что независимо от всего этого, — мне захотелось почему-то впиться в жирную морду деградирующего Ангела, — независимо от всего, я из своих личных мыслей и пакостно-омерзительных желаний уже давно стремился к самоуничтожению, к полному нулю... И знаете почему: всю жизнь, еще с детства, когда я был маленьким истеричным садистом и жалким насекомым, меня жгла злоба... Неистовая злоба из-за того, что я — не Бог. Я вырос в очень нежной, откормленной семье: все мне потакали; няньки, как рабы, надевали на меня носочки и штанишки; очень рано я познал этих женщин, и они всегда подчинялись мне, потому что я не любил их, общаясь только с собственным наслаждением; у нашей семьи были деньги и очень большие возможности на земле... Более того — я знал это совершенно реально и твердо — во мне таились весьма необычайные интеллектуальные возможности... Добавьте, что почти с трех лет, как только я стал себя сознавать, я был законченный и самый патологический эгоист, какие только существовали на земле... Две вещи приковывали мое вожделение: высшая (то есть, разумеется, не формальная, не политическая, например) власть и гениальность. Могущество видимое и могущество духовное. Ради них, этих двух чудовищ, я был готов на любое преступление против мира и человечества... Еще подростком, лежа в кровати, я сублимировал свое будущее... И

я мог бы пойти этим путем, если бы не эта жуткая крайность... эта мысль о Боге... Она жгла меня, постепенно пламенея... Ну и что ж, если я буду обладать высшей властью и гениальностью, думал я, ведь это так далеко от абсолютного всемогущества... Ничтожно, ничтожно... Это только его жалкие тени... А мне надо все... И мыслимое и немыслимое... Я вспоминал всю призрачность власти и ограниченность гениальности, пусть даже откровения, перед абсолютным... И я понял, что мой безграничный эгоизм никогда не найдет на земле себе успокоения, что ничто не насытит его прожорливости; что даже гениальность и высшая власть — всего лишь неутоляющие призраки, миражи... Это сразу убило во мне всякое желание идти по этому пути, и вообще чего-либо достигать... Обладая возможностью достичь многого, я, потакая похоти эгоизма своего, бросил все и зажил дикой, уединенной и озлобленной жизнью... Мне все равно не достичь могущества Бога; все равно я не Творец, не Абсолют; так зачем же вся эта суета, эта погоня за мнимым величием... То, чем я мог бы обладать, теряло свое значение; не няньки должны нежить ножки мои, а мир, весь мир, в том числе и Творец, злобно думал я... Очень многое, что другим людям и не снится, уже имеющий и очень многим обладающий потенциально, я вдруг заболел жутким комплексом неполноценности... комплексом неполноценности перед Абсолютом. Что бы я не делал — все виделось мне ничтожным перед силой Бога, которой я мерзко и потаенно завидовал... и которую хотел понять... Я отрекся от всего, забился в угол и только иногда делал вылазки, пугая беззащитное, но больше мучая самого себя своим бессилием, потому что в конце концов, если бы я был Богом, то мог бы мучить весь мир, а не только кошечку или Наденьку... Родители и братья, которые делали свои внешние успехи, поражались моей мракобесной и отъединенной жизнью, а мне были смешны их убогие, земные движения. И во мне, в гное и в черном хлебе, грызлась теперь одна мысль: что бы найти такое, в чем бы сравняться с Абсолютом или отомстить Ему... Отомстить за все: за воспаленные глазки мои, за обреченность желаний моих, за слабоумие, за то, что во дворе холодно, когда мне того не хочется... отомстить за то, что я — не Бог... И тогда мне пришло в голову: Нуль, Нуль, Абсолютный Нуль — вот мое божество, вот цель моего вожделения. Ведь в «ничто» все равны: и Бог, и гений; и человек,

и червь. Нуль — это мое мщение Богу, нуль — это мое величие, ибо, если все — весь мир и Бог — разрушится и превратится в ничто, только тогда в этом бездомном нуле я сравняюсь с Абсолютом; эдакое единство Бога и человека, единство в ничтожестве, — хихикнул я. — Наконец, субъективное предвкушение «ничто» стирает все грани, приравнивает ничтожное и великое, человека и Бога... Упившись такими идеями, я с подвыванием ликовал, замечая, что мир во многом идет к саморазрушению; но так как «мир» существовал практически только в моем сознании, то самоубийство для меня было формой убийства, убийства идеи мира и Бога. Я возжаждал сам низвести себя до «Нуля», убивая таким образом не только себя, но все то, что еще существовало в моей душе: и Бога, и все высшее, и все взлеты. Возмечтав, истерично поверил я и в то — вера, вера наше спасение! — что и «мир вне моего сознания» тоже идет к саморазрушению... Нуль, нуль, нуль как величие! В своих мыслях о поглощающем ничто я лелеял и свою месть Богу, и низведение недоступного до меня, и месть за свой дрожащий комплекс неполноценности. Садист и мазохист — слились во мне в одно лицо. истерично давил я и милых кошечек, попадающихся мне на глаза, и все прекрасное и абсолютное в себе... Какие пути у меня были? Индивидуальное самоубийство я отрицал, потому что не верил в «ничто» после смерти; о твоих эзотерических тайнах, о буквальном превращении в низшие существа тогда я не имел понятия... Так что приходилось, оставаясь в человеческом облике, творить черт знает что... Потому в одном плане недоумевал я только, дорогой, — обратился я к Ангелу, которые все с большим интересом слушал меня, оперевшись о помойный бак, — одно только мучило меня, как стать погаже и поомерзительней. Чего только я не выдумывал! Жил симулянтом в колонии олигофренов; свадьбы там всякие устраивал; о бессмертии души им напевал; а какая у олигофренов душа, сами понимаете; поэтому я, можно сказать, скорее бессмертие дерьма доказывал, чем души; забавные были случаи: слов-то они почти не понимали, так я им это бессмертие больше на пальцах показывал; или стукну, бывало, какую-нибудь идиотку по голове, а потом ей на клозет показываю, дескать, там вечность; а клозет, действительно, в колонии у нас длительно стоял в неподвижности; никогда даже не ремонтировали; многие поколения олигофренов перестоял... Я потом в них, в этих

олигофренов, совсем вжился; непонятливый такой стал, но крикливый, суматошный, и все больше глупость кричал; мочился при всех, насильно все слова забыл и пошел в ихний первый класс азбуке учиться; учительница меня похваливала: тупой ты, Верховенский, говорила, но старательный. А я зубы скалил и за зад ее щипал. Картины такие рисовал: одну муру и все про какие-то геморрои. Иногда от нервозности Блока «Прекрасную Даму» пред какой-нибудь дебилкой читал: она только морду пялит и вшей ловит... Но сомнение меня потом, небожитель, взяло: уж больно эти олигофрены на нормальных граждан смахивают; только разве что отправления свои идиоты более непосредственно справляют... Но на этом далеко не уедешь... Надо было что-нибудь поядреней... Плюнул я на все это дело и сбежал. Меня поймали, но я, бросив симулировать, заговорил по-человечески, не идиотскими, а учеными терминами, и меня, от греха подальше, с перепугу отпустили, как «спонтанно излечившегося»... Совсем заскулил я тогда... Родственники от меня давно отказались, только мать родная не смогла... Очень меня, бедняжка, любила... Со злобы я возжелал и ее от меня отвратить, да как-нибудь попакостней... Воровал я у нее, бил, предавал на каждом шагу — ничего не помогало: любила меня и только. Хоть кол на голове теши. Напился я тогда, помню, допьяна, и нарочно мысль ей подлую подпустил: наврал, что я, дескать, вовсе не ее ребенок, что ее дите издохло в родильном доме, а папаша по договоренности — он большой чин был — подсунул ей меня, безродного подкидыша... И я так обставил эту версию — во всех деталях и причинах — что она и вправду поверила. Но добило ее вконец то, что я пришел к ней с одной старой пьяной проституткой и объявил, что вот это существо — я показал на проститутку — моя истинная мать. Смачно поцеловав эту «мать» в жидкие, старческие груди, я обругал свою маму, добавив, что она — подложная и что я всю жизнь ее ненавидел и теперь выгоняю из дому... И повалил проститутку в мамину постель, как бы из сыновней нежности... Но хватит об этом, — перевел я дух, — теперь, когда ты на меня так ласково смотришь, я хочу знать твои тайны деградации... Вот что мне нужно...

— Пойдем, пойдем, выпьем чего-нибудь, — Ангел вдруг взял меня под руку.

Теперь я заметил, что это был довольно толстый мужчина, но

немного опустившийся; его глазки были пропитаны обжорством и пивом, но внутри их застыло хихикающее безумие, которое как бы дирижировало этим выражением прожорливости.

Мы двинулись в раскрытые ворота. Над нами нависали здания.

— Я так и думал, что вы свой, — говорил Ангел. — И вот видите, — указал он вверх на камни, — как ваша сугубо индивидуальная, по особым причинам, страсть к самоуничтожению совпадает с такой потребностью Творца... Все это не спроста... Многие тут есть эзотерические заныры, но всего не скажешь... Отупел я совсем.

Мы вышли на улицу. Никто нас не замечал: все были заняты собственным уничтожением.

— Да ангел-то в калошах, — почему-то подумал я.

А он между тем бормотал, вспоминая что-то непостижимое, но уродливое.

— Я поведаю вам эзотерический путь превращения в низшие существа, — мелькал он словами. — Да... Да... Когда это происходит естественным, эволюционным путем, — это одно, это долгая история, люди вырождаются в муравьев и прочее... Другое дело наш субъективно-оккультный путь... Здесь только стон стоит, дух перехватывает... Наиболее божественные индивидуумы так очень даже быстро в вонючек превращаются, за какие-нибудь два-три дня... И такое чувствуют, ой-ей-ей... Самое главное, скажу вам, вот что: на этом пути остатки высшего сознания все-таки могут сохраняться, особенно временами; я, например, уже совсем пьяница и ублюдок, а кое-что из своего метагалактического опыта помню; те же тайны, например; правда, чем дальше вниз, тем скотство вернее все высшие точки заволакивает... Я и о тайнах могу говорить только по-вашему, дурацки...

— Ладно, ладно, — приговаривал я.

Быстренько мы, два мокреньких от сублимаций толстопузика, юркнули в подвальную пивнушку. Слава Судьбе, почти никого вокруг не было.

— Сосисок с хреном... Да побольше... — заорало бывшее метагалактическое сознание.

Присмиревшая официантка внесла на стол наш гору еды. Навалившись, мы совсем отупели и, рыгая, стали хлопать друг дружку по спине и как-то ублюдочно, ни к селу, ни к городу, хохотать. Я расстегнул ширинку. Ангел играл со своим брюхом.

— А хорошо быть скотиной, — заявил я.

— Хорошо, — мечтательно проурчал Ангел. — Легко и спокойно. И какая-то ублажающая бесконечность. Так все время и жрал бы одни сосиски.

— Главное, мыслей нет, — подхватил я. — Или, вернее, есть, но только одна и какая-то идиотская.

— Чем бы ты ее мог выразить? — спросил Ангел.

— Да ничем... Просто: ав... ав... ав... — залаял я, раскрасневшись от жира, — ав... ав... ав...

Так шалили мы с безразличными лицами еще с часик. Официантки от нас попрятались.

— А я люблю побалагурить в убожестве, — закончил, наконец, Ангел. — Это я называю станциями отдыха в бесконечности. Ведь долог и труден путь в ничто; немудрено по временам и залаять.

Я мирно допивал свое пиво и, размышляючи, хрипел:

— Молодец ты, дружок; был почти около самого Абсолюта, а таперича с нами, свиньями, пьешь...

Глаза Ангела вдруг сузились в одно напряженное, слабоумное воспоминание. Он мотнулся к моему ушку. Я жевал, угодливо по отношению к самому себе.

— Расскажу сейчас тебе одну мерзость о Творце... Хе-хе... Вспомнил. Никто об этом не знает, — и Ангел сальными губками стал тихо-тихо пришептывать. По мере того, как он шептал, мое лицо, с сосиской в зубах, разулыбалось, и я понимающе трясся от удовольствия всем своим плотным, поносным телом. Кругом сновали черные, забытые Незабывающим лица.

— Только никому не говори, — с расстановкой сказал Ангел и поднял палец вверх.

Вскоре я обратил внимание на одну кошмарную деталь: Ангел вынул из кармана зеркальце и, поставив его у пивной кружки, нет-нет да и вглядывался в себя, совсем скотского.

«Хе-хе... А ему даже в таком состоянии не чужд был нарциссизм», — подумал я, а потом вскрикнул: «Ну и патология!»

Метагалактическое сознание вдруг вспыхнуло, оживилось и, бросив жрать, опять накинулось на меня со своими идеями.

— Весь мир гнет напряжения между Ничто и Абсолютом, — пришептывал Ангел. — Стремление Абсолюта к Ничто и противоположное стремление его тварей вверх — вот причина сумеречного, химеричного существования мира. В жизни

действуют слишком противоречивые, взаимно исключающие силы, которые, если могут как-то уравновеситься, то в результате дают только возможность простого существования, а отнюдь не гармонию. А отсутствие гармонии ведет к патологии, к уродству. Поэтому вечна дисгармоничность, разлад есть первый признак жизни, особенно духовной. Патология — это главный нерв жизни, выражение единства двух исключающих начал: стремления вверх и стремления вниз. Патология — суть мира, крик его сущности... Патология должна быть символом веры сколько-нибудь мыслящих существ. Нет, нет и никогда не будет гармонии!

Мне это показалось таким родным, что от близости к Ангелу я аж вспотел. Да и пот был какой-то особенный, липкий и гадючедуховный, точно выделялись отходы моих самых тайных мыслей.

— Скажу по своему опыту, — добавил я, и гаденько-родной, как мысль о смерти, потик прошел у меня от солнечного сплетения до пупка,— скажу по опыту, что условием возникновения патологичности является, как ни странно, сознание того, что есть нормальный, здоровый мир... Он есть только в предчувствии, в возможности, как хотите; по существу его нет; но идея о нем дает возможность существовать патологическому... Тупость и несуществование гармоничного, прекрасного мира и в то же время желаемость его выявляют и доказывают тотальную реальность бреда...

— Далеко, далеко пошли, — хихикнул Ангел. — Тут целая система... Великая и тайная... Как-нибудь другой раз... Возможно, я вознесу кого-нибудь в чистую страну патологии... Патологии без конца... Многообразной... в больной красоте...

— Скажите, — перебил я, — а там, по ту сторону... духи... ведь, говорят, что духовное неотделимо от добра, от нравственного начала-с, так сказать... ерунда? — ласково взглянул я, снимая свой невроз.

— Ерунда, — ухнул Ангел. — Духовное скорее неотделимо от зла... Там среди духов можно встретить таких патологических созданьиц, что никакие ваши земные трехголовые уродцы не сравняются... Есть существа, обособленные в своем безумии, смотрящие в себя духовным, неземным оком, как бы онанирующие своей сущностью... Есть неслыханные параноики, несущиеся по Космосу с мыслями о пост-абсолютном сущест-

вовании... Есть злобные, смрадные богоненавистники, кусающие свои мысли, потому что в их мыслях есть божественный свет... Или чудовищные Дон-Кихоты зла, вообразившие, что существует Добро. Они с воем, с безумно открытыми для вихрей глазами носятся по Духовному Космосу, преследуя существующее только в их воображении добро. Они махают, махают своими черными крыльями, колотя пустоту, в которой они видят возносящихся Спасителей и чистых, убегающих Мадонн.. Есть дующие в свою односторонность, уходящие в оторвавшиеся от всего целого облачка-миры... В этих блуждающих далеко от Всеобщего островах пато-изменяется сущность этих созданий, приобретая несходимые ни с кем черты, и эти создания уже никогда не вернутся в целое... Есть женственные видимости, поющие забытые Богом песни, существующие только до сотворения мира... Патология, патология — и нет ей конца! — закричал на весь зал Ангел.

— О, тишина, тишина, тишина, — вдруг завыл я, ничего не понимая. — Расскажите, наконец, мне ваши тайны деградации!

— Пошли на чердак, — пробормотал Ангел.

...Из чердака виднелся опротивевший, огромный мир людей; «но он может смываться, смываться», — визжал я про себя.

— Пока мы шли на чердак, — вдруг заявил Ангел, — я с одной деградирующей самосущностью в виде клопа — он полз по перилам, видел?! — успел обменяться информацией. У него вспыхнуло на миг сознание. Он мне рассказал свою историю. Он пал сразу и очень круто, даже сам не ожидал. По его выражению, он деградировал с быстротой падающей кометы и мигом превратился в какого-то героя. А оттуда — благо недалеко — сразу в клопа.

— А дальше? — заинтересовался я.

— Описал мне, как жил клопом у одного человека — у Немытого Ивана Петровича. Тихий это был человек и болезненный. Форточки никогда не открывал. И все о божественном думал, о спасении души. Только он от церкви давно отошел. Какая уж тут церковь. И вместо этого для спасения души совершал свои никому не понятные обряды. То на одной ноге полчаса стоял, то мутные мечты детства своего шепотком вспоминал, то букварь шиворот-навыворот изучал. И все писал, писал и писал: знаки какие-то, лучи от дня своего рождения по календарю пускал.

Потом себя морил, но особым, субъективным: в день своих именин и по вторникам воды не пил. А на стенках паутинки у него были, чертежи. И все говорил, что это исторически у него сложилось, традиционно, в течение всех прошлых жизней. В эдакий тихий склеп шизофренической обрядовости закопался. И во спасение души верил по собственному: дескать, душа его после смерти превратится в красное солнышко и будет светить себе, улыбаться, мир согревать... Самосущность же одно время жила у него спокойной, обособленной жизнью клопа — среди других обыкновенных клопов. Мы, деграданты, называем это станцией бесконечности и тишины. Иван Петрович, надо сказать, клопов обожал, а по несуетности своей укусов их совсем не чувствовал. Называл же их обычно по имени-отчеству. «Это Михайло Иваныч ползет», — бывало, говорил он на жирного, не совсем здешнего клопа. ... Самосущность-то, неразборчивая, — прикорнув у чердачного окна, продолжал Ангел, — совсем обжилась. Кровушку пила, по члену старика ползала, не раз у него в волосьях любила засыпать. Погуливал Иван Петрович редко, и то по субботам, но клопику было на все плевать: гульба не гульба, Бог не Бог... Бывало, мистерии старческие происходят, бабьим потом пахнет, а самосущности все одно: снует себе в волосьях или спит. Мол, меня вообще ничего не касается. Щелей, говорила она, на стенках опять же вдоволь: извилины такие, точно миры шизофренные... Спокойная была жизнь, одним словом, святочная. Чувствовал я себя — добавила мне потом самосущность — маленькой, одинокой точкой, состоящей из укуса и ползущей по безгранично-геометричному миру.

Но пора уже мне была с Ангелом прощаться; хватит, наговорились. Да и тьма сгущалась; а я по убожеству моему еще с детства во тьме любил один быть. «Пора, пора окунуться», — думал я, как бы завертываясь в темноту.

Ангелок между тем на ушко мне тайны деградации стал шептать: слушал я его недвижно, почти на одной ноге, смысл их во свою тьму впитывая. И удивительный нонсенс: все понимал, как будто уже давно чьей-то рожей ко всему этому был предназначен.

Ангел кончил рвано, внезапно и вдруг... полетел... Но самое неуютное, что не из окна, а в дверь; дверь очень неприятно, сама собой отворилась, и он, чуть приподняв ручки, полетел по

лестнице вниз... Весь видимый мир приобрел какой-то сдвинутый и неожиданный смысл, когда я увидел этого толстого, потрепанного человека, чуть приподнятого над лесенкой и летящего вниз... Да и сам-то я был хорош. Даже губки мои дрожали от тайн. И стали уже это не губки, а комок исчезающей нежности. Я ими сам в себя всасывался...

Вскоре очутился я один на один с собой, в одиночестве... В сладеньком комочке из пространства и так называемых предметов. И я сразу понял, запершись на два ключа, что этот комок — мой, и я в нем могу такие кренделя выкидывать, что и Господу в Его вселенной подстать.

Тайное обратить в реальность я захотел сразу, бесповоротно. В эту же ночь. Разделся. Поглядел на тельце свое в свете сознания, приласкал, посмотрел в окно и содрогнулся мягкостью оттого, что почувствовал, что сейчас все рухнет. Скорей бы, скорей. Я знал, что вверх нельзя, нет утоления, и я замер, ожидая, как Господа, падения мира сего . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

...Тсс ...Тсс... Вот оно... Тсс... Тсс... Сколько прошло миллионов лет? Или три секунды?.. Вот оно... Вот оно... И я шипел всему миру, шипел... Оттого, что ничего не было, кроме разрушения, о котором можно было только шипеть, шипеть, а не кричать и плакать... Но это пронеслось так мощно, хотя и невидимо...

Без боли ломались кости, с воем распадалась душа... Рушился мир, вместо которого горели огненные, думающие точки... Везде... Везде... В самом распаде звучала музыка, музыка ломающейся вселенной, выталкивающих мыслей, музыка краха.

Я уже не знал, кто я и где я. Да и видимость была невидимая. Даже рыл, рыл не было!.. Но вдруг очнулся я в странной комнате, немного напоминающей виденный мной когда-то музей — и в ней, в кресле, сидела моя мама, немного располневшая.

Себя я не видел, но чувствовал, что существую. Мама же меня узнала и не скрывала своего предубеждения. «Теперь я тебя скушаю, матерь», — сказал я, приблизившись к ней. Она плюнула мне в лицо и стала раздеваться. Тело у нее было сочно-белое, напоминающее мое в будущем. Скинув тряпки, она растянулась,

дрожа ляжками, на огромном блюде, лицом вниз... Рядом на столе лежали розовые, как живые поросята, ножи. Подошедши, стоя, я стал кушать, отрезывая от ее боков ломтики свежего, точно замороженного мяса. Увлекшись, я не заметил, что около меня стоит мамин дух, и он как-то странно на меня смотрит. Мне даже показалось, что он завидует, и непрочь сам полакомиться. Потом, когда я проглотил по кускам мамину голову, мы стали с ним препираться, и он утверждал, что этим нельзя насытиться. Мы сели за стол и стали играть в карты.

— Хорошо ли тебе теперь, моя мамочка, — ежеминутно спрашивал я у духа.

Тот не отвечал, совсем ушедши в карточную игру. Но я уже чувствовал себя не на своем месте и все время елозил.

И вдруг стены дома разом рухнули, но совсем беззвучно, и показалось странное, искаженное полупространство.

И в нем сидел Мессия в виде жабы. Он все время мыслил что-то невероятное, сознавал, но это сознание тут же от него отлетало; потом появлялось новое, другое, но и оно вскоре исчезало; и так беспрестанно.

Остановиться Он уже не мог, но какая-то часть его души неистово возмущалась всем этим.

Что-либо связное он уже не воплощал, но вдруг выкрикнул мне, как глыба, в холодеющий затылок, полу-человечьи, полу-каменно: «Хватит отдыхать! исчезай!»

И обволокло меня дрожью, липкой и радостной.

И понеслось, понеслось. Как будто завертелась во мне какая-то бешеная, визгливая и запотусторонняя сила!

Видел я пространства изломанные, неземные. Видел тварей разных, шипящих, недоумевающих; видел демонов исчезновения, рождающихся из ничего и мгновенно в ничто превращающихся; их трепет и лет; видел лик их мгновенный в злобе и ненависти и, не находя исхода всей злобы своей, с вихрем проносились они, обращаясь в ничто.

Видел я призраков, ныряющих в пустоту, ищущих то, чего не существует. Целую вечность ныряют они и ныряют в пустоту, бессильные охватить несуществующее.

Видел младенцев, лающих на свое отражение.

Цель бытия моего была: подвывать голосам безумных и находить в этом тишину и успокоение.

Тогда и человеческое сознание вспыхивало: тихо так, умиротворенно и по-шизофренически отсутствующе. Потом уж понял я, что если и возникает во мне, прожорливой собаке, человеческое сознание, то только бредовое, немыслимое.

Так и бродил я, выл и кусался, полоумных детишек в реке топил, полу-собака, полу-шизофреник.

А лес-то кругом стоял, лес! Наш, расейский, незабвенный в краске и чарах своих диких вознесся над сумасшедшим домом!..

Потом опять меня понесло — туда, туда, в неземное, деградировать.

Видел я Трех Гусей в ореоле Господа Нашего, Недоступного.

Из глаз их смрад коричнево-черный шел; а на дне глаз — танцы черного небытия сгущались в одну неподвижность. И возопили Гуси туда, где я ничего и не видел: «Дай нам! Дай... Не потом, а сию же минуту... Дай... сию же минуту!» И от свиста голоса их «сию же минуту» стали оборачиваться они в кору, в кору дерева, крепкого, корявистого... И крики их, исходящие изнутри, не слышны были, а лишь бились ветвями деревьев в небеса.

Видел я одиноких паразитов, ползущих по солнечным мыслям Отцов Наших, и впивающих сок их в задумчивости и смрадно-бессмысленном обособлении.

Так и застывают они на ветвях мирового сознания, все зная и ничего не зная. Но довольные, как сопли мира сего.

Второй раз я был на земле птицей придурковатой: часть мозга во мне вообще отсутствовала. Но летать — высоко летал. Над лугами, над городами с церквями божьими и, может быть, над Самим Господом. Но так, в практическом-то смысле, ничего не видал: зерна еле клевал, засыпал там, где птицы не спят, на ногах держаться не мог по глупости.

А околел мигом, возлетев над миром Божьим; камнем покатился вниз, к земле-матушке, только сознание человеческое на миг вспыхнуло, да и то сознание, когда я дитем был, почти младенческое; вскрикнул я так, падая, и подумал, ясный весь: «и велик же Господь простор для младенцев создал»; и-их! полетел на мертвые камни!

В неземном же, после второго пришествия моего на землю в виде придурковатой птицы, был мрак и знамение.

Я еще ликовал, но все больше мертвел, а приглушенное, бесчувственно-мертвое ликование еще больше меня сжирало.

Я уже был на том свете только мертвый комочек самопожирающего ликования.

Видел я скота в темном плаще; он шел по сжимающейся вселенной, а внутри него рыдал ангел, которого он не замечал и никогда не чувствовал.

Видел я также странную, призрачную фигуру, от которой вся Вселенная погружалась в ясный, но какой-то не касающийся ее сущности, свет; даже твари — те твари — пожирали друг друга в нежных женственных лучах. Эта фигура плакала и хоронила; но кого? все гробы были пустые.

Видел я облик и невыносимую реальность существ, которых нет, не было и никогда не будет; они только могли бы быть, если б абсолютно все было по-другому, и сам Бог не походил бы на Себя.

Они выли в несуществующее, и их такой же несуществующий вой гулко разносился в каждые уголки Вселенной. И они трясли своим особым, непредставимым бытием; как птицы у окна бились о стены существующего. Я целовал и впитывал в себя их вопль, в котором чудились мне оттенки страшного хода событий, который не произошел и почти не мог произойти.

Потом около моего мокрого комка субъективности проносились, похожие на лопоухих, черные, насупленные твари.

Они питались своими самовыделяющимися мыслями и ничего не могли сознавать и видеть вокруг; и эти мысли были для них — весь мир.

Эти твари представляли из себя какую-то абсолютную клетку, включающую в себя абсолют.

Меня облепляли также своим сознанием и тленом другие, юркие, змеиные твари, существующие в мире, достигнувшем предела; они терзали меня своими бессмысленными вопросами; помню, что какое-то огромное, ползущее видение, тень от которого текла от одной звезды к другой, совсем придушила меня своей Единой, Вечной, никогда не скончаемой мыслью. Были существа, просто без всякого сознания, но странно раздражающие и мучающие своим существованием.

Вдруг я почувствовал, что весь мир, все тварное и все абсолютное, обратили на меня свое мутное, прямое внимание; в эту минуту мне показалось, что вся Вселенная остановилась и смотрит на меня, гогоча своей сущностью; вдруг появился Кто-

то родной, наверное, Творец, родной, родной, меня создавший. Точно Творец воплотился в видимость. И тут — о как это было ужасно, склизко! — я вдруг увидел, что Он, Творец, Радетель, — в то же время чужой, враждебный, дикий и холодный; как же так, родил, а чужой, создал, а далекий?!

И так мне кроваво стало, нехорошо, точно нить какая-то, и логическая, и жизненная, порвалась. Нить между мной и всем. А Он, родимо-чужой, выкрикнул вдруг на меня, словно был маской: «Кончайся».

Потом все пропало, меня долгое время тоже не было; потом я стал хохотать; мелко так, не по-человечески: какие уж здесь люди; и вдруг воплотился. И началось мое третье пришествие на землю. На этот раз в виде вши.

Ползал я, кажется, больше по трупам; эдакий был любитель мертвой крови. И все меня хоронили. Точнее, хоронили людей, но я, вошь, во гробу единственно живой был.

Громко хоронили, помпезно-надломно, с музыкой. И все плакали, плакали. Особенно девушки, такие молодые, чистые, боговдохновенные... Иной раз в мертвом носу я совсем живо чувствовал, что они не своих любимых хоронят, а меня, меня, вошь; и по мне — вши — так плачут и тоскуют... О!.. Но сознание редко, совсем редко вспыхивало; одна кругом темень была, мрак беспросветный. Я уже тогда трепет вечного Нуля чувствовал. Меня быстро давили, схоронив в могиле, но я возрождался — эдакое переселение душ — в виде другой вши и все время упорно трупной. Много-много со мной похоронили, в цветах, в церквах Божьих.

В форме последних вшей я уже совсем отходить стал; вялая такая я стала, безжизненная вошь, холодная; и даже кровь трупная меня не согревала; музыку вдалеке только слышал неземную.

Там, где всё будет, появился я еще один, последний раз, после вши, но все было по-другому. Куда рыла-то подевались, не знаю. Видел я хаос и многоликое, плюральное движение. Быстрый мне здесь конец был.

Рев, рев прошел по Вселенной, Господом созданной. И увидел я искаженные Лики Дублеров Бога Нашего, Единого, Самого Абсолюта. «Двойники, двойники Бога», — подумал я, завизжав, когда они ринулись на меня.

Но это были, скорее, не двойники, а дублеры, дублеры

Абсолюта: упыри плюральности мира сего. Я видел множество качающихся, кружащихся миров, точно таких же, как наш; и точно так же там был виден лик Божий; их было много, много, Единых Богов, много таких же извивающихся Абсолютов.

Потом они стали воплощаться, воплощаться в дикие, земные символы. Это были одинаковые, но время от времени все до единого изменяющиеся обозначения: то свиные, хохочущие морды, жующие свое абсолютное знание; то какая-то стая непрошенных благодетелей с визгом проносилась вокруг меня; то открывались некие святые лики, параноидные в своей святости; то целая толпа бесконечно всемогущих грозно окружала меня...

Я уже не видел различия между Абсолютом и его двойниками; потом все они стали путаться между собой, точно стараясь проникнуть друг в друга; и в то же время они не могли этого сделать; только дергались, замкнутые в себя... Но при чем тут был я?!.. Как все существующее было ужасно, но я ликовал. Наконец-то, наконец-то. Как я этого ждал. Или еще что-то было, или его не было?!... Только знаю: вдруг стон прошел по всей Вселенной... И я... я... вы думаете, что наступил час моего четвертого, последнего пришествия на землю?.. О, совсем не так... Я был на земле... Но неземное и адекватное слились для меня там в единое.

Я уже чувствовал холод Вечного Ничто; оно втягивало меня в себя; но мог ли я его достигнуть?!

И последнее, что я могу передать: я был слоновьим калом; да-да, слоновьим калом большого индийского слона, кланяющегося людям в светлом и шумном цирке. Можно ли выразить эту степень существования?!

Но я еще хорошо запомнил улыбку Бога на себе...

●

УЧИТЕЛЬ

Почему эта странная история произошла именно со мной и почему она во многом предопределила мою судьбу? Ведь

человечек я тихий, неказистый, и даже мухи не обижу. Но в этот день у меня уже с утра сердце по особому билось. И все время была какая-то сонная сосредоточенность на самом себе, точно мира не существовало. Я все свои мысли, каждое их вздрагиванье, как мировое и единственное событие ощущал. И тело было легкое, родное, словно слипшееся с мыслями.

Все это хорошо, но вместе с тем было беспокойство. И тревожность какая-то.

Напившись кофеечку, я вышел на улицу. И пальтишко свое ощущал как теплое одеяльце. Стоял рваный, осенний день. Катились листья, тучи неслись по небу, как мысли эпилептика. Мелкий дождь растворял весь мир в мокром. Да и он — мир-то — был какой-то отодвинутый, точно ему надоело существовать.

«Хорошо бы стук сердечка своего послушать, да в зеркала насмотреться», — подумал я. И вышел на аллею. У деревьев, укрывшись от дождика, рисовали что-то сюрреалистическое два художника.

Вдруг я оказался у кинотеатра. Может быть, картина шла такая необычная, но у входа, на улице, толпилось немного людишек. И сновали взад и вперед. Спрашивали билеты, которые были уже проданы.

Я решил тоже постоять. И тут сразу — почему именно сразу, точно я к этому был предназначен — сразу ко мне обратился толстый, потрепанный гражданин, средних лет, с дамой.

— Здравствуйте, — сказал он мне.

Я больше уставился на даму, чем на него. На первый взгляд она была вполне терпима; старая, видавшая виды лиса облегала ее шею; взгляд был немного туповатый, я бы даже сказал, субстанциональный.

Толстый гражданин перехватил мое внимание.

— А вы знаете, кстати, меня зовут Толя, — улыбнулся он, — вы знаете, моя жена была лисой.

— Я и так вижу, что на ней лиса, — буркнул я.

— Нет, вы меня не поняли, — спохватился толстячок. — Моя жена — вот она, перед вами — была лисой в прямом смысле этого слова. О, это невероятная история, поверьте мне. Ее поймал под Рязанью один мой приятель, егерь. И подарил мне, я люблю животных.

Толстячок на минуту замолчал. Я посмотрел на него. Вы уже знаете, что у меня было странное состояние. Одна его особенность состояла в том, что все, что происходило в мире, имело реальный смысл, как будто обычный покров видимости был сдернут. Даже самые заурядные слова отражали только истину, а не являлись всего навсего словесной шелухой. Поэтому для меня стало ясно, что этот человек говорит правду.

Толстяк продолжал:

— А дальше — и представьте, все это происходило в коммунальной квартире — эта лиса стала сбрасывать шерсть, расти, заговорила человеческим голосом, появилось лицо, и, как видите, все остальное.

Я глянул на его жену. Только теперь я увидел в ее лице что-то лисье. Впрочем, лисьи были просто общие черты лица; а это не редкость у людей, особенно у женщин. Правда, на висках волосы у нее немного напоминали шерсть.

Вглядевшись поглубже, я почувствовал, что главная странность ее лица заключалась не в сходстве с лисьей мордой, а в каком-то туповатом и загадочном выражении.

— Как это с вами случилось? — обратился я к ней, выйдя из оцепенения.

— О, это было очень страшно, — благодарно взглянув на меня, ответила бывшая лиса. — Не думайте, я прекрасно помню, когда я была животным. А потом, потом... точно все стало рушиться внутри меня... И взамен этого появилось новое... Какой-то поток... Нечто жуткое, как будто внутри меня что-то расширялось и расширялось... Когда появились первые мысли, от страха я стала лаять на них... Но потом ничего, привыкла, — грустно улыбнувшись добавила она.

— Невероятно, — ужаснулся я. — А скажите, кем-нибудь посторонним, кроме вашего мужа, зафиксирован этот чудовищный переход?!

— А как же, — ответила женщина. — Это происходило у всех на глазах. В коммунальной квартире. И наш сосед как раз врач.

— И какая же реакция в научных кругах? — спросил я. — Вас, наверное, затаскали по конференциям и лабораториям. И наверное, засекретили.

— Ничего подобного, — ответила дама. — Представьте, никто и не обратил внимания. Это, признаюсь, очень задело мое

самолюбие. А один профессор даже сказал о моем случае: «Пустяки!»

— Ничего себе пустяки, — возмутился я и чуть не заорал. — Да ведь вы мигом проскочили, можно даже сказать пролетели, насколько миллионов лет сложнейшей эволюции... Черт побери... Ничего себе пустяки...

Дама как-то странно на меня посмотрела, точно я сказал нелепость. Потрепанный толстячок стоял рядом: он весь лоснился и сиял от удовольствия, что имеет такую жену.

— Ну, а что сказал наш сосед-врач, это же происходило на его глазах. Он вас обследовал? — спросил я.

— Обследовал, — сказала дама. — И нашел, что я психопатка.

— Только и всего! — вскричал я.

Мне показалось в высшей степени странным, что существо, которое обладает способностью к такого рода превращениям оказалось в глазах людей всего-навсего психопаткой. «Ну и ну», — подумал я.

Дама стояла как ни в чем не бывало. «Говорит логически, — рассуждал я про себя, пристально всматриваясь в нее, — а все равно как чувствуется в ней что-то загадочное, капризное, и точно спрятанное по ту сторону. Эх, станцевать бы с такой вальс!»

Между тем кругом сновали люди. И спрашивали: «кет ли билетика, нет ли билетика?»

— Представьте, — выпучил глаза Толя, — у нас есть лишний билет, все ищут его, но мы никак не можем его продать!

— Не берут? — ужаснулся я.

— Не в этом дело. Берут. Просто мы не можем продать, — ответил Толя.

Мы действительно походили, как в тумане, вокруг людей и никак не могли продать билета. Около нас покупали лишние билеты, но мы ничего не могли поделать.

— Ну я пойду. К себе, — плаксиво проскулил я.

Дама стояла где-то совсем в стороне, как все равно за пространствами, и как-то нехорошо дернулась туловищем.

Наконец, я отделался от своих новых приятелей и побрел по улице. Слякоть хлюпала у меня под ногами. И мир пошатывался, точно его смывал дождь.

Не помню, сколько времени я пробродил по городу, погрузив свою душу в какой-то туман и слепое, вялое искание.

Единственно реальной была одна мысль, привязавшаяся ко мне: «А ведь все это говорит в пользу христианства... Если животное может разом превратиться в человека, то почему человек не может преобразиться?»

Наконец я очутился у пивной. При входе почему-то продавали мороженое. Сев за стол, я ничего не заказал себе, так и просидев за пустым столиком. Вдруг около моего уха оказался Толя. Я огляделся: дамы вокруг не было.

— А вы знаете, — хихикнул Толя в мою плоть, — та старая лисья шкура, которую вы видели вокруг шеи моей жены, это ее бывшее тело — хи-хи — вернее сказать, шкура...

Я изумленно уставился на него.

— А вы знаете, что я вам скажу, — вскричал я, точно пораженный своей мыслью. — Давайте устроим брак втроем!... А, милый, — я схватил его за руку и приблизил свое горящее лицо. — Не отнимайте у меня счастья!.. Я всегда любил очень непонятных женщин... Одна моя жена была шизофреничка, которая любила все черное; другая была мракобеска и кокетничала с чертом; у третьей был параноидный синдром; она считала меня оборотнем и только поэтому мне отдавалась... А потом заметьте, брак втроем... Сколько в нем скрыто мистицизма, затаенной боли, изломанности, утонченных извращений, нюансов... Хе-хе... Соглашайтесь.

Толстяк на мгновенье замер, точно что-то обдумывая: потом его лицо вдруг заулыбалось и он подмигнул мне.

— Шут с вами, — сказал он. — Соглашаюсь...

— Откровенно говоря, — добавил он, дыша мне в лицо, — хоть я и очень люблю Ирину, но знаете... иногда с ней бывает тяжело, — он вытер платком потное лицо. — Еще ничего, если она вдруг завоет посреди ночи или посреди обеда... На такой атавизм я и не обращаю внимания. Но другие странности... Например, тоска... Особенно я не люблю, когда она бредит... Вы знаете, последний шизофренический бредок — букет девичьих цветочков по сравнению с этим... Только животное, перейдя в человека, может так закошмариться... А речь, речь... Подлежащее она употребляет как сказуемое, а сказуемое становится подлежащим. Но это с формальной стороны... А по существу, — он махнул рукой. — Вы знаете, она солнце принимает за ягоду... Но я так и знал, что вы все это любите... Пошли.

Мы встали. Я вспомнил тупые, но очень милые, как спелая слива, внутри которой находится остановившееся безумие, глаза Ирины.

В голову навязчиво лезли аналогии с великими религиями.

«Учителя-то, — думал я, — небось также неласково себя чувствовал tete-a-tete с Абсолютом, как и Ирэн среди нас... Эх, герои, герои...»

Раздобрев друг к другу, чуть не обнявшись, мы с Толей вышли из пивной и пошли туда... к жене. Ира встретила нас в халате с папироской в зубах, от нее слегка пахло вином. Комната была одна, метров шестнадцать, поэтому Толя сразу увел жену в клозет на переговоры.

Через полчаса они вышли оттуда, и Ирина, пожав мне руку, крепко поцеловала меня в зубы.

И началась наша новая семейная жизнь.

Я на первое время очень стеснялся. Да и неудивительно: комнатушка маленькая, никуда не денешься. Но Толя оказался на редкость добродушный малый. Видя, что у меня от страха перед Ириной не очень-то встает член, он сначала для имитации предложил свою толстую, большую задницу.

Делал он это просто, ворча, с прибаутками; огромный, неуклюжий, он наполовину стягивал с себя штаны, как будто садился на толчок, и грузно плюхался животом вниз на пыльный, трясущийся диван; поднимал голову и подзывал меня: «Володя, Володя! Иди!»

Ирэн же из угла немигающими, черными глазами смотрела на нас.

Толя между прочим, наряду со всем, хотел обратить ее в какую-нибудь нормальную религию и приучить молиться; и Ирэн действительно иногда, чуть подвывая, молилась; но Толя уверял, что она делает это для вида, а на самом деле исповедует что-то свое, невероятное...

Потом, когда мы сжились и я поимел Ирину, она логически объясняла мне, что верит не в Господа, а в Абсолютно Постороннее; и это Посторонее она ощущает даже в природе; ей достаточно увидеть, например, лес, поле, реки, и она чувствует это Постороннее, которое — по ее словам — присутствует во всем и везде. Но люди, однако, не могут его замечать...

Этот культ Постороннего всему Бытию (и даже Небытию) таил

в себе что-то немыслимое, тайное, нечеловечески страшное. Это было Постороннее и Добру и Злу, всем видам Бытия, и я думаю, что и Сатана и Светлый Ангел содрогнулись бы, приближаясь к этой двери. Да и сам Абсолют, по-моему, по-абсурдному, такое не вмещал...

Впрочем, вероятно только, в том диком положении, в каком очутилась лиса-Ирэн, мог бы открыться Глаз на присутствие чего-то извечно постороннего всему существующему...

Да, да, Ирэн была очень странна... Но кто знал, чем все это кончится... Я любил с ней прогуливаться в парах, на улице Горького; ходили в вино; на людях она редко лаяла, часто уходила в себя, бедняжка; признаюсь, ей было трудно выносить тяжесть человеческого сознания; нам, существам к этому делу привычным, и то иной раз дурно делается; а каково-то было ей, непривычной... Да она малейших пустяков, вроде спонтанных мыслей о самоубийстве — и тех боялась; я знал — тогда она лаять начинала... В темноте... Хрипло, наполовину по-лисьи, наполовину по-человечески.

И глазенки бывало зальются такой беспредельной тоской, словно выброшена она на остров — остров страшный, духовный, навсегда замкнутый...

Однако, возможно, я ошибаюсь. Может быть, причина ее тоски была в чем-то другом... Не этого я в ней боялся. Трусил я перед ней обычно, когда чувствовал, что она Ему, Постороннему, Отцу своему молилась. И вся такая загадочная становилась, зубки дрожат, глаза как во сне смотрят, и далекие, далекие. Мне тогда казалось, что передо мной находится что-то абсолютно невозможное, что не может существовать, а существует.

Однажды мы с Толей, прикорнув, грустные, сидели в креслах. Пили чай, телевизор смотрели. Толя по добродушию иногда в Божественную Комедию глядел. В общем, время коротали. Ирэн же, напротив, была нервна и издергана: то вдруг в печаль бесконечную впадет, то залает.

Перед зеркалом немного помодничала; потом рассердилась и книжку стала читать. Но вообще была неадекватная; уж на что мы, свыкшиеся, и то удивлялись: почему Ирэн занялась читать учебник по сопромату; почему она вдруг прыгать стала.

Я даже чувствовал, что мой добряк Толя совсем раскис и непрочь продолжать этот брак только со мной.

Откуда-то из своей сумки Ирина достала вина.

— Выпьем, мальчики, — сказала она.

Последнее время мы частенько с ней стали попивать. Выпили. В стену почему-то стучал старый сосед-врач, считавший, что Ирэн — психопатка. Но на этот раз мы быстро опьянели и уснули тяжелым, беспробудным сном.

И тут-то начинается самое неприятное, почти слабоумное. Проснулись мы одни-одинешеньки. И, короче говоря, без яичек. Кастрированные, но только не по медицински. На наших мошонках были следы вострых, лисьих зубов. А Ирэн нигде не было. Мы туда, мы сюда. Расплакались. Спрашиваем соседей, где Ирина. Они говорят, что равно утром ушла. Звонили, бегали, кричали — ничего не помогло. Исчез, исчез наш Учитель — раз и навсегда. И я тогда понял — недаром Ирочка молилась последнее время так долго, неистово, Ему, Постороннему. Ушла, ушла она к Отцу своему, вознеслась. И род человеческий оставила. И нас оставила. Но почему, почему она откусила нам яички?!

А с нами потом совсем необыкновенные вещи стали происходить.

Лишившись яичек, мы вдруг как-то разом поумнели. Но только в самом гнусном, карьеристском направлении.

Мы сейчас с Толей — генералы. Квартиру нам дали на двоих. Он командует одним военным округом, я — другим. И ракет у нас видимо-невидимо. Так что в один прекрасный день мы всю эту вашу канитель можем взорвать. И Москву, и Киев, и Париж, и Нью-Йорк — все!

А пока мы на квартире чаи гоняем. Сидим на кровати голые, без яичек и хохочем... И хохочем... генералы... Только где ты, где ты, Учитель наш, сам себя спасший?

●

ГРОБ

Старушка Полина Андреева Спичева, лет шестидесяти, отходила. Комнатушка, где она лежала, была маленькая, загаженная портретами великих людей и остатками еды. Кроме нее, здесь

обитали еще ее сестра Анна Андреевна с двумя сыновьями и невесткой.

Отходила Полина Андреевна тяжело, матерясь и ежеминутно харкая на пол. Ей почему-то особенно жалко было расставаться со своим огромным, жирным животом.

«То, что я умру — понимаю, — надрывно говорила она самой себе, — но куда денется живот? Этого я не понимаю. Неужели я его никогда не увижу?»

Часто со свистом и храпом она приподнималась на постели и, откинув грязную рубашку, подолгу, качая головой и что-то припевая, рассматривала свой лоснящийся от смертного пота живот. Иногда судорожно-вяло ощупывала его или стирала слюни, упавшие на него изо рта. Один раз заметили, что она пытается расставлять на животе оловянных солдатиков.

— Ты, тётЬ, не волнуй нашу психику, — сурово говорил ей тогда младший племяш Коля, парень лет семнадцати.

Он очень любил жирных баб, и огромный, предсмертно-живой, многозначительный тёткин живот мутил его ум.

Мечта Коли была переспать не с хорошенькой женщиной, а с чудовищным, розовато-лоснящимся животом, выпускающим из себя густой пар от удовольствия. Поэтому любимым стихом Коли, который он часто повторял ни к селу, ни к городу, была пушкинская строфа: «Мечты, мечты, где ваша сладость, где ты, где ты, ночная радость!»

Эти строчки стали его гимном, и по живости своего ума он бормотал их всегда, даже когда попадал в закрытый на ремонт клозет. Он был единственным из обитателей комнатушки, кто хотел, чтобы Полина Андреевна подольше протянула, так как она интересовала его своим животом.

Другой ее племяш, Саня, — парень лет двадцати шести — был ко всему равнодушен, кроме одинокого пребывания под деревом. Правда, порой ему нравилось пить водку, но опьянение делало его еще тише и смиренней — тогда он обожал, тяжелый, неповоротливый, выходить на далекое шоссе, уходящее в поле, и гулять, заложив руки в карманы, по лужам.

Было в нем, наконец, что-то несоизмеримо страшное, непонятное для него самого, что находило на него озарениями. Тогда он любил убегать от себя, прячась целыми днями в пустых канавах.

Его жена Тоня — упитанно-флегматичная женщина двадцати семи лет — не могла дождаться смерти Полины Андреевны. Она мечтала об этом вслух, почти каждый час, так как считала, что Полина Андреевна сама хочет умереть, но только искусно скрывает это.

— Какой бабе хочется жить на белом свете, ежели ее мужик не дерет, — говорила Тоня, набив рот яйцами, старушке. — Брось притворяться. Хочешь, свечку в церкви поставлю, чтоб ты скорей померла?!

Ее муж Саня мало удовлетворял ее, и она «изменяла ему на стороне», но очень спокойно и патриархально, принося в дом в узелке остатки еды и водки, сохранившиеся от загула.

Кто немножко нервничал из-за Полины Андреевны, так это ее сестра, Анна Андреевна, бабешка лет пятидесяти, но уже рано состарившаяся и напоминающая юркую старушонку.

Дело в том, что лицом она была очень схожа со своей отходящей сестрой, и не раз по ночам мочилась от страха, что вместо Полины Андреевны помирает она сама.

По здравости ума Анны Андреевны ее нервозность снималась всегда практическим действием, и однажды, проснувшись, соскочив с постели, она понеслась в дамскую парикмахерскую, чтобы по возможности преобразить там свое лицо... После этого она сделалась веселей, и совсем бойко стала ухаживать за сестрой, как за родным, проживающим долго в ее комнате, моржом...

Отошла Полина Андреевна ночью, с пятницы на субботу. Перед этим, проснувшись, она почувствовала, что внутри ее все опустошено, и только в этой чернеющей пустоте слабо, но истерично бьется сердце. Ее поразило также, что маленькая нежная складка жира на боку ее живота, которую она очень любила, тихонько, почти невидимо пульсирует, как бы даже плачет и прощается...

Она прикрыла складку рукой и подумала. В комнате как-то поживотному храпели. Все спали... Ей очень захотелось приподняться и громко обложить всех матом... Временами она впадала в забытье, вернее, в полоумную предсмертную сумеречность... Но в промежутках, между провалами, она опять, всей своей уходящей душой, всем полумертвым тенеющим телом, хотела выругаться, громко и наверняка, чтобы разбудить спящих... Но сил едва хватило для шепота...

Наутро Коля сразу же взглянул на Полину Андреевну. Он ожидал, что она опять рассматривает свой живот, и очень удивился ее неподвижности...

Весть о смерти переполошила всех домочадцев.

— Слава Богу, отмучилась, — сказала Тоня, — теперь уж она моему бабьему счастью не будет завидовать.

Старушка Анна Андреевна вдруг куда-то исчезла.

Только Саня остался около покойной: он думал, что умереть — это, наверное, то же, что идти одному по далекому шоссе, не выпив ни грамма водки, и переминался с ноги на ногу. Ему было скучно, а скука — было единственное состояние, которое он любил.

«Если бы еще под ногами текли лужи — совсем вышло бы хорошо», — думал он. Коля же забился в уголок и от страха стал читать стихи.

В это время в дверь сурово и серьезно постучали. Дверь распахнулась, и первое, что увидели Спичевы, был белый, корявистый гроб, который медленно влезал в комнату. Позади шушукались здоровенные соседи, проталкивая гроб, и между ними виднелось заботливое, раскрасневшееся личико Анны Андреевны.

— Спасибо, благодетели! — зыкнула она на соседей, и те скрылись в темноте коридора. — Николай, приноравливай гроб!

— Откуда гроб, мамаша? — сердито спросил Саня.

— Крестный твой, гробовщик, подкинул. Еще месяц назад. Так я его, затаясь, на черном ходу хранила, — затараторила, чуть не подпрыгивая, Анна Андреевна. — Из мастерской ихней гроб. Бракованный, совсем хреновый. И деревцо гнилое, с дуплом. Зато по дешевке. Крестный за четвертинку уступил.

— Вот мертвых обжуливать — это ничего, терпимо, — разговорился Саня, — а живых не стоит; сколько вы, мамаша, у сестры носков уперли и пуговиц...

— Ты бы, Саня, чем языком болтать, свои мужицкие обязанности справлял, — вмешалась Тоня.

— Не время сейчас, тюря, — буркнула в ответ Анна Андреевна.

Она заражала всех приподнятостью своего настроения; дело в том, что, когда Полина Андреевна умерла, Анна Андреевна вдруг как-то глупо обрадовалась, что умерла сестра, а не она сама, как будто она должна умереть; точно камень упал у нее с души; она так истерически взволновалась, что сразу же побежала за

припасенным гробом на черный ход; пролила кошкину миску, и в голове ее мелькнула даже мысль: не сбегать ли сразу же в лавку за четвертинкой водки и не распить ли ее от радости где-нибудь в подворотне, у помойки, пританцовывая.

Единственно, почему она это не сделала, то только потому, что в невротическом состоянии занималась всегда делом, а не баловством.

От ее деловитости пыль стояла в комнате.

— По христьянски надо, по христьянски! — кричала она. — Обмыть: черт с ней, а одеть надо... Ишь, покойница совсем голышом любила спать.

Анна Андреевна быстро настроила сыновей наряжать покойную. Саня одевал неспеша, заботливо, словно перед ним был не труп, а малое неразумное дите; у Коли же тряслись руки; он как раз почему-то натягивал нижние штаны.

— Не в ту дырку суешь, обормот! — взвизгнула на него Анна Андреевна. — Ишь, небойсь, как в другую дырку палку вставлять, так не промахнёсси... Живоглот!..

Наконец, Полину Андреевну, как большую помятую куклу для нервных с воображением детей, уложили разодетую в гроб.

Тоня посоветовала было поставить гроб с покойницей под кровать, где ночные горшки, но Анна Андреевна цыкнула на нее.

— Ишь, безбожница! — гаркнула она, добавив матерное словцо...

— А чево, мамаша?!. Неприятно ведь будет, ежели мы с Саней захотим лечь, а она маячит тут на столе, перед носом... Саня и так плохо кончает, а таперя и вообще Бог знает что будеть...

Гроб оставили все-таки на столе.

— Хулиганьё! — взорволась Тоня, — я хоть зарежь, а за стол жрать не сяду...

— Еще как сядешь! — рассердилась Анна Андреевна. — Когда проголодаесси...

Тоня, хлопнув дверью, ушла в уборную и просидела там полчаса. Вскоре появился толстозадый доктор.

— Ну, а я по дялам, — вымолвила Анна Андреевна после ухода врача. — К крестному, И оформлять документы о смерти. И все по блату. Чтоб завтра же ее спихнуть. А то взаправду жрать противно. Комнатушка маленькая, а гроб эвон какой. Чуть не с сучками. Полкомнаты занял... Большой... Точно не на людей. Сам

на столе, а прямо на подоконник, в окно выпирает... Народ будет глядеть... Срамота.

После ее ухода в комнате сгустилось тяжелое философское раздумие и сопливое одиночество. Коля насвистывал песенки и поминутно исчезал в коридор, веселый, диковатый и слегка перепуганный.

— Ну как, стоит? — то и дело спрашивала Тоня у Сани, поглядывая то на гроб, то на его брюки.

Саня отмалчивался и сурово, величаво ходил, как лошадь, вокруг гроба. Тоню стало изматывать это беспрерывное хождение.

— Посиди ты на месте, ирод! — прикрикнула она. — Полежи... Подумай. Может, встанет.

Коле между тем страшно захотелось выпить. И особенно в той пивной, недалеко от дома, где торговала жирная, пузатая, вечно грязная и задумчивая баба. Счастливая мысль осенила его.

— Скажи, что встанет, Сань, — приласкался он к брату, когда Тоня вышла. — Тогда мне надо будет уйти, а я скажу Тоньке, что без рупь пятьдесят не уйду. Она даст.

— Ну, ладно уж, скажу тебе на радость... Только по случаю гроба... Первый и последний раз... Смотри, — вымолвил Саня.

А через полчаса Коля уже торчал в душной, пропитанной мокрой грязью, потом и мыслями пивной, где торговала жирная задумчивая баба. Пивная показалась ему сумасшедшим раем, в котором горят огни и в котором можно целый день говорить о гробе, который довлел над его умом... Баба же эта, продавщица, была сальная и помятая, но со странно нежными волосами. При всем при этом было в ней нечто, отчего можно было внутренне вздрогнуть и закричать, или наоборот, прильнуть — навсегда.

К вечеру все семейство опять было в сборе. К удивлению Анны Андреевны, гроб был накрыт простыней. Это Тоня прикрыла труп, чтоб он не смущал силы любви. Но все равно ничего не вышло. Тоня матерясь сидела в углу и говорила, что она лучше залезет под кровать, но при виде гроба жрать не будет.

Саня сидел на стуле, прямо около гроба, и чинил башмаки. Пьяненький Коленька скинул простыню.

— Правильно, сынок! — орала Анна Андреевна. — Ишь гады, не хотят правде в лицо смотреть... Нехристи... Я вот принципиально буду жрать за столом.

Все поверули головы в ее сторону.

— Я могу даже понюхать покойницу! — разволновалась она. — Не испужаюсь от правды, не испужаюсь... Я правду завсегда люблю нюхать, в лицо, в зубы, в глаза, все как есть! — завизжала она.

И Анна Андреевна, подпрыгнув, изловчилась понюхать прямодушный, безумный и желтый нос сестры. И от этого соприкосновения у нее разгорелся несвойственный ей, жуткий аппетит.

Обед она сварила на редкость жирный и обильный. Ели все поразному, каждый по своим углам. Тоня ела на кровати, повернувшись спиной к гробу; ела надрывно и истерично, ругаясь, выплевывая куски изо рта.

Саня ел медленно, тихо, как хоронил. Смотрел все время в окно.

Коленька же совсем забылся; он краснел, хохотал — из-за хмеля гроб потерял для него прежнее значение — и порывался сально-пьяными игривыми губками поцеловать покойницу в ногу.

Анна Андреевна кушала хлопотливо, самовлюбленно; кастрюлю с супом поставили совсем под носом у покойницы, так что пар заволок ее мертвое лицо... Кушала так упоенно и долго, что все уже разбрелись по кроватям, а она сидела у гроба и все ела и ела. Капли пота стекали по ее лицу.

Она думала о том, что наутро покойницу можно будет спихнуть, так как благодаря блату вся документация уже оформлена.

Однако, Анна Андреевна весьма побаивалась ночи; но, обалдев от сладкой и жирной пищи, она быстро и уютно заснула. Да и все остальные, утомленные обычно-необычным днем, недолго бодрствовали...

Под самое утро Коля проснулся и, взглянув на стол, увидел не всю Полину Андреевну, а только вздымающееся из гроба пухлым холмом брюхо. Он всплакнул, так как очень любил теткин живот и испугался, что больше уже никогда его не увидит. «Холодно ему там будет, пузатому, в могиле», — подумал он.

Похороны проходили энергично, бодро, но как-то загадочно. Когда гроб стали вытаскивать из комнаты, Анна Андреевна разревелась.

Погода была вялая, скучно-осенняя и подходила скорее не для похорон, а для игры в карты или мордобития.

Коленька улизнул из дому задолго до того, как приехала машина, сказав, что приедет на кладбище в трамвае. По дороге

он изрядно нагрузился, размахивая руками, потерял шапку, и приехал на похороны веселый, обрызганный грязью, как весенняя, оголтелая птичка.

Кроме родственников, провожать отправились также соседи, но они держались кучкой, особняком и все время молчали. Говорили, что один из них показал покойнице кулак.

Тоня была то не в меру сурова, то болтала и оживленно, как на базаре, завязала знакомство с двумя мужиками, хоронившими своих жен.

Ветер вовсю гулял по небу. Пошел дождик и некоторых покойников накрыли, чем попали. Полине Андреевне прикрыли только лицо, и то носовым платком. Так и дотащили до могилы... Финал был сердый, скучный и прошел как во сне.

Саня возвращался с похорон один. Сначала ему было, как всегда, все безразлично и нудно. Тихонько купил в столовой из-под полы четвертинку водки. И отхлебнул немного только для вкуса. Заговорил о чем-то с инвалидом, в заброшенных глазах которого горело какое-то жуткое, никем не разделяемое знание. (Этого инвалида, звали его Васею, мало кто примечал по-настоящему). И вдруг отошел от него в бесконечном забытьи. Словно душа Сани провалилась в собственную непостижимость.

От дурости он немного запел. Прошел по переулку — вперед, вперед, к таинственным бабам, у которых непомерна была душа. И еще увидел мертвый зрак ребенка в окне. Этого с ним никогда не бывало раньше, даже когда скука вдруг превращалась в озарение, от которого он шалел. Но теперь все было иное. Точно глаз инвалида осветил его или просто душа его стала ему в тяжесть, выйдя за пределы всего человеческого.

И тогда Саня опустошенно-великой душою своей увидел внезапный край. Это был конец или начало какой-то сверхреальности, постичь которую было никому невозможно и в которой само бессмертие было так же обычно и смешно, как тряпичная нелепая кукла.

И всевышняя власть этой бездны хлынула в сознание Сани. Для мира же он просто пел, расточая бессмысленные слюни в пивную кружку.

●

УТОПИ МОЮ ГОЛОВУ!..

Человечек я нервный, издерганный, замученный противоречиями жизни. Но когда возникают еще и другие противоречия, не всегда свойственные жизни, то тут уж совсем беда.

— Утопи, негодяй, мою голову... — услышал я во сне холодное предостережение, сказанное четырнадцатилетней девочкой Таней, которая за день до этого повесилась у нас под дверью.

Собственно, история была такова. Во-первых, она вовсе не повесилась. Это я сказал просто так, для удобства и легкости выражения. Таня засунула голову в какую-то строительную машину, и когда что-то там сработало, ей срезало голову, как птичке, и голова упала на песок. Во-вторых, не совсем у меня под дверью, а шагах в ста от нашего парадного, на пыльной, серой улице, где и велось строительство. Покончила она с собой по неизвестным причинам. Говорили, правда, что ее — часа за два до смерти — остановил на улице какой-то мужчина в черной шляпе и что-то долго-долго шептал ей в ухо. И такое нашептал, что она возьми — и покончи. После этого шептуна упорно искали, но так и не нашли. Я не думаю, что шепоток был эротический, было что-то гораздо серьезнее. Тем более, что Танечку «эротическим» никак не испугаешь. Думаю, что нашептали кое-какие намеки на... Тс, тс, дальше не буду.

Итак, уже через несколько часов после своей смерти она ко мне явилась. Правда, во сне...

А теперь о наших отношениях. Были они тихие, корректные и почти метафизические. Точнее, мы друг друга не знали, и дай Бог, если слова три-четыре бросили друг другу за всю жизнь. Хотя она и была наша соседка. Но взгляды кой-какие были. Странные, почти ирреальные. С ее стороны. Один взгляд особенно запомнил: отсутствующий, точно, когда маленькие дети рот раскрывают от удивления, и в то же время по-ненашему пустой, из бездны. Потом я понял, что она вовсе не на меня так смотрела, а в какой-то провал, в какую-то дыру у лестницы. А вообще-то взгляд у нее был всегда очень обычный, даже какой-то слишком обычный, до

ужаса, до химеры обычный, с таким взглядом курицу хорошо есть. А порой, наоборот, взгляд у нее был такой, как если бы мертвая курица могла смотреть, как ее едят.

И все, больше ничего между нами не было. И поэтому, почему она ко мне пришла после смерти — не знаю. Просто пришла — и все. Да еще с таким старомодным требованием.

Но я сразу понял, как только она мне приснилась в первый раз, что это — серьезно. Все серьезно, и то, что она явилась, и то, что она явилась именно ко мне, и то, что она настаивала утопить ее голову. И что теперь покоя мне не будет.

Тут же после сновидения я проснулся. Вся мелкая, повседневная нервность сразу же прошла, точно в мою жизнь вошло небывалое. Я открыл окно, присел рядом. Свежий ночной воздух был как-то таинственно связан с тьмой. «Ого-го-го!» — проговорил я.

...Только под утро я заснул. И опять, хотя вокруг моей сонной кровати было уже светло, раздался все тот же металлический голос Тани: «Утопи мою голову!». В ее тоне было что-то высшее, чем угроза. И даже высшее, чем приказ.

Я опять проснулся. Умственно я ничего не понял. Но какое-то жуткое изменение произошло внутри души. И кроме того, я точно ослеп по отношению к миру. Может быть, мир стал игрушкой. Я не помню точно, сколько прошло дней и ночей. Опять немного. Но они были слиты для меня в одну, но разделенную внутри, реальность: день — слепой, белый, где все стало неотличимым, ровным; ночь — подлинная реальность, но среди тьмы, в которой, как свет, различался этот голос: «Утопи, утопи мою голову... Утопи, утопи, утопи...». Голос был тот же, как бы свыше, но иногда в нем звучали истерические, нетерпеливые нотки. Точно Таня негодовала — сердилась и начинала сходить с ума от нетерпения, что я медлю с предназначением. Эта ее женская нетерпеливость и вывела меня из себя окончательно. В конце концов куда, зачем было так торопиться? Таня еще была даже не похоронена, тело лежало в морге, а родителям ее сказали, что голова уже надежно пришита к туловищу. Не мог же я, как сумасшедший, бежать в морг, устраивать скандал, требовать голову и т.д. Согласитесь, что это было бы по крайней мере подозрительно. Тем более, я-то ей — никто. Может быть, ее родители еще могли бы запросить ее голову, но только не я. А обращалась она ко мне!

Отчетливо помню день похорон. Здесь уже я начал подумывать о том, что бы такое предпринять, чтобы стащить ее голову. Но остановило меня то, что ее хоронили по христианскому обряду. Значит — во время похорон нельзя. Я даже смутно надеялся, что после таких похорон она успокоится. Ничуть. После похорон ее требования, ее голос стал еще более безумен и настойчив. Может быть, такие похороны не устраивали ее, но, скорее, дело было просто не в этом.

Через два дня после похорон я попробовал обратиться за консультациями.

Решил идти в райком комсомола. Я, естественно, комсомолец, кончил университет; добровольно сотрудничал в комсомольско-молодежном историческом обществе. Там мы занимались в основном прошлым, особенно про святых и чертей; кому что по душе — кто увлекался Тихоном Задонским и Нилом Сорским, кто — больше про чертей и леших. А кто — и тем, и другим. Это и была наша комсомольская работа. Так вот, Витя Прохоров в этом обществе видный пост занимал, по партийно-комсомольской линии. Сам он был мистик, отпустил бороду и в Кижи наезжал чуть ли не каждый месяц. Знания у него были удивительные: от астрологии до тибетской магии. Потом его перебросили в райком комсомола, зав. культурным и научно-атеистическим сектором. Вот к нему-то я и устремился на второй день после похорон Танечки.

...Витя встретил меня в своем маленьком и скромном кабинетике. На стене висел портрет товарища Луначарского. Взглянув на меня, он вытащил из какого-то темного угла поллитровку, и предложил отдохнуть. Но я сразу, нервно и взвинченно, приступил к делу. Выложил все как есть, про Танечку... Он что-то вдруг загрустил.

— А наяву, днем, у тебя не бывает видений Тани? — спросил он, даже не раскупорив бутыль с водкой.

— Нет, никогда. Только во сне, — ответил я.

— Значит, дело плохо. Если бы днем, наяву — другой подтекст, более легкий.

— Я так и думал! — взмолился я. — Только во сне! А днем — никаких знаков, но в меня вошла какая-то новая реальность. Все парализовано ею. Я не вижу мир. Я знаю только, что мне надо утопить ее голову!

— В том-то и дело. Это твоя новая реальность — самый грозный знак. Голос — пустяки по сравнению с этим... Когда, говоришь, ее похоронили?

— Два дня назад.

— Вот что, Коля, — буднично сказал Прохоров, — скоро она к тебе придет. Не во сне, а наяву, в теле.

— Как в теле?!

— Да так, очень просто. Ты все-таки должен знать, что, например, святые и колдуны обладают способностью реализовывать так называемое второе тело. Это значит, что они могут, скажем, спать, и в то же время находиться в любом другом месте, очень отдаленном, например, но заметь, не в виде «призрака» или «астрала», а в точно таком же физическом теле, в его, так сказать, двойнике. Иногда они так являлись к друзьям или ученикам. Хорошие это были встречи. Святые это делают, конечно, с помощью коренных высших сил, колдуны же с помощью совершенно других реалий... Так вот, более или менее естественным путем это может иногда происходить и у самых обычных людей, только сразу после их смерти... Короче, приходят они порой к живым в дубликате, в физическом теле своем, хотя труп гниет...

— Очень может быть, — как-то быстро согласился я.

— Эх, Коля, Коля, — посмотрел на меня Прохоров. — Все так просто в жизни и смерти, а мы все усложняем, придумываем... В Кижах, между прочим, один старичок очень забавно мне рассказывал о своей встрече с упокойной сестрицей... Но учти, с Таней все гораздо сложней... Она — необычное существо...

— Хватит, Виктор. Все понятно. Дальше можешь не говорить. Давай-ка лучше выпьем. Надеюсь, у тебя тут не одна пол-литра.

И мы напились так, как давненько не напивались. Прохоров даже обмочил свое кресло. Комсомольская секретарша, толстенькая Зина, еле выволокла нас, по-домашнему, из кабинета — в кусты, на травку перед райкомом. Там мы и проспали до поздней ночи — благо было тепленько, по-летнему, и никто нас не смущал. Вытрезвительная машина обычно далеко объезжала райком.

Глубокой ночью я еле доплелся до дому. Пустынные широкие улицы Москвы навевали покой и бездонность. Наконец, дошел. Зажег свет в своей каморке, лег на диван. Но заснуть не хотел: боялся Таниного голоса.

Еще два дня я так протянул. А ведь знал, что тянуть нельзя.

Надо было тащить голову. Но мной овладела какая-то лень и апатия.

И вот третий день. Я сидел в своей комнате, у круглого обеденного стола, дверь почему-то была открыта в коридор. На столе лежали буханка черного хлеба, ободранная колбаса и солонка с солью. Соль была немного просыпана. «К ссоре», — лениво думал я, укатывая хлебные крошки. Почему-то взгляд мой все время падал на занавеску — занавеску не у окна, а около моего нелепого старого шкафа с беспорядочно повешенными в нем рубашками, пальто и костюмами... Эта занавеска все время немного колыхалась... Все произошло быстро, почти молниеносно и так, как будто бы воплотился дух. Таня просто вывалилась из шкафа. Мгновенно поднявшись, она прыгнула мне на колени и с кошачьей ловкостью обвила меня руками. Плоть ее была очень тяжела. Гораздо тяжелее, чем при жизни. Я чувствовал на своем лице ее странное и какое-то отдаленно-ледяное, но вместе с тем очень живое, даже потаенно-живое, дыхание. Глаз, глаз только я не видел. Куда они делись?!

— Папочка, папочка милый, — заговорила она быстро-быстро, обдавая меня своим дыханием. — Обязательно утопи мою голову... Ты слышишь?! Утопи мою голову...

Больше я уже ничего не слышал: глубокий обморок спас меня. Сон, только глубокий сон, наше спасение. Сон без сновидений. И еще лучше — вечный сон, навсегда. Вот где безопасность!

...Очнулся я, когда Тани уже не было в комнате. Окончательно меня добило это дыхание на моих губах: смесь жизни и смерти. Но я начал сомневаться: действительно ли она вышла из шкафа? А может быть, из-за этой вечно колеблющейся занавески? А может быть, просто вошла в открытую дверь?! Однако, сначала мне было не до этих вопросов. Болел затылок от удара головой об пол. Стул, на котором я сидел, сломался. А солонка так и оставалась на столе, рядом с рассыпанной солью... В конце концов, этот стул я еле достал у знакомых — это был антикварный, редкий стул! Я купил его себе в подарок, когда ушел от жены. Может быть, Таня, если бы не отрезала себе голову, стала бы моей родимой и вечной женой: в будущем, когда бы подросла. Обвенчались бы в церкви. Как это поется: «Зачем нам расставаться, зачем в разлуке жить?! Не лучше ль повенчаться и друг друга любить». И поехали бы в свадебное путешествие по

Волге вместе с этим старинным стулом; он так велик, что на нем можно уместиться вдвоем.

Интересно, могла бы быть Таня хорошей женой для меня?! Правда, при всей простоте этой девочки, было у нее внутри что-то страшное, огромное, русское... Да, но почему она назвала меня своим «папочкой»?! Какой я ей отец, в чем?!

Ну, а Прохоров, как всегда, прав. Как говорится, партия никогда не ошибается. Медлить и тянуть кота за хвост больше нельзя. Пора ехать на кладбище...

...Почему в наших пивных всегда так много народу?! Впрочем, может быть, так оно и лучше. Как-то теплей. Но мне не до поцелуев с незнакомыми людьми, не до объяснений, скажем, вот с тем седым пропойцей у окна, Андреем, которого я вижу в первый раз, что «Андрюша, ты пойми, что я без тебя жить не могу; я уже двенадцать лет о тебе думаю...». Сейчас я холоден и реалистичен, несмотря на безумную и отравляющую мое сознание острым и тяжким хмелем кружку пива. Я обдумываю, где мне достать деньги. Придется кое-что продать, кое-чем спекульнуть. Меньше чем триста рублей за такое дело могильщик не возьмет. А это большие деньги. Это ровно тысяча двести таких вот безумных кружек пива, от которых можно сойти с ума. Могильщик, который должен будет разрыть танину могилу и вскрыть гроб, не пропьет сразу все эти триста рублей. Хотя я знаю, все могильщики большие пропойцы, и свое черное дело они совершают всегда пьяными, с мутным взором. Но мне одному все равно не вырыть гроб: я слаб, нервен, на кладбище есть сторож, даже ночью; надо знать время, когда он обычно спит или что-нибудь в этом роде...

Потребовалась еще мучительная неделя, чтобы я напал на след таниного могильщика и понял, что дальше искать не надо: он согласится сам на такое дело. Это был грязный, полуопившийся мужчина по имени Семен, с тяжелым, но где-то детским взглядом. Почему-то он привел с собой еще своего кореша — этот не работал на кладбище, но могильщик ему во всем доверял. Звали кореша Степан. Он был маленький, толстенький и до дурости веселый, почти совсем шальной от радости. Возможно, это было потому, что он часто помогал могильщику. Наверное, великое счастье участвовать не главным в таких делах, но все-таки участвовать.

Мы присели на бревнышко, у травки, у зеленого пивного ларька,

недалеко от кладбища. Толстая продавщица все время распевала старинные песни, продавая пиво.

Семен сходу, резко спросил меня:

— Для чего тебе голова?

Легенда у меня уже была готова.

— Видишь ли, — сказал я печальным голосом, — это моя племянница. Я хотел бы иметь ее голову на память.

— Ты так ее любил? — спросил до дурости веселый Степан.

— Очень любил, а сейчас еще больше...

— Сейчас еще больше... Тогда понятно, — прервал Семен.

— А где ты будешь хранить голову? — опять вмешался Степан.

— Я засушу ее, вообще подправлю, чтоб она не гнила, — ответил я, прихлебывая пивко. — А где хранить... Я даже не думал об этом... Может быть, у бывшей жены.

— Только не храни ее в уборной, — предупредил Степан. — Туда всегда заходят гости, друзья. Нехорошо...

— Это неважно, — оборвал Семен. — Пусть хранит, где хочет. Это не наше дело. И что он скажет другим — тоже не наше дело, если только он захочет показывать голову. Мы все равно завербовались на Колыму и скоро уезжаем. Там нас не найдешь.

— Но вы, ребята, уверены, что все будет шито-крыто? — спросил я.

— Мы свое дело знаем. Ты у нас не первый такой.

Тут уж пришел черед удивляться мне.

— То есть как не первый?!

— Эх, тюря, — усмехнулся Семен. — Бывает порой. Ведь среди нас есть такие как ты, плаксивые. Студентка одна была здесь полгода назад: забыла взять волосик с мертвого мужа. Коровой ревела. Пришлось отрыть. Случается, некоторые пуговицы просят, но большинство — волосики. Все было на моему веку. Одна дамочка просила просто заглянуть в гроб, хотя лет десять уже прошло с похорон мужа, из любопытства. Разные есть люди. Правда, насчет головы ты у нас первый такой нашелся, широкая натура! Видно, сильно ее любишь. Но учти, за волосик или так за любопытство мы берем сто, ну сто пятьдесят рублей, смотря по рылу. А за голову — двести пятьдесят выкладывай — без разговоров.

— Само собой... Мне присутствовать? — спросил я и в то же

время невольно думал: «подвирает поди немного насчет волосиков, могильщик-то».

— Зачем? — удивился Семен. — Если волосик, тогда конечно, потому что надуть можно, хотя мы люди честные. Но головку-то спутать нельзя, тем более, всего неделя какая-нибудь прошла с похорон. Мы вдвоем со Степаном управимся. Ну вот, наконец-то пол-литра вылезла из кармана! Разливай, Степан, на троих, у тебя глаз аккуратный... Да, значит, договоримся о встрече. Товар на обмен, руку в руку, мы тебе голову, ты нам деньги, на пропой души ее...

Все помолчали. Хрястнули стаканы с водкой, «за дело».

— Девка-то, видно, хорошая была, — загрустил Семен. — Я ведь ее хоронил. Тихая такая была. Ничего у нее не болит теперь, как у нас. Эх, жизнь, жизнь! А я свой труп уже пропил, в медицинский институт...

Встречу назначили через день, утром, у кладбища, в подъезде дома номер три — темном, безлюдном и грязном. Все часы мои перед этим были светлые-пресветлые, и только голос Тани во сне звучал тихо-тихо, даже с какой-то лаской. С нездешней такой, прощальной лаской. Они ведь тоже люди, мертвецы-то. Они все понимают, все чувствуют. Еще лучше нас, окаянных, хотя по-другому. Понимала она, значит, что мечты ее сбываются. Отрубят ей в могиле голову и принесут мне в мешке в подъезд. Она ведь так хотела этого, а слово мертвых — закон. И еще говорят, когда очень хочешь, то всегда сбывается. Недаром Танечка так просила, кричала почти. И еще хорошо, если бы у всех людей на земле появилось такое же желание, как у Танечки. У всех людей, в Америке, в Европе, в Азии, везде, у живых и мертвых одинаково, какая сейчас разница между живыми и мертвыми — кругом одни трупы бродящие. И не топили бы головы, а сложили бы их в одну гору, до Страшного Суда. Все равно ведь не так уж долго ждать. И все попутные, обыденные страхи решились бы: никаких атомных войн, ни революций, ни эволюций... Впрочем, что о такой ерунде, как эти страхи, говорить. Думаю я, что тело, в котором Танечка мне явилась и на колени мои прыгнула, и ручками обняла, это и есть то тело, в котором мы явимся, когда Страшный Суд придет. А может, я и ошибаюсь. Надо у Прохорова спросить: он все знает, комсорг...

Вот и наступил тот час. Я стоял в подъезде дома номер три,

в темноте. В кармане — билеты, туда, за город, на реку... Где ж еще топить, не в Москве же реке. Кругом милиция, да и вода грязная. За городом — лучше, там чистая вода, холодная, глубокая. С такого дна голова Тани уже никогда не всплывет.

Семен и его помощник, как-то озираясь, дико шли ко мне; у Семена в руках болталась сумка. Я думал, что все будет более обыденно. И вдруг — какой-то внезапный страх, как будто что-то оборвалось и упало в душе... Могильщики, странно приплясывая, приближались ко мне. Семен почему-то сильно размахивал сумкой с головой, точно хотел голову подбросить — высоко, высоко, к синему небу.

Разговор был коротким, не по душам.

Голова... Деньги... Деньги... Голова. Водка.

Вот и все.

— Взгляни на всякий случай, — проурчал Семен. — Мы не обманщики.

Я содрогнулся и заглянул в черную пасть непомерно огромной сумки. Со дня ее на меня блеснули глаза — да, это была Таня, тот же взор, что и при жизни.

Я расплатился и поехал на вокзал. Взял такси. Они мне отдали голову вместе с сумкой — чтоб не перекладывать, меньше возни. Сумка была черная, потрепанная, и видимо, в ней раньше носили картошку — чувствовался запах. Милиционеров я почему-то не боялся, т.е. не боялся случайности. Видно, боги меня вели. Каким-то образом я влез в переполненную электричку.

В поезде было очень тесно, душно, много людей стояло в проходе, плоть к плоти. Ступить было некуда. Я боялся, что мою сумку раздавят и тогда получится не то. Таня ведь просила утопить. Неожиданно одна старушка — ну, прямо Божья девушка — уступила мне место. Почему, не знаю. Скорее всего, у меня было очень измученное лицо и она пожалела, ведь, наверное, в церковь ходит.

Сколько времени мы ехали, не помню. Очень долго. А вот и река. Она блеснула нам в глаза — издалека, такой холодной, вольной и прекрасной своей гладью. Я говорю «мы», потому что уверен, что Таня тоже все видела, там, в сумке. Мертвецы умеют смотреть сквозь вещи. Правда, ни стона, не вздоха не раздалось в ответ — одно прежнее, бесконечное молчание. Да и о чем вздыхать?! Сама ведь обо всем просила. А для чего — может быть,

ей одной дано знать. К тому же Прохоров сказал, что она — необычная.

И все же мне захотелось о чем-то спросить Таню. О чем-то страшном, одиноком, бездном... В уме все время вертелось: «Все ли потеряно... все ли потеряно... там, после смерти?!» ...Надо толкнуть, как следует толкнуть ее коленом, тогда там, в черной сумке, може быть прошуршит еле слышный ответ... но только бы не умереть от этого ответа... Если она скажет хоть одно слово ужаса, а не ласки, я не выдержу, я закричу, я выброшу ее прямо в вагон, на пиджаки этих потных людей! Или просто: мертво и тупо, на глазах у всех, выну голову и буду ее целовать, целовать, пока она не даст мне ободряющий ответ.

...И вот я — на берегу реки. Никого нет. Мне остается только нагнуться, обхватить руками Танину голову и бросить ее в реку, в глубь. Но я почему-то медлю. Почему, почему? О, я знаю почему! Я боюсь, что никогда не услышу ее голоса — тихого, грозного, умоляющего, безумного, но уже близкого мне, моей душе. Неужели этот холодный далекий голос из бездны может быть близок человеку? Да, да, я, может быть, хочу даже, чтобы она приходила ко мне, как в тот раз, во плоти, пусть в страшной плоти — из шкафа, из-за занавески, с неба, из-под земли, но все равно приходила бы. И садилась бы на мои колени, и что-то шептала бы. Но я знаю, этого не будет, если я выброшу голову.

Но я не могу ослушаться голоса из бездны. Ах, Таня, Таня, какая ты все-таки чудачка! Русский вариант Лолиты?! Да нет, даже смешно стало. Какая она Лолита!. Бывают же нелепые сравнения.

Но зачем, зачем ты так жестоко расправилась с собой?! Сунуть мягкую шейку в железную машину! А ведь можно было сидеть здесь, пить чай у самовара. Но глаза, твои глаза — они никогда не были нежными...

Ну, прощай, моя детка. С Богом!

Резким движением я вынимаю голову. На моих глазах — пелена. Я ничего не вижу. Да и зачем, зачем видеть этот чудовищный, обреченный мир! Будь он проклят! Будь он трижды проклят! В нем нет бессмертия!

Я бросаю Танину голову в реку. Вздох, бульканье воды...

P.S. Позже я узнал, что человек, подходивший к Тане перед ее смертью и что-то шептавший ей, был Прохоров.

ГЛАВНЫЙ

До этих чудовищных событий за Василием Ивановичем Непомоевым никогда не водилось никаких особых странностей. Единственно, что действительно было, так это посторонние, безотносительно мира сего галлюцинации, появляющиеся у Василия Ивановича каждый раз, когда он, огромный, тугоповоротливый, садился на толчок. Поэтому, когда Непомоев испражнялся, то смотрел он всегда прямо перед собой, в одну точку, напряженно и достаточно отсутствующе.

Невидимые — как он их называд — проходили мимо него в некое пространство, нередко строем и со знаменами.

Иногда только пугали Василия Ивановича отдельные индивидуальности, заслонявшие собой все остальное, галлюцинатичное; они нависали прямо над толчком и как бы не соглашались с существованием Василия Ивановича; он тогда смотрел на них снизу вверх, как оболтус. Иногда все сознательное уходило ему в зад, и на лице оставалось только интуитивное ожидание.

В остальном это был спокойный, непривычный к жизни человек. Жил он в коммунальной квартирке, в просторной комнатушке, вместе с девочкой лет десяти-одиннадцати, которую почему-то считал своей дочерью.

Пугался ли он людей? Бывало, и тогда он долго и неповоротливо бил их по морде, особенно на площадях. Иной раз любил щекотать старушек, гоняясь за ними до дворам.

Два раза в жизни ему казалось, что настежь распахивается запертая дверь в его комнату и кто-то хочет войти к нему, но вдруг исчезает на пороге.

Жизнь его текла какая-то оголтелая. На себя он почти не обращал внимания, но с шуршащими по углам соседями у него велись призрачные, не очень хорошие отношения. Его до того считали придурковатым, что в глубине души ожидали от него нечто необычное.

Но сам Василий Иванович скорее чуждался своих соседей; их постоянное присутствие вызывало в нем смутное подозрение, что на самом деле он находится в аду, а не на этом свете. Но в аду не грубом, физическом, а скорее в психическом аду.

Они до того ему надоедали, что иногда по ночам он выходил в коридор и, прихлопывая ладошками, разговаривал с соседями, хотя на самом деле в коридоре никого не было.

Василий Иванович считал, что призрачное общение смягчает общение дикое, повседневное. Иной раз он позволял себе плевать в их несуществующие рожи.

Хорошо еще, что дочка не вызывала в нем тому подобных чувств; это несколько странно, и можно объяснить, пожалуй, только тем, что девочка являлась ему обычно в клозете, во время галлюцинаций; и ее земное существование как бы стиралось по сравнению с галлюцинативным. Василий Иванович считал ее слишком тихой для повседневной жизни; она и вправду была тиха, но не придурошна; только вот любила мысленно плясать во время сна.

Соседи, те были не такие; они скорее переносили сон на действительность.

Особенно не понимал Василий Иванович одинокого, лысого, но уже помолодевшего субъекта, которого все называли шептуном. Нашептывал он правда в несуществующее. Если, например, и шептал что-то у двери соседа, то только тогда, когда там висел огромный, многозначительный замок.

И странно, самому себе он ничего не шептал. С кем же тогда он общался?

Остальные соседи были более или менее рациональны... Интеллигент Эдуард Петрович вообще был до омерзения нормален, если не считать его патологического ужаса перед загробной жизнью. От этого страха его спасала только педерастия.

Его брат Петя, бегающий по коридору, а иногда и по полю, толстяк, занимался накоплением денег и засушенных сверчков.

Последняя семья выглядела очень религиозно; скорее всего она — Раечка.

Муж Коля, если и мог считаться религиозным, то только в смысле обожания ближайшего начальства, которого он долго и исступленно этим преследовал.

Раечка же ходила в церковь и представления о том свете у нее были строгие, положительные, как у бухгалтера о смете расходов. Непомоева она особенно не терпела, потому что он никак не укладывался ни в какие рамки.

И вот одним летним воскресным утром Василий Иванович,

заснувший в клозете от слишком густого наплыва своих якобы галлюцинаций, проснулся от резкого стука в дверь. Он уже с полчаса как кончил испражняться и невидимые больше не появлялись. «Опять бить будут», — подумал Василий Иванович про соседей. И действительно за дверью что-то дышало и жило. Василий Иванович прислушался задницей у двери. И вдруг услышал шепот, дальний такой, несколько мистический: «Непомоев, Василий Иванович, вам не дурно?!» Василий Иванович отнес почему-то шепот за счет невидимых. «Неужели они стали приходить сами собой», — тяжело подумал Непомоев.

Но «они» его не пугали: один раз, когда Василия Ивановича прослабило в теплой ванне, «они» тотчас появились и рядком, смирехонько, уселись на стульях вокруг ванны и очень прилично себя вели.

Поэтому Непомоев непугливо открыл дверь.

К его изумлению перед ним застыла фигура шептуна с его замороченным лицом.

Василий Иванович хотел было запереться в клозете, но шептун ласково и настойчиво его не пустил.

— О здоровьишке вашем беспокоюсь... Вот так, — нелепо прошипел он. — Вот так... Вот так, — и как истукан стал пожимать руку Василь Ивановича. — Вот так.

Непомоев ошалел.

— Да пустите же мой зад, — глухо сказал он.

— Простите, — обалдело ответил шептун и упал.

Перешагнув через скрюченного на полу шептуна, Василий Иванович, изрядно перетрусивший, двинулся вперед по коммунальному коридору. Вдруг все двери в комнаты приоткрылись и из них выглянули жильцы.

— Василь Иванычу слава, слава! Василь Иванычу — слава, слава! — разом, точно заговоренные, запели они. И самое главное в такт.

— Василь Иванычу слава, слава! Недоступному — слава, слава! — пели они во всю мощь своих сознаний. Пела на кухне даже его дочь.

Непомоев побежал. Коридор был длинный, серьезный, с веществами по углам, а комната Василь Ивановича от клозета была самая дальняя. Спотыкаясь, он вбежал в нее и заперся на ключ.

«Что с ними! Они сошли с ума! Они все переменились!», — подумал он и с ужасом увидел, что дочкиных вещей в комнате нет. Не было даже странно массивной кровати.

«Таня, Таня! Сюда!» — завопил он дочери, оставаясь в комнате. Выйти он не решался и вопил настырно, по-громадному. Наконец, он почуял, как у двери неожиданно зашуршали.

— Надо ему объяснить, — услышал он шепот.

— Василий Иванович, пустите! — наконец раздался робкий единый вздох пяти душ.

— Не пущу! — подбадривая себя, орал Василий Иванович.

Вдруг, после шепота, выделился голос Раечки: «Они все уйдут, а мне-то можно...»

Непомоев уважал Раечку за религиозность и рационализм; к тому же она была женщина.

«Уходите!» — проурчал он, а сам заглянул в особо доверительную щелку.

Действительно, мигом никого не оказалось в коридоре. Кроме Раечки. Непомоев острожливо впустил ее, разом опять запершись. Раечка была как всегда проста, объяснима, требовательна и к себе и к людям, но на Непомоева смотрела с несвойственным ей восхищением.

— В чем дело, Раечка? — слегка спустив штаны, осклабился Непомоев. — Где кровать моей дочери?

Раечка нервно заходила по скрипучему полу.

— Ваша дочь никогда не будет мешать вам в одной комнате, — сказала она, поеживаясь. — Она никогда больше не осмелится присутствовать при вас.

Непомоев как-то гнусно шевельнулся животом и хохотнул: «Чего же ее, милая, так смутило?»

— Василий Иванович, — не обращая внимания на его слова, проговорила Рая и подошла к Непомоеву, глядя на него широко раскрытыми глазами, в которых были слезы. — Василий Иваныч, — тихо сказала она, — есть сведения, что вы на том свете — главный...

Это было сказано настолько жутко, убежденно и всеобъемлюще, что Василий Иваныч замер.

— Что?! — слюнно выкрикнул он минуты через две.

Почему-то ему самому перед своим существованием стало страшно и повеяло непонятностью и неоконченностью самого себя...

...Запершись, Василий Иванович остался один. И в его комнате была абсолютная тишина. Через полчаса он вышел. Пристальные глаза жильцов наблюдали за ним. Во дворе он встретил Раечку и еще двух чистых людей.

Отозвав их за угол помойки, Василий Иванович почти целый час беседовал с ними. Оказалось, сведения были очень определенные и точные: они шли и от интеллигента Эдуарда Петровича и от двух важных, живущих неподалеку и разъезжающих на «зиле» личностей, работающих, как все уверяли, в засекреченной оккультной лаборатории и, главное, от одного подозрительного субъекта в рваном пальто, о котором не раз говорили, что он парил.

Молча Непомоев пошел в сторону, в булочную; он то колебался, то не колебался. Механически купил хлеб, и вдруг ему стало противно его жевать.

А к вечеру во дворе уже творилось черт знает что. Непомоева напугал старый рецидивист, работающий плотником. Он наверху чинил сарай, и обычно жестокомордный даже по отношению к собакам, повернул харю к Василию Ивановичу, заискивающе улыбнулся, и, приподняв кепку, проговорил: «Хозяин идеть». От предчувствия чего-то абсолютно невозможного Непомоев спрятался в садике, между дровами, в дыре, и стал прислушиваться.

Особенно взволновался из-за неожиданной потери интеллигент Эдуард Петрович.

— Это же ужас, товарищи, — нервно бегая по двору, верещал он, — нам надо скрывать эту тайну; а то Василия Ивановича от нас заберут, заберут!

Раечка была более рациональна: «Куда бы его ни забрали — все равно «там» он главный, — говорила она. — Нам не нужно докучать ему здесь... Нам нужно просто жить по Непомоеву». Толстяк Петя, бегающий по коридору, а иногда и по полю, уверял, что ему на все наплевать, потому что он — постоянный и даже на том свете кроме сверчков и денег ни о чем и слышать не хочет.

Шептун вдруг куда-то исчез и никто его больше никогда не видел.

Многие другие жильцы отнеслись к этому событию, правда, чуть недоверчиво, но с большой опаской. Поэтому на дворе стоял неимоверный гвалт. Рецидивист хохотал, сидя на сарае.

Наконец, Непомоев вышел из своего убежища. Увидев его, все замерли и гвалт мгновенно прекратился. Некоторые даже закрыли лицо руками. Неустроенный, Василий Иванович, ни на кого не глядя, прошел в дом. Ровно через час к нему опять постучали. С настороженным, несколько скучающим лицом, Василий Иванович открыл дверь. Перед ним стоял интеллигент Эдуард Петрович. Галстук на нем сбился, словно облеванный, костюм был смят и как бы улетал от него. Сама физиономия была воспалена, губы красны от налившейся крови, а глаза монотонно блуждали. Он весь дрожал.

— Василий Иванович, — начал интеллигент, — одно только слово... Умоляю вас... У меня к вам вопросы... Скажите, как там, на том свете?..

— Что? — переспросил Непомоев.

— Ну, вообще... Всякие детали... Не слишком ли страшно?.. И есть ли мысли? — бормотал Эдуард Петрович.

Непомоев побагровел.

— Пошел вон! — заорал он и схватил щетку.

Дверь тотчас захлопнулась, а через несколько минут у окна Василия Ивановича, под деревом, лежал на земле судорожно скрюченный Эдуард Петрович и горько, истерически, отталкивая от себя тело, рыдал. Иногда он вдруг, очень непосредственно, вставал на ноги и, весь грязный, в слезах, надрывно выкрикивал в окно Непомоева:

— Ну, как же там на том свете... Ну, как же там на том свете!!? — и опять падал на землю.

Окно Василия Ивановича было наглухо закрыто. Даже птицы не летали около. Бесцельно бродя по своей комнате из угла в угол, Василий Иванович скучал. В окрестностях было что-то вроде тишины.

Но иногда она прерывалась звуками странной беготни, хлопаньем дверей и суетней. Василию Ивановичу показалось, что бегали даже кошки. Его самого после инцидента с Эдуардом Петровичем уже боялись о чем-либо спрашивать и не беспокоили. Но вскоре эти звуки странной, танцующей суетни усилились. Дело в том, что потеряв доступ к Непомоеву, жильцы совсем взбесились и, не зная как выразить свои причудливые чувства и мистическое нагнетение, как бы плясали вокруг дома Василия Ивановича, словно лунные жители вокруг костра. Тон задала одна древняя,

богобоязненная, но еще в теле, старушка Анна Митревна. Потустороннее, однако, она понимала только по-своему, по-бабьи. Она его представляла себе как пустынный, но беспрерывный половой акт, который уходил далеко, далеко в вечность. Поэтому блаженная весть о Непомоеве до дикости увеличила ее потенцию. Надо сказать, что способ удовлетворения у нее существовал всего один, не очень-то принятый в обществе. Она собирала со всех концов Москвы слепых кошек, раздеваясь догола, натирала свое старчески-похотливое тело, особенно нижнее место, обыкновенной валерьянкой. Коты свирепели, дрались и урча лизали ее гениталии. Очень часто не обходилось без кровавых, смазливых царапин, особенно на ляжках.

Почему привлекала она именно слепых кошек? — На это Анна Митревна говорила самой себе, что никто не достоин созерцать божественность ее тела.

А сейчас, после вести о Главном, Анна Митревна окончательно распоясалась. Слепые коты, сидевшие по углам в ее комнате, насторожились. Лихо сбросив с себя одежонку, чуть напевая, старушка вылила на голое тело целый ушат валерьянки. Гениталии прямо полоскались в ней. И она завалилась, задрав ноги, в пухлую постель. Десяток дюжих, подслеповатых котов набросились на нее...

Между тем собравшиеся вечерком на дворе, у доминошного столика, жильцы мирно и тихо шушукались о бессмертии души. Но вдруг они увидели такую картину: парадная дверь одной из развалюх настежь распахнулась и на белый свет выскочила голая Анна Митревна, вся в крови и с венком в руках.Несколько котов, как тигры, бросались на нее, особенно между ног. Даже лицо и живот у старушки были в кровавых лоскутьях.

Эта лихая сцена напомнила что-то родное, юродивое. Какой-то старичок упал перед Анной Митревной на колени. А основная масса жильцов забегала, не обращая внимания на свои зады. Почему-то никому в голову не пришло вызвать скорую помощь.

Средь общего хаоса странно выглядели несколько, точно загипнотизированных своими мыслями, человек, которые равнодушно ходили мимо бегающих жильцов. В большинстве эти несуетные думали о Непомоеве и других бесконечных вопросах. Среди них была и Раечка. Она раскладывала по полочкам свою вечную жизнь.

Шум между тем усиливался. Наконец, Анну Митревну припря-

тали в канаву. Кто-то оторвал головы двум слепым кошкам.

Вдруг стало быстро темнеть и в вечерней тьме особенно страшен был одинокий свет в окне Непомоева; иногда выглядывало и его лицо — уже за это короткое время ставшее жутким и маскообразным.

Одна доченька Танечка осмеливалась по земному плясать перед его окнами; шальная и десятилетняя, она махала ему красным платком.

Все окончательно затихло, только когда подъехала на колясках милиция. Забрав двух дядь, она бесшумно и таинственно уехала.

А Василий Иванович целую ночь не спал. Он и сам не знал, что с ним творится. Он был весь во власти некой жуткой и необъяснимой реальности, о которой он не знал раньше и которая сейчас показывала ему, что он — незакончен, и в нем есть совершенно неслыханные бездны.

Эти странные «сведенья» о том, что он есть или будет на том свете Главный — если они даже и были верны — не встретили в нем, земном, понимания: уж слишком это было как белая стена и потусторонне. Но зато эти события вызвали в нем поток какой-то странной силы, которая хотя и не говорила, кто он — Главный или не-главный, но которая ужасающе ясно показывала, что он только жалкая частичка того, кем он мог бы быть...

Поэтому Василий Иванович загрустил. Он смутно видел те духовные бездны, которые открывались ему... но чувствовал, что ходит только по их краю и не может броситься в них. От этого он судорожно засеменил из стороны в сторону по своей заброшенной, с пустыми дырами вместо вещей, комнате.

Он не знал как тут же, сию минуту перейти грань. И хватался, хватался за все несусветное, попадающееся ему под руки. Приделал петлю перед зеркалом, и положив в нее голову, долго, как собака, прислушиваясь, смотрел на себя.

— Ну как, Главный, — подмигнул он сам себе в зеркало, — пора кончать?

Но из-за неуверенности, что это именно то, что нужно, чтобы перейти грань, он медлил, и то, вынимал голову из петли, то опять клал ее в петлю.

«Является ли повешенье мыслью или это будет факт новой власти?» — думал он, глядя на себя.

Наконец, вдруг стал собирать свои пожитки. Свернул одеяло, простыни, матрас, но с собой ничего не взял.

И когда уже было раннее утро, и свет залил пустынный, не шелохнувшийся двор, где недавно происходила вывороченная наизнанку мистерия, Василий Иванович вышел на улицу.

И никуда далеко не пошел. Просто залез в подвернувшийся рядом огромный, помойный бак. «Больше я отсюда никуда не уйду», — подумал Василий Иванович на дне. А вокруг бака, как голоса больного, звенели его юркие, оторвавшиеся от него мысли; они пели ему то: «слава, слава!», то :«куда ты, куда ты, куда ты!», то: «прощай, прощай, прощай!».

●

ЧЕЛОВЕК С ЛОШАДИНЫМ БЕГОМ

Герой этих записок был существо огромное, непохожее на своих тридцатилетних сверстников, и, вместе с тем, крикливое, настойчивое. Одним словом, он был удачником. По крайней мере, такое он производил впечатление на всех видевших его. И еще бы: зычный голос, быстрый лошадиный бег, большие увесистые руки, красное, отпугивающее наглостью лицо.

Только одна девочка, хорошо знавшая его, говорила, что он — ужас и только извне таким кажется.

Итак,

Записки человека с лошадиным бегом

Вчера все утро просидел в уборной и задумывался... Господи, куда идтить... В полдня сорвался и побежал... На улице сыро, слякотно, и точно мозги с неба падают. Я людей не люблю: кругом одни хари — женские, людские, нет чтобы хоть один со свиным рылом был... У-у... Так и хочется по морде треснуть... Старушонку все-таки я плечом толканул: шлепнулась, но завизжать побоялась: больно я грозен на вид, хоть и трусоват... Извинившись перед следующим гражданином, пошел дальше... Когда я хожу, то очень сурово шевелю ногами и руками... Потому что, если не будет этого шевеления, совсем противно, как бы незачем жить... Кругом люди и люди... А тут все-таки свое шевеление.

Люблю я также на деревья смотреть, особенно на верхушки... С часок могу так простоять: народец на меня, бывало, натыкается.

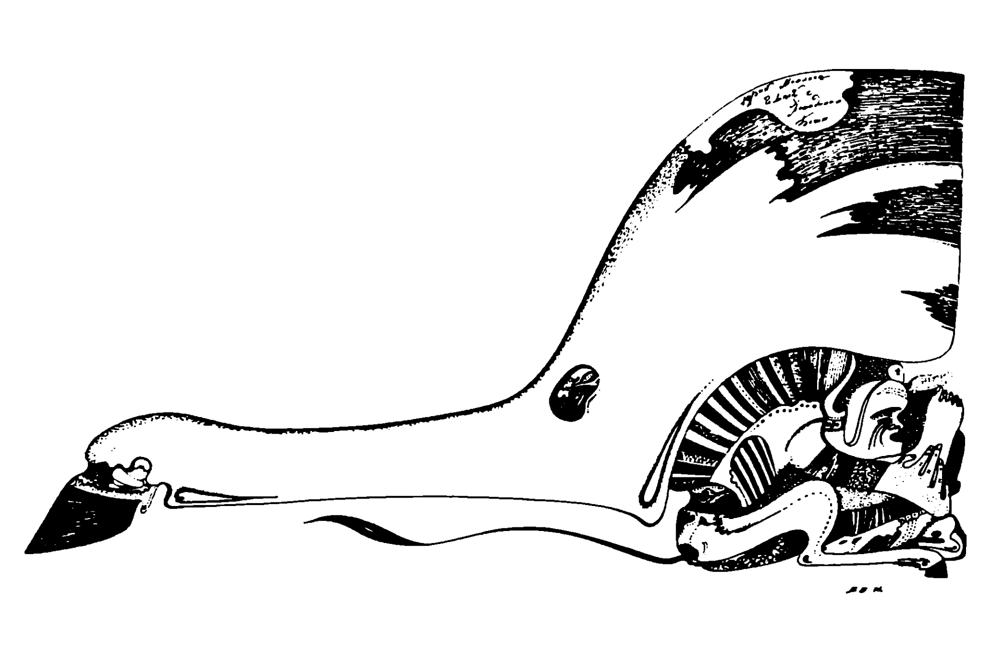
Но сейчас деревья не попались, одни троллейбусы... Увидев первый же темный переулец, я всего избежал... Завернул в него... За луком народу видимо-невидимо... Но в очередях я людей люблю: больно они на монахов похожи и рассуждают... Один мужичонка хотел меня побить, думал шпик... А мне что: шпик-не шпик, король-не король... От лавки до угла я совсем пустой был: шевеление прекратилось, и не знал я, чего делать... В таком случае я всегда подпрыгиваю... Тогда мозги растрясет, и пустоты — нет... С того угла я стал подпрыгивать. Пионеры на меня коситься стали... И откуда около пивных столько пионеров?

...Пустота прошла, мне к Богу полететь захотелось. Я Бога люблю, только редко его замечаю...

Инда около одного двора много грузовиков скопилось... Мужики кряхтят, водой плещутся... Я дурак-дураком, а подсобил... Я иной раз люблю подсоблять, на душе так светло-светло становится, и в морду бить никому не хочется... Ушел... Больно тяжелы мои ноги стали; точно кровью наполнились... Удивительное дело: ноги — тяжелые, а дома — легкие... Вон он стоит — громадина в 10 этажей, — а мне-то что, мне — ноги тяжелы, а ты есть-не есть — все равно легкай... Я иной раз сплясать люблю. Но перед людьми — никогда. Перед домом или грузовиком. И обязательно с гармоникой... Это мне часто выпивку заменяет... Только в милицию можно попасть, и затылок бывает теплай от крику...

Я пошел дальше. Прошел рынок, молочную, сквер, двух баб. Потом — в пивную. Денег сегодня — на кружку пива... Хорошо, хоть мозга растряслась... Я всегда, как в пивнушку вхожу, сам не свой делаюсь... Народ здесь, как ангелы, — в душу смотрят... Одежонки у всех распахнуты, отовсюду нутром несет, а главноить, — глаза, глаза, глаза... Со всех сторон дырявят... Но это первый момент... А потом — все сами по себе, как оглашенные...

Я пивка взял, кулак соли в него всыпал и стою у окна прохлаждаюсь... В это время — мне чесаться нравится... Я пивка отопью, сниму носок или рубаху выверну и почешусь вдоволь... Народ ржет, а на самом деле это — не народ, а киноактеры... Кино есть кино... Чесание такое мне по душе — я себя в это время



личностью чувствую, молодым дубком, Бонапарте... Хорошо, как на пляже... Выпил, в башку мысль глянула... К Моськину идти... Вот как бывает, давеча в уборной сидел — мучился, не знал, куда идти, а теперь все знаю...

Моськин рядом живет... Парень он аккуратливый, без оглядки, только сам на себя смотрит.

Жена у него — под брюками... Иду... Холодновато солнышко для меня... Не на той планете я родился... Ване Данилычу бы в других местах жить, подальше от шума-гама да поближе к звездному небосклону... Интересно, мозги у меня серые, а как можно серостью думать?!...

Моськин на втором этаже живет... Обрадовался, рассобачил пасть, заулыбался... Понятливый... Сели, посидели. Прошло с часок, а может, и все три. Потом я песни запел. Мне какая песня понравится, так она у меня в мозгу гвоздем сидит. А от гвоздя того как бы сияние исходит во все концы: в глаза мои бьеть и в волосы, и в рот... Мне что, мне хорошо... Пустоты нет, одна тупость... Я сам себя песней-гвоздем чувствую... Только кто меня в стенку забивать будет? А я, когда пою, сам в небеса гвоздем забиваюсь.

Моськин, разиня рот, слушал.

— Больно надрывно поешь, — говорит...

Потом дитя, тоненькое, как глиста, проснулось. Моськин говорит: кончай орать. Я попел с часок, потом, скрепя сердце, кончил. Моськин за картошкой ушел...

Мне опять тяжело стало... Куда деваться?... Я к дитю подошел... Рука у меня огромная, пивная, а кулак больше евойной головы... Я со страху чуть не обмочился, но в душе приятно защекотало... «Вот для чего я живу», — подумал я. Пальчищами своими я его за горло взял... Дите неразумное, на потолок смотрит, на мух... А меня — так и тянет, так и тянет... Но страшно стало... Первое дело — засудят, а я себя люблю... Второе — сам себе страшен стал... Одного придушишь, второго, третьего... А там пошла... Так, глядишь, и на себя руку подымешь, самого себя перед зеркалом задушишь... Трусоват я стал... Аж вспотел от страха, на дверь оглянулся... Дитенку — ручищей пивной — животик щекотнул, соску вправил...

Наконец, Моськин пришел. Я его по-обезьяньему в морду поцеловал. А он распетушился — почему дите орет.

Я говорю: «Я на него дохнул».

Он кричит: «Я тебе дохну, ухажер!»

Скучно мне стало. Гвоздей нету. Шевеленья тоже. И главное — конца-краю нет. Глянул в окно: далеко, Господи, ты землю раздвинул. А нам-то, где конец, где начало?..

Хотел, было, в уборную пойтить, да Моськин не пустил.

От Моськина я брел, как волна — то падаю, то поднимаюсь. А что толку — все течет... Но каждый кончик свой вопрос имеет. Нога спрашивает — зачем?! Не в смысле хождения, а в смысле ощущения ноги — зачем? И куда? Во что?

Так же и все остальное. В целом. А то, что мыслит, мозга, особенно кричит: зачем, зачем?!

Точно хочет куда-то подпрыгнуть и из тюрьмы своей вырваться.

Я побежал. Я от мыслей часто бегу. Но теперь не помогло. Словно не я бегу, а все кругом бежит... А мне скучно.

Пришел домой. Вечерело. Починил стул. Посидел. Починил стул. Опять посидел. Папаня приплелся, старичок. Он у меня — один.

Я говорю — папань, чегой-то я сегодня веселый.

Он молчит.

Мне молчи-не молчи, я и сам могу кулаком махнуть.

Жалко мне папаню. Грязный он у меня, нищий и оборванный. Старичок, а сопливый, как дитя. И глаза — ясные.

В черном теле я его держу.

Если б мне было куда деваться, я б его по-настоящему пожалел. А то я его жалею больше для себя, для забавы. А деваться мне в самом деле некуда — сколько ни работай, сколько песен ни пой. Вопросительный я весь, точно закорючка.

А старика люблю пожалеть: бью его, деньги отбираю, черствым хлебом кормлю, а жалеть — жалею.

— Папань, пригреть? — заложив руки в бок, подошел к нему.

Он конфузится и лезет в угол.

Я старика мыть люблю, в корыте. Он голодный, долго не выдерживает. Но я промою, кулачком по бокам пройдусь.

Этот раз он еле дышал. Завернул его в простыню, на постель кинул, одеялком прикрыл... Очухливайся, родимый.

...Свет погасил. Картошку поел. Я во тьме люблю есть. Походил по комнате, заложив руки в штаны...

Вопросительность во мне растет, а жизнь — как вялое бормотание...

Постучал стулом...

Господи, когда же я к тебе улечу?!

●

ДРУЖБА

Дачка, что на Угловатой улице в Томилино, с прозорливой ловкостью шизоидного психопата обособилась от всех остальных домов. С улицы ее почти не видать: высокие, нахмуренные дядюшки-деревья скрывают ее за собой. Сама дачка почти полуразрушена и принадлежит Бог весть кому. Почему-то на ней вывешен флаг.

Сейчас в дачке коротают сезон два друга: странный молодой человек с оттопыренными ушками и крысиной мордочкой и старушка лет под семьдесят.

Парень — зовут его Сереня и он вполне интеллигентен, студент — встает обычно рано утром и занимается гимнастикой. Тело у него стройное, спортсменистое, но кожа нежная, розоватая, как на кончике члена.

Меж высоких, одиноких сосен он целым часом прыгает взад и вперед, вертится вокруг себя и иногда что-то внутренне бормочет.

Личико у него цепкое крысиное, хотя и с некоторой пугливой добротой, а глазки все время смотрят вниз, к себе, на часто оскаленные зубы. Волос у него почти нет; растут только реденькие серые, как полынь.

Сегодня еще семи утра нет и солнце поднимается трагически медленно, тяжело, а Сереня уже вовсю скачет по саду. Растолкав тело, присел на скамеечку поглядеть в пустоту. И в то же время песенку внутри себя напел, все одну и ту же, какую он поет уже

два года. Сидя прошло много времени. И странно, Сереня ни разу не поднял глазки к небу, как будто неба и не было. Всю дорогу он смотрел вниз, на оскаленные зубки, или наискось, в сторону.

Начинался обычный рядовой день. Часов в девять Сереня пошел будить бабу. Старушка — Марья Потаповна — была проста, но спать любила почему-то головой под подушку. Вскочила она быстро, юрко и, как лохматая мышка, побежала ставить жратву. Даже слово не промолвила.

Сереня лег читать. Любил он больше мрачненькое, поэтому книги выбирал медицинские, где рассказывается про клинически неизлечимые случаи. Такие он мог перечитывать годами.

Марья Потаповна тем временем хлопотала о еде. Была она деловита, жизненна, но в жару одевала пуховый платок, чтобы спасти башку от посторонних влияний. А пищу приготовляла особенно рассудочно, даже пришептывая временами над кастрюлей. Еды было видимо-невидимо, и странно, что в завтрак она готовила и суп, и второе, и закуску, и все в большом количестве...

Сереня как раз застыл на самом интересно-мрачненьком месте, как у маленькой девочки обнаружили рак мозга. Тут-то Марья Потаповна и окликнула его, жрать. Сереня встрепенулся и сразу отшвырнул книгу. Ради еды он был готов на все.

Цепко окинув стол каким-то поглощающим взглядом, он коротко пожурил старушку, чтоб жратвы было столько же, но в то же время была экономия.

Началась еда и молчание. Старушка ест лениво, равнодушно, прячась в платок. Подолгу дует на полную ложку. Это, пожалуй, ей больше нравится, чем еда.

Иное дело Сереня... Личико у него раскраснелось, облагородилось, и он ест не просто через рот, но и всем нутром своим, даже взглядом. Оттопыренные ушки потайно шевелятся. Жует он также по-своему: часто, часто, со слюной, и челюсть слегка дрожит от удовольствия. Иногда он издает стоны. Но все же ореол мрачненького с него полностью не сходит, хотя сам он сейчас живехонько-радостный. Понемногу жратва подходит к концу. По мере насыщения Сереня становится серьезней, не таким разбитным, когда он проглотил первый кусочек. Последние картошечки очищает строго, со значением. Даже губы слегка надул.

Марья Потаповна смирехонько додувает последнее блюдечко

чайку. С начала завтрака не было произнесено ни единого слова.

— Когда ебать будешь, Серень? — вдруг сонно спрашивает старушка.

Сереня молчит. ветерок ласкает через окно, птички поют.

— Смурной ты какой-то, — добродушно продолжает Марья Потаповна. — Уже который год я с тобой дружу, а ты ни разу со мной не спал.

— Я ж тебе говорил, мамаша, — сердито отвечет Сережа, — что, когда помрешь, тогда и будет. Я с живыми не люблю.

— Ах, я и забыла, сынок, — спохватилась Марья Потаповна. — Стара стала. Значит, мертвую меня возьмешь. Ну и слава Богу. И то хлеб, — покачиваясь, продолжала она. — А то я сегодня ночью проснулась под подушкой и думаю: который год мы с тобой вместе живем, друг от дружки не отходим, все по-хорошему, по-семейному, а вот чтоб насчет этого — ни-ни... Но насчет главного-то я запамятовала.

— То-то, мать, — сурово проговорил Сереня и оглянулся, не подслушивает ли их кто.

Доедаются последние крошки, сочные и питательные, как жирные, нездешние мухи. Неожиданно с высоты неба быстро и угрожающе-неприятно темнеет. Становится тревожно-скучнее и старушка забирается поглубже в кресло, в платочек.

Все еще молчат.

— Знаешь, что я надумала, Серень, — вдруг говорит старушка, — что долго нам еще ждать до свадьбы. Когда это я умру.

— Ничего, подожду, — отвечает Сереня насупленно.

Он уходит дочитывать про малютку, погибшую от рака мозга.

Свертывается калачиком и читает. Как только глаза его останавливаются на заключительной фразе «смерть наступила», он сладко и удовлетворенно, несколько даже по-бабьи, засыпает. Его самовлюбленный храп слышен во всех уголках дачки. Марья Потаповна всегда любит под его храп чистить керосинку. И на этот раз она точно вздрагивает, очнувшись от собственной сонности, и во всю прыть занимается своими делами.

Лицо у нее становится светлым, как у невесты.

Пронесется дождик, прошумят деревья, проедет где-то за кустами грузовик.

Отоспавшись, Сереня зовет Марью Потаповну по грибы. Но сначала он прыгает вокруг себя, делая длинноногую гимнастику.

У Марьи Потаповны от него кружится голова; но от кружения ей интересней жить. Старушка грибы собирает аккуратливо, становясь на коленки, и, найдя грибок, все время причитает: «продолжение... хе-хе... продолжение...» Но с грибами собирает она также много травы и опутывает их одной ниткой.

Сереня грибы почти не смотрит, а больше думает про Ньютона.

За обедом он опять цепенеет от жадности; старушка же поест, пошамкает и опять промолвит: «продолжение». После еды Серёня ложится отдыхать, но ни о чем не думает, зато вместо этого каждые полчаса встает пить воду.

Вечером они так ушли в себя, что совсем потерялись друг для друга. Сереня, правда, чем больше уходит, тем больше различает внешние предметы. Особенно любит он, ушедши в себя, ловить пауков. И сознание у него тогда ясное, просветленное.

Наконец, наступила ночь. Сереня помахал палкой в воздухе. Это он так любит Господа пугать.

Марья Потаповна, обставившись кастрюлями, сунула голову под подушку.

Сереня заснул быстро, как потонул. Сны ему, если снятся, то черные, но больше одни линии.

Вдруг среди сна слышит он шепот, дальний такой, но все его нутро обволакивающий. Он со страху хотел еще глубже заснуть, но шепот и сон его захватил, и во сне закачивает, и играет им, как голеньким.

Серёня вскочил. Чувствует, во тьме что-то ворочается.

— Помираю, милый, помираю, — слышит он шевеление.

А из кровати Марьи Потаповны вверх дух такой нехороший идет, какие-то трупные ветерки. Сереня ласково пошарил. Достал чего-то, и со вставшим членом, подошел поближе. Влил в хрипящую грудь старушки какую-то ерунду и застыл около изголовья, как истукан.

Марья Потаповна помолчала и вдруг заскрипела из-под одеяла:

— Ох, Сережа, Сережа, плоха я; совсем во мне огоньков нету; а уж после смерти я совсем еле-еле буду; как ты меня иметь-то будешь...

— Мне в самую пору, мать, — осторожно ответил Сереня.

— Тебе-то хорошо, а я почти ничего чувствовать не буду, после смерти-то, — заплакала старушка.

— Мать, так ты ж говорила, тебе все равно; что ты только для меня живешь, — вмешался Сереня.

Марья Потаповна захрипела; помолчала.

— Это правда, Сереня; я просто так, страшно мне больно, от страха я... — выговорила она.

— На ладно, мать, я тебя покараулю, — сказал Сережа и сел на ближний диван. Член у него по-прежнему не опускался. Марья Потаповна между тем застыла в своей погибели. Сердце колотилось, как сорвавшийся с цепи зверек. Тело становилось чужое, точно его подменили.

Сережа пошел к буфету жрать. Он возвращался, но спустя некоторое время, по нескольку раз вставал и опять присасывался к еде.

—Чего ты так чмокаешь, Серень, — вдруг тихо, затаившись, спросила старушка.

Сережа не знал, что ответить.

— Чавкаешь ты, как поросенок, — продолжала она, — присасываешься. Но все равно ешь, как мертвый. Это почему — чавкаешь сочно, по-поросячьи — но все равно мертвый...

— Смотри, мать, я от твоих слов гимнастику буду делать, — ответил он.

Марья Потаповна понемногу улучшалась. Член у Серени опустился. Он в полутьме бродит по комнате.

— Ну что, мать, почитать тебе журнал что ль какой-нибудь, — говорит он.

— Почитай, родимый.

Проходит время.

— А что, Серень, — вдруг тихо спрашивает его Марья Потаповна из-под подушки, — хорошо мы с тобой дружить будем, когда я умру?.. А?.. может, еще спляшем... Хе-хе... Только слаба я, а тогда совсем еле-еле буду.

— Ну, пустяки, — успокаивает Сережа. — Спи. Утро вечера мудренее.

— Хи-хи, — вдруг хихикает совсем слипшимся телом старушка. — Хоть бы одним глазком подсмотреть, как это будет...

Сереня не отвечает и идет спать к себе. Он долго ворочается, почесывая задницу.

Вскоре все затихает. И пробивается первый свет...

Утром Сереня вскочил, как шалый.

— Ги-го-го! — закричал он на всю дачу и побежал делать вокруг

себя гимнатику. Поскакав, присел, не поднимая глаз от себя, от оскаленных зубок.

В комнату вошел прислушиваясь. А старушка Марья Потаповна уже готовила жратву. Пар шел из всех кастрюль.

— Мне, мать, сегодня в институт надо ехать, на занятия, — потер руки Сереня.

— Ха, мне без тебя скучно, — вскинулась старушка.

— А ты к Сявкиным на дачу пойди; они нас любят и у них телефон...

В чистенькой, шикарной рубашке, в безупречно наглаженных, дорогих брюках, Сереня выходит за калитку. Он выглядит как спортсменистый, разудалый франт. Ботинки в уточку. Только ушки — растопырены, и личико — слегка крысиное, хоть и доброе. Девчат он терпеть не может.

Институт длинный, холодный, как тюрьма. Но народцу — кишмя. Сереня в одного человечка заглянет, в другого, иногда и в тетрадку посмотрит.

В буфет пополаскаться сбегает.

Крик везде стоит, а Сережа больше у стен ходит, поближе к ним.

И через каждый час Сявкиным звонить ходил. «Как там, мать, у тебя здоровье?» — спрашивал.

Старушка Марья Потаповна под конец даже слегка рассердилась:

— Чудной ты, Сереня, право; тебе уж двадцать третий год пошел, а в голове у тебя один ветер: кроме смерти и жратвы — ты ни о чем не думаешь...

...Вечерний поезд домчал Сережу до дачи. Он шел домой насвистывая, франтовитый. Приближалась ночь.

●

КОГДА ЗАГОВОРЯТ?

Иван Иванович Пузиков жил у себя. Правда, это у «себя» занимали у него два обычных, вне мира сего кота, взъерошенных

от звука собственного голоса, собака Джурка, бегающая за своим хвостом, и просто корова, мычащая в углу.

Все это находилось в старом, полуповаленном домике, отгороженном от земли серым, неприютным забором. Большей частию Иван Иваныча в доме не было: потому что свое присутствие он не считал за присутствие.

Он весь жил своими животными.

Правда, по видимости многие другие обыватели тоже жили животными. Но на самом деле все было не так. Они приходили на скамью Иван Иваныча, стоящую перед домом, и долго-долго сидели на ней. Все такие ладные, с животиками и точно сделанные из света.

Кроме того, что они молчали, они то и дело вскрикивали, глядя на собаку: «Джурка, Джурка!..» и вздрагивали. Помолчат, помолчат, а потом опять кто-нибудь вскрикнут: «Джурка... Джурка!»

Сначала собака виляла хвостом, а потом совсем одурела от этих вскриков и вместо того, чтобы оборачиваться на людей, приподнимала морду вверх, на небесные светила.

Этот ежечасный, среди общего могильного молчания, вскрик «Джурка» собственно ничего не выражал, кроме формы существования самих обывателей. Поэтому он был обращен в них самих, а не на животных.

Так и проводили люди, окружающие Иван Иваныча, отпущенное им время.

Но у «самого» отношение к животным было совсем противоположное.

Почти не существуя на протяжении десятилетий и ощущая вокруг себя одну пустоту, Иван Иванович вдруг, выйдя на пенсию, родился духовно, пристально, сам по себе, всматриваясь в тела животных. Его поразила прежде всего «тайна»; «такие оформленные, с разнообразием, а существуют», — думал он. «Ишь», и вилял своим воображаемым хвостиком.

Еще его пугала страшная близость животных к человеку; всматриваясь в глаза этих тварей, он искал в них ту силу, которая перебросила или может перебросить мост между животностью и сознанием. В замороженных глазах собаки, похожих на человеческие внешне и не похожих по отсутствию в них тайного огня разума, нащупывал Иван своим не то пропитым, не то мета-

физическим взглядом эту жуткую власть; желая разгадать ее, он внутре надеялся тогда понять и себя, который, возможно, был когда-то животным. Он не думал о силах, стоящих вне этой цепи, но действующих на нее; его интересовала только прямая связь между сознанием и этими лохматыми, то непомерно большими, то до смешка мелкими тварями.

Почему у них сейчас нет разума? — почесываясь, думал Иван. И что заставит его появиться в них?

Пытаясь понять, охватить эту связь в целом, а не объяснить механически, наивно, как ученые, он, чувствуя, что по-настоящему проникнуть в тайну выше сил человеческих, прибегал к странным, нелепым, черным ходам.

То вставал на четвереньки и, приближая свое лицо к собачьей морде, мысленно обнюхивал животные глаза и, главное, то, что за ними скрыто. Правда, иногда он не выдерживал и начинал кусать Джурку или бегать за ней на четвереньках, ломая лопухи.

Эти сцены повергали местных обывателей в полное молчание. Они молчали так, как будто души их улетали на небеса.

Иногда Иван пытался разговаривать с коровой и даже читать ей зоопсихологию.

Постепенно его методы, пляшущие вокруг непознаваемого, совершенствовались.

Убедившись в том, что эту скрытую в животных божественную силу нельзя расшевелить человеческим разумом и языком, Иван решил прибегнуть к телесному шифру.

Например, он полюбил испражняться перед кошкой, как будто опускаясь до ее уровня.

Нередко делал перед коровой замысловатую гимнастику, описывая в воздухе начальные буквы алфавита.

Нюхал собачьи следы.

Так продолжалось года два-три; и наконец, Иван почувствовал, что его животные скоро заговорят. Он ощутил это вечером, ошалевший от жары и вечного тупого молчания зверей. Он вдруг взмок от страха, что они всю жизнь будут так молчать. И спрятался от всего существующего в темный сарай, между сеном и простой, точно разрезающей ад деревянной, досчатой стеной.

И вдруг — то ли солнце не так прошло свой изведанный путь, то ли повеяло новым существом — Иван почувствовал: Заговорят! Заговорят! Сейчас заговорят!

Как он мог раньше сомневаться!

Он приподнялся из угла и торопливо засеменил вперед к изменяющемуся миру.

«А если животные станут, как мы, то во что мы превратимся?! Для кого мы заговорим!?» — радостно мелькнуло у него в уме.

«Заговорят, заговорят», — заглушило все в его сознании.

Юрк и Иван очутился вне сарая, на лужайке. А где же животные?

«Корова, корова обязательно заговорит», — подумал он. Иван представил себе, как он обнимет ее теплую, мягкую шею, поцелует в мяготь, как раз в то место, которое не раз у других коров — шло в суп, и расскажет ей о Господе, о сумасшествии и об атомных взрывах.

И корова удивится своему пониманию. И расскажет ему о той силе, которая превратила ее в разумное существо.

— Пеструшка, Пеструшка! — поманил ее Иван со значением.

Но увы — ни в хлеву, ни на участке, нигде поблизости — коровы не было. А веревка, которой он привязывал ее к столбу — была оборвана.

— Ушла, — холодно, с жутью подумал Иван. — как только появился разум, ушла.

Он поюлил вокруг своего заброшенного домика, как будто ловя пустоту. Корова исчезла.

— Морду ей за это надо набить, — твердо подумал он.

Спрятав кошку и собаку, которые пока еще не проявляли явных признаков человеческого сознания, в конуру, Иван решил действовать.

Больше всего он боялся, что корова, обнаружив у себя разум, запьет.

Поэтому прежде всего он рысцой побежал в ближайшую пивную. Пивная была лихорадочна, в зеленых пятнах, но облепленная у дверей сонно-боевитыми людьми.

Тьма их, сгущенная у стойки, была еле видна. Иван полез внутрь, расталкивая старушек и инвалидов. Вдруг он увидел знакомую, пропито-обросшую, отключенную физиономию.

— Вася, Вася! — заорал он, — корова тут не пила? Или ты не заметил?!

— Не толкало, не толкало, — мотая головой, ответил Вася и скрылся в темном, заваленном людьми углу.

— Не смущай ум, — вдруг фыркнул Ивану в ухо седой, как лунь, старичок.

— Значит, не пила, — выскочил Иван из заведения. Потому что не тот шум сегодня.

Он успокоился и, виляя мыслью, стал обдумывать, куда бы еще могла пойти корова, ставшая по его мнению идеею.

Вдруг лицо Вани раздвинулось в добродушно-ощеренной улыбке.

— В библиотеку небось пошла, — подумал он. — Читает. Информируется.

И Иван, покрикивая по дороге на столбы, поскакал в местную читальню. Он почему-то не сомневался, что корова там.

Старушонка-заведующая, онанирующая между тем в уборной, была «разбужена» резким стуком в клозетную дверь. Это ломился Иван.

Оказывается, не найдя в читальном зале никого, кроме перепуганной библиотекарши, Иван бросился искать корову около клозета, так как естественно, клозеты самые грязные места.

— Не хулиганьте, молодой человек, — орала на него выскочившая и мутно-встревоженная старушка. — Черт знает чем занимаетесь! Книжки бы лучше читали!!

— Ты мне зубы не заговаривай! — кидался на нее Иван. — Говори, куда спрятала корову?!

— Идиот! — взвизгнула старушонка.

— Патология! Патология! — заорала она, подняв руки вверх и бросившись по коридору.

Везде вдруг стало тихо. Иван спокойно осмотрел клозет, директорский кабинет, несколько закоулков с портретами — и нигде не нашел животное.

Отдышавшись, он выпрыгнул в окно.

Действительность разумной коровы мучила его. Притихнув душой, он ковылял по улице к домику, где жил старичок, занимавшийся оккультизмом.

— Что тебе, Ваня? — осторожно спросил его старичок, заглядывая в глаза.

— Корова от меня ушла, вознеслась, что ли, — угрюмо буркнул Иван.

— Будет, будет, будет все будет! — закричал старичок и резко захлопнул дверь перед носом Ивана Иваныча.

— А ну его на хрен... — подумал Иван и пошел дальше непонятной дорогой.

В поте забрел к соседу, Никифору, не очень странному человеку, воровавшему у себя самого кур. Жил он в углу. Сели за стол. Никифор вынул из порток бутыль с водкой.

— Корова, корова исчезла, — проговорил Иван.

— Да украли твою корову, тяпнули, — поморщившись, прикрикнул Никифор. — Я сам видел.

— Не может быть, — обмяк Иван Иваныч. — Она у меня стала разумная.

— А ты откуда знаешь? — и Никифор из-под бутылки уставил на него пристальный взгляд. Помолчали.

— Я, правда, не говорил с ней, — ответил Иван. — Не успел. Как только почувствовал, что у ей — разум, ее, значит, увели.

— Увели, увели точно, — оскарбился Никифор. — Какая бы она ни была разумная, хоть с умом, как у божества, но все равно — корова есть корова. Она для жратвы предназначена. На мясо. И ты не мути ум.

— Кто ж это ее увел? — плаксиво промычал Иван.

— Да из шайки Косого. Они и милицию всю прирежуть, не то что корову, — рассудил Никифор, — ишь... теперь ее — ищи, свищи... Они уж небось ее пропили... На базаре...

— Ну я пойду, — отвернулся вдруг Иван. — Раз Косой, то дело кончено.

Дома ему вдруг стало страшно одиноко, и он всю ночь стремился уснуть, пряча голову под охапку с сеном.

Весь следующий день он мучился отсутствием непознанной коровы. Мир все больше дробился, принимая вид неба, усеянного бесчисленными звездами-сущностями.

Вскоре Иван решил кончать всю эту хреновину.

У запертых в сарай кошки и собаки не появлялся разум. Возможно, нужно было очень много ждать. Но Ивана тянуло куда-то вперед, на действие, в бесконечность. Да и измотали его ум эти животные... Поэтому Ваня решил их съесть. Утром растопил сало на огромной, еще свадебной сковородке.

И поплелся в сарай, к бестиям.

Сначала, встав на колени, удавил руками кошечку, причитая о высшем. Пса заколол ножницами. И в мешке отнес трупы на

сковородку. Ел в углу, облизываясь от дальнего, начинающегося с внутренних небес, хохота.

Поглощая противное, в шерсти мясо, вспоминал кровию о своей голубоглазой, разумной корове, вознесшейся к Господу.

Прожевывая кошачье мясо, думал, что поглощает Грядущее.

Много, много у него на уме бурь было.

А когда съел, вышел из избы, вперед, на красное солнышко, и...

●

КОВЕР-САМОЛЕТ

Мамаша Раиса Михайловна — со светлыми, сурово-замороженными глазами и таким же взглядом — купила себе ковер. Ковер этот достался ей нелегко. Подпрыгивая, подняв на себе ковер высоко к небу, она поспешила домой,

Дома ковер был намертво привешен к стене. Полуродственница Марья — толстая и головой жабообразная — посмотрев, вскинула руки и закричала: «Га-га-га!». Так она всегда говорила в хороших случаях. Шлепнув ее под зад, Раиса Михайловна ушла на кухню — жарить. Весело хрустело на сковородке что-то живое и юркое. Булькала вода в кране и в голове Марьи. У нее был выходной день и, развалясь на диване, она считала свои пальцы, казавшиеся ей тенью.

Пошарила вокруг себя этой тенью и, обнаружив спички, закурила.

Трехлетний карапуз Андрюша — сын Раисы Михайловны, весь беленький и с лицом, похожим на мед, — понимающе резвился на полу. Больше никого не было: отец Андрюши уехал в командировку.

Икнув, Марья, как истукан, из которого выливалось тесто, вышла на кухню.

— Я вернусь, — сказала она.

— Да, да, — хлопотала Раиса Михайловна около плиты.

Через полчаса хозяйка вошла в комнату, где резвился ее малыш.

И остановилась, словно увидела страшное чудо.

Андрюшенька — счастливо поблескивая глазками — вовсю, упоенно резал ножницами новый ковер Не так уж он много и преуспел — по малости силенок — но вещь была испорчена. Мамаша все столбенела и столбенела. Казалось, у нее не мог открыться даже рот. Мокрота появилась у нее в глазах. Наконец, с выражением бесповоротной решимости она подошла к малышу. Лицо ее стало зевсообразным.

— Ты что?! — вырвало ее словом.

— А чиво? — весело улыбнулся мальчик.

Его беленькие кудряшки развевались по лбу.

Мамаша вырвала у него ножницы.

— Вот тебе, вот тебе, вот тебе! — неистово, сжавшись лицом и грузно подпрыгивая на одном месте, завопила мать. Халат ее колыхался, обнажая часть почерневшей задницы. Она яростно била малыша ножницами по ручкам. Он орал, как орала бы ожившая печка, но его крик только распалял мамашу. Ручки малыша покраснели, и, оцепенев от ужаса, он даже не разобрался убрать их: он только поджал их на груди, и они висели у него как тряпочки.

С каждым ударом они становились все безкостней и расплывчатей, словно лужицы.

— Ковер... ковер! — орала мамаша, и взгляд ее становился все тверже и тверже.

Она представляла, что ковра уже нет, и готова была сама стать ковром, лишь бы он был.

— Цени, цени вещи, дурень! — орала она на дитя.

Вернулась Марья. Тяжелым взглядом проглядев сцену, она решила, что ничего не существует, кроме нее самоё. Плюхнувшись на диван, она стала гладить свой живот.

— Куда, куда улетели... птицы?! — иногда бормотала она сквозь сон.

Между тем первый гнев Раисы Михайловны понемногу остывал. «Что отец-то скажет, ведь нет ковра, нет», — только качала она головой.

Андрюша, однако же, не переставал кричать, задыхаясь от боли. Он упал на пол и катался по ковру-дорожке.

— Перестань, перестань сию же минуту плакать, чтоб слез твоих я не видела! — кричала Раиса Михайловна на сына.

Она уже не колотила его ножницами, а только легонько подпихивала его ногой, как шар, когда он особенно взвизгивал от боли или воспоминания.

— Футболом его, футболом, — урчала во сне Марья, разбираясь в своем сновидении.

Раиса Михайловна принялась убираться: чистить полы и драить клозеты. Она делала это по четыре, по пять раз в день, даже если после первого раза пол блестел, как зеркало. Монотонно и чтоб продлить существование, покрякивая и напевая песенку, она продраивала каждый уголок пола, каждое пятно на толчке. В этом обычно проходили все ее дни, пока не являлся муж — квалифицированный тех. работник.

И сейчас, оставив в покое малыша, она принялась за свое бурное дело.

Две мысли занимали ее: можно ли еще спасти ковер и когда кончит орать Андрюша. Насчет первого она совсем запуталась, и с досады кружилось в голове. Но постепенно легкая жалость к Андрюше стала вытеснять все остальное: он по-прежнему надрывался. В матке ее что-то шевельнулось. Но она все еще продолжала — чуть ли не лицом — драить толчок в клозете. Временами ей казалось, что она видит там — в воде — свое отражение.

Наконец, все бросив, она вошла в комнату. Марья похрапывала на диване. Во сне Марья умудрялась играть в кубики, которые лежали около ее тела. В забытьи она расставляла их на своем брюхе. Целый дворец возвышался такием образом у нее на животе. А в мыслях ей виделся ангел, которого она — в то же время — не видела.

— Дай-ка ручки, — проговорила Раиса Михайловна Андрюше.

Взглянула и ужаснулась.

Кисточки — пухлые и маленькие, как у всех трехлетних ребят — превратились в красную, растекающуюся жижу.

— Как же это я! — закричала она,

Страх за дитя мгновенно объял ее с ног до головы. «Вообще-то ничего страшного, — подумала она,— но надо к врачу... к врачу... Мало ли чего может быть... Ох, несчастье». Толчком она разбудила грезившую Марью.

— Га-га-га! — закричала та, сонно очнувшись и помотав головой с белыми волосами.

— Га-га-га! — перекричала ее Раиса Михайловна, близко наклонив к ней голову. — Вот не «га-га-га». а Андрюше больно, везем его к врачу.

Недовольная Марья одевалась. «Ох, несчастье, несчастье», — тревожно металась Раиса Михайловна. Андрюша стал ей чудовищно дорог, значительно дороже ковра. Наскоро собрались в путь. Заглянул сосед — Бесшумов, — растревоженный криками малыша, которые он принял за воздушную тревогу. Пожевав бумагу, он сонно скрылся, промычав про несоответствие.

По дороге к врачам Марья расплакалась.

— Ты чево? — спросила ее Раиса Михайловна.

— Жалко Андрюшу, — ответила та.

Она жалела также свои мысли, которые вились вокруг ее лба, как бабочки. Детская больница была сумрачна, и люди в белых халатах были в ней строгие, почти как ружья.

Раисе Михайловне велели приехать за дитем спустя, когда точно скажут по телефону. На другой день обнаружилось, что посещать больного ребенка нельзя: в больнице объявили карантин.

Одуревшая Раиса Михайловна целыми часами бродила по квартире. «Хорошо еще, что муж не скоро вернется», — думала она. Звонила в больницу, ей отвечали коротко: «все, что нужно, будет сделано». Одна Марья была веселая. Она говорила соседу Бесшумову, что ребенок все равно умрет, но-де от этого Раиса Михайловна должна только веселиться. Когда Бесшумов пожевав бумагу, спрашивал «почему веселиться», Марья загадочно улыбалась и отвечала только, что будет больше свету. Она везде находила свет; но в то же время плакала от постоянного присутствия мрака. Правда, плакала по-особому, без плача в душе, так что слезы катились по ней, как по железу.

Откуда-то появилась черненькая старушка; посмотрев на все круглыми глазами, она сказала, что любит тьму...

...Раиса Михайловна все болела за испорченный ковер, и не зная, что с ним делать, скрутила из него валик для дивана. «Все-таки нашел применение», — сказала она про себя.

...В больнице было светло и пусто. Андрюша все время плакал. «Сейчас тебе не будет больно», — сказал ему высокий и умный врач. И правда, малыша внимательно усыпили, прежде чем отнять две кисти руки (почти все косточки внутри были переломаны и измельчены ударами ножниц, и — чтоб не началась

гангрена — это был единственный выход). Поэтому, уже после того, как отрезали его кисточки, Андрюше стало легко, легко; только когда его перебинтовали, он помахал своими культяпками и удивился: «а где мои ручки??». И даже не заплакал.

...Когда мамаша приняла из больницы своего малыша, сморщенного в улыбке и отсутствии, но сначала она ничего не соображала. Все пыталась развязать культяпки и проверить: есть ручки или нет? Привезла домой на такси, как все равно с праздника. Марья раздела дитя и, крякнув, потащила его играть в прятки. И все улыбалась в окно чучельным, ставшим не по-здешнему лохматым лицам. Во время пряток уснула и опять видела ангела, которого в то же время не видела. Андрюша лизнул ее сонный, замогильный нос и помахал культяпками, как бы здороваясь. «А где мои ручки, мамочка», — тосковал он и, как тень, плелся за мамой, куда бы она ни пошла. Раиса Михайловна драила пол. Из кухни раздавался храп Марьи, считавшей, что у нее пухнет живот.

Тикали часы.

Скоро нужно было кормить мальчика — теперь он, как и раньше, однолеткой, не мог сам есть.

Раиса Михайловна двинула ногой табуретку и вошла в клозет. Грохнуло корыто. Раиса Михайловна повесилась. «Нету моих сил больше... Нету сил», — успела только сказать она самой себе, влезая на стул.

Со сна Марья заглянула в клозет. Охнув, все поняла, и ей захотелось попрыгать с Андрюшенькой. Понемногу собирались родственники и соседи. Андрюша не скучал, а все время спрашивал: «где мои ручки и мама?». В клозет его не пускали. Какой-то физик решал на кухне, недалеко от трупа, свои задачки.

Марья шушукалась с Бесшумовым. И опять откуда-то появилась черненькая старушка с круглыми глазами. Она говорила, что ничего, ничего нету страшного ни в том, что у Андрюшеньки исчезли руки, ни в том, что его мать умерла...

— Ничего, ничего в этом нету страшного, — твердила она.

Но в ее глазах явственно отражался какой-то иной, высший страх, который, однако, не имел никакого отношения ни к этому миру, ни к происшедшему. Но для земного этот мрак, этот страх, возможно, был светом. И, выделяясь от бездонного ужаса в ее глазах, этот свет очищал окружающее.

— Да, да, ничего в этом страшного нету,.. — бормотали стены.

Только плач Андрюши был оторван от всего существующего.

— Га-га-га! — кричала на всю квартиру Марья.

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

Коммунальная квартира 78, что в новом коробковидном доме, совсем покосилась. Клозетная дверь — рядом с кухней и комнатой Муравьевых — открывалась так, что не допускала к плите. Одинокая старуха Солнечная долго ругалась тогда, ибо с кастрюлями в руках не сразу приструнишь дверь. К тому же, третий жилец — холостой мужик Долгопятов — открывая дверь головой изнутри клозета, часто вываливался наружу, и через него было трудно переступать. Кроме того, Долгопятов не раз хохотал, запершись в клозете. Этот хохот так не походил на обычный звук его голоса, что старуха Солнечная полагала, что Долгопятова как бы подменяли на время, пока он сидел в клозете.

— Он или не он?! — тревожно всматривалась она в глаза Долгопятова, когда он выходил от естественной надобности.

Муравьевы же, те вообще не выносили клозета. Очевидно, стены его были чересчур тонкие — и Муравьевы, как соседи клозета, все слышали, как будто испражнения происходили в их комнате. Пугаясь животности людей, они, тоненькие и юркие молодежены, выбегали тогда из своей комнатушки, нередко во время обеда, с тарелкой в руках. Но выбегать, собственно, было некуда: общественный коридор был так узок, что пройти навстречу друг другу было совершенно невозможно. И зачастую все сталкивались лбами, задами, лилось из тарелок и из тела, бывали даже крики. Но Муравьевы тем не менее упорно выбегали: нежны они были чересчур для самих себя. Старуха Солнечная, шамкая выпадающим ртом, говорила: это у них от

Бога. Она часто молилась Богу, опускаясь на колени перед каким-нибудь справочником.

Последние годы жизнь шла совсем какая-то оголтелая. И куда они только катились?! Супруги Муравьевы от страху молились друг перед другом, потому что жить, даже по их понятиям, стало трудно. Не то, чтобы мучил диковатый быт, бессонница, очередя, детский крик (к старухе Солнечной приводили днем дитя малолетнее на воспитание) — нет, к этому можно было бы привыкнуть. Донимал больше всего Долгопятов, потому что он уже совсем перестал походить на человека. О речи я уже и не говорю — речь давно отсутствовала, если не считать моментов наития. Были, правда, мычание, хохот, успехи на стройке, кивки головой. Но главное было в том, что он менялся. Вечером — один, днем — другой, позавчера — третий. Менялся, правда, как-то просто и неотесанно: то казался котом, принявшим человеческий облик, то, наоборот, становился до того угрюм и тяжеловат во взоре, точно превращался в эдакий монумент; то просто выглядел так свирепо, что, казалось, готов был разорвать все на свете (а на самом деле, напротив, прятался в угол). Ванна часто портилась, и Долгопятов мылся тогда в коридоре; длинный и неадекватный любому существу, он обливался водой в корыте. Соседи (Солнечная и Муравьевы) мигом тогда запирались на крючок. Но Долгопятов не пел песен. Домашние коты, и так не любившие его, разбегались в стороны.

Зато дитя часто пело. Была эта девочка трех с половиною лет, полная и шарообразная, и Солнечная нянчила ее с восьми утра до восьми вечера. Долгопятов видел ее только вечером, с семи до восьми, но и он смирел, когда дитя пело. Не то, чтобы в пении не было смысла, нет, но просто повторялось одно и то же слово (например, забыло... забыло...) долго, настырно и по хорошему счету, как в испорченном патефоне, который в то же время был как бы живой. Глаза девочки тогда округлялись, робкие искры принадлежности ее к роду человеческому совсем пропадали, и расширенный лицо-глаз походил на говорящую тыкву. Долгопятов относился к ней с уважением и осторожностью. Старуха Солнечная сама-то помнила немного слов (хотя часто плакала от этого — такова жизнь, тем более, будущая), но девочка в этом отношении давала ей сто очков вперед. (Однако вообще звуков было очень много в квартире.) К девочке очень скоро все

привыкли, как привыкают, например, к кошмару. Но Долгопятов не давал как-то интеллекту успокоиться. То изменится, чуть ли не на глазах, то кулаком махнет в форточку. Муравьевы от него даже перестали ходить в церковь. Атеизм нарастал.

Лицо Долгопятова, наконец, приняло вдруг законченное выражение; месяца два оно, например, совсем не менялось, как-то навечно, не по-здешнему, окаменев. Он только трогал своими длинными руками кастрюли соседей. Может быть, это прикосновение чужого к еде подсознательно больше всего мучило их.

— Я не могу есть! — визжала Муравьева, после того, как видела в полусне по ночам тень убегающего из кухни Долгопятова.

Но съедалось все — не стоять же опять в очередях. И хотя лицо Долгопятова онеподвижилось, сам он чуть лысел от различных своих походов.

Была весна, и небо было до того серым, словно ему стала тошнотворна земля. Птицы умирали раз за разом. Но никто не обращал на смерть внимания. Возможно потому, что эта жизнь все-таки оказывалась самым лучшим вариантом для всех. И потому все торопились жить, как в лихорадке, хотя в основном только махали руками в пустоте. Вой стоял и день, и ночь.

— Что-то должно произойти, — стучала зубами Муравьева.

— Нельзя же нам улететь на луну, — твердил Муравьев, — поэтому что-то должно измениться.

И изменение действительно пришло. В этот день Долгопятов взял отгул и чуть не умер в клозете. Во всяком случае, запершись, он часами не издавал звуков. Муравьевы куда-то ушли. В одиннадцать утра старуха Солнечная выползла на кухню с дитем. Испугавшись, что Долгопятов в клозете, она стала ставить бесчисленные сковородки на огонь.

Дите начало бормотать. Бормотание это сразу приняло столь отсутствующий характер, что разбежались бы и духи. Дыр, щел, тёл, кыр, мыр — вылетало из ее рта, а палец был приставлен к лицу, которое подрумяненно застыло. Девочка не перемигивалась даже со стеной, она просто стучала: в никуда. Стук-тук-тук, стук-тук-тук. И тогда старуха Солнечная запела. Она повернула свое объемистое, морщинистое лицо к серому, тошнотворному небу и, скаля несуществующие зубы, запела за жизнь.

И вдруг лицо ее мгновенно покраснело и словно сине-раздулось, как пламя смрадного газа в кухне. Тело, расплывчатое, как мешок,

поползло вниз, на стул перед плитой, У людей это называлось удар, инсульт. Но на самом деле это была смерть, если можно назвать смерть смертью по отношению к такому существу.

Старуха же думала, что жива. Ее голова тихо плюхнулась на железо плиты. Сама она как бы сидела. Глаза полузакрылись, как у курицы при виде Бога (если куры только могут созерцать Божество); кожа странно пожелтела, но рот двигался. Этот рот пел песни за жизнь. Слова все раздавались и раздавались в воздухе. Вовсю горел кухонный газ — синим, адо-нелепым пламенем, отравляя крыс. Наконец, старуха замолкла, но из уст ее с хрипом временами вырывался свист — чудной, тяжелый и где-то жизнерадостный.

Дитя с любопытством заглядывалось на няню. Оно так и ходило около нее, как вокруг елки. Нехватало только лампочек на мертвой, седой голове, Но выражение детских глаз было такое — что не поймешь, может быть, девочка и понимала, что старуха умерла. Только выражение это было очень твердое и стирающее все грани.

И когда рот старухи окончательно замолк, дитя само запело. Это был тот же поток бессмысленных, нечленораздельных звуков (кыр, фыр, уур), который на этот раз вылился в жуткую песнь. И старуха, где-то убаюканная, продолжала думать, что живет, хотя она уже ничего не видела. Она даже пошевелила рукой в знак того, что слышит эту песнь. Лицо девочки совсем одеревенело, до того, что перестало напоминать всякую форму жизни вообще (в том числе и нечеловеческую), но песня все лилась и лилась. Дитя бессмысленно топало взад и вперед по кухне, как на передовой.

И тогда Долгопятов выполз из клозета. Со сладострастием он оглядел эту сцену. Было такое впечатление, что члено-язык его вывалился изо рта, и пар наслаждения исходил оттуда.

Оставив девочку бродить вокруг трупа, он выбежал на лестничную клетку.

Муравьевы уже поднимались во квартеру.

— Я отравил старуху мочой! — пролаял он молодоженам, выделяя алый и пышущий члено-язык. — Уже полгода я подливал ей в кастрюлю свою мочу — по капельке, чтобы не чуяла.

— Николай Сергеич, — сухо ответил Муравьев, — от мочи не умирают. Вы ошиблись. От мочи только выздоравливают.

— Но это была моя моча! Пройдемте в квартеру и будем жить

вдвоем! — прохрипел, распахивая дверь, Долгопятов, совсем теряя голос из-за беснующегося языка.

Но глаза его были пустые (с костью внутри) и совсем не сексуальные, точно его члено-язык был сам по себе, как одинокая девочка, бродившая на кухне вокруг трупа.

По странному звуку ее песни Муравьевы поняли, что произошло изменение.

Они переглянулись.

●

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Много, много чудес на свете. Вот снег запорошил все черненькие нарциссцирующие домики, покрыл больные деревья. Кое-кому стало страшно. Только не деду Матвею. Не таких страхов рожден. Веселый был дед, бессознательный. Больше всего любил в прорубь нырять. Вылезал быстро, как змея человечья, и голый на гармошке играл. В пляс пускался. Девок к себе не подпускал, больше деток чувствовал. Собирались около него голоиграющего шестеро-семеро деток малых и зыряли на его простодушие.

— Кто много видел деда? Да почти никто, хотя внучат у него было видимо-невидимо.

Лик свой скрывал, зато сам был стремительный. Мимо дорожки и округ леса часто бегал. Туда-сюда. Туда-сюда. Всегда ему было как-то не по себе.

Жизнь свою он проморгал в какое-то бездонное, бездонное болото.

Любил на картинках лук резать, девочкам зубы считать. Были периоды, когда некоторые полагали, что он вообще перестал существовать.

Но потом Матвей опять о себе напоминал. С годами нарастала у него нечеловеческая активность: то всей деревне дров нарубит,

наколет, то просто о себе задумается. Думал по вечерам, смурно, чихая в тьму, или думавши долго часами напряженно простаивал на одном месте у крыльца с топором в руках.

Но никто не считал, что он кого-то ожидает. Да и до ожиданий ли ему было?

Часто видели, как он идет быстро-быстро по безлюдному, заснеженному полю, один, на глазах у всей деревни, точно спешит куда-то и вдруг: просто поворачивает и бросает вверх — высоко, высоко к Господу — свою драную меховую шапку.

— Физкультурник, — шептались тогда о нем соседи.

Никто не обижал также его жену — смазливую, хоть и в летах, бабенку, прятавшуюся где-то по норам.

Летом она иногда выходила из леса прямо на людей и смущала их заднее чувство.

Угрюмый, живущий на подаянье у церквей, психиатр объяснял всем, что люди пугаются Матвевну в основном от ее полного несоответствия чему-либо. Возражая самому себе, психиатр, правда, говорил, что как же она тогда рожала.

Но начальство слышало, что Матвей, когда имел свою жену, то словно кол ей осиновый в чрево вбивал, как будто она упырь.

Странно только, что от такого соития рождались вполне дикие, прямолинейные дети.

Много тут было недосмотра, — мутно говорило начальство.

Деревня жила святой, малопомешанной жизнью; кто с трактором спал, как с бабою; кто бензин в моторе заговаривал; кто зубы блаженным духом лечил. И кругом была масса, масса телевизоров.

Деревенские телевизор любили не за содержание программ, а за причудливые бестелесные телодвижения в нем.

— Как на том свете будем, — уверяла всех психиатрова жена старушка Авдотьевна.

На тот свет, правда, стремились все до умопомешательства. Но так как никто не знал, как туда попасть, то вместо действия это стремление выражалось в массовом долгом всенародном скулении на луну по ночам на скамейках. Или просто в нудных и бесконечных разговорах о том свете во всех подробностях, как все равно о баньке.

— Чтой-то мне не тово... Ик... Как бы на том свете скулу не разворотило, — говорила та же психиатрова жена.

В основном же это были простые незаметные люди. Только Матвей выделялся среди них. Как только к нему приближались — все индивидуальности стирались перед ним, как будто ихние индивидуальности были массового характера, а его, Матвея — всамделишняя.

Любил дед портки штопать; скажут, какая же здесь индивидуальность? А смех, смех, которым он разражался посреди шитья, смех ни с того, ни с сего?.. Смеялся дед, как волк, скорее, даже жрал что-то невидимо со смехом, чем просто смеялся.

Одиноко ему, конечно, было еще с малолетства и одиноко, главным образом, от присутствия людей. А может быть, и присутствия себя. Труден он был для понимания.

Все поступки свои квазинелепые он и сам не мог объяснить, и поэтому оно не только на него, но даже нее антисущество, которое было связано с ним одной веревочкой. Но было одно состояние, которое он мог объяснить, и поэтому оно не только на него, но даже на всех остальных действовало реально пугающе. Но, конечно, это было тоже квазиобъяснение.

Дед плясать любил; не только после того, как он весело-крикливо нырял в прорубь, выпрыгивая пред детьми; это просто походило на чуть потустороннее развлечение. Дед любил также плясать перед пустотой; без всякого присутствия, только разве что совсем дальнего. Дело происходило так. Дед шел, шел одиноко себе по тропинке и вдруг чувствовал, что сознание выпрыгивает из него и оказывается перед ним в пустоте, как некое зеркальце. Дед тогда завсегда пред ним, пред незримым сознанием своим в пляс пускался и корчил ему немыслимые, даже чуть детские рожицы... И так продолжалось подолгу, по полчаса, пока сознание не впрыгивало в деда, и он не опоминался.

Самое удивительное, что этот прыг-скок чистого «я» происдил все время на одном и том же месте, неподалеку от общей уборной и паршивенькой березки. И дед вместо того, чтобы обходить это место, всегда норовил туда лезть. Правда, не по своему желанию.

Активность в нем между тем все нарастала и нарастала. Он уже бескорыстно ездил колоть дрова даже в соседние деревни. И стал так часто пропадать по всей области, от одной деревни к другой.

Но давешних привычек своих не забывал.

С топором на страже пред невидимым по-прежнему стоял.

Кончил он жизнь свою тяжело и противоестественно. Сначала за несколько дней ожирел, в темноте, ворочаясь под плотным воздухом; а ожирев, стал помирать. Одна жена окаянная рядом с ним тенью не разлучалась.

А как совсем уже помирал, в агонии, то вдруг стал мочиться, да так весь в мочу и вышел. Смотрит жена, а на смертном одре пусто, только матрац весь пропитан терпкой, словно каменной мочой. И такой тяжелый, словно Матвей туда ушел.

А как же сознание?

Да разве жена может знать. И хоронить-то некого. Матрац, правда, намертво высушили во дворе, на ветру.

А на следующий день в деревню вошла процессия обнаженных высоких стариков со скрипками: они остановились как раз около того места, где выскакивало сознание Матвея, и повернувшись лицом к видимой пустоте, молча заиграли на скрипках.

Кончив, повернулись и скрылись в лесу.

●

ЖИВАЯ СМЕРТЬ

Нас здесь четверо: я, по имени Дориос, затем Мариус, потом существо № 8 и Ладочка.

Мариус: Как мы сюда попали?

Я: Только от самого себя, только от самого себя. Поэтому-то мы и не знаем, как мы сюда попали.

Мариус: Все ты выдумываешь. У меня кружится голова — это тоже от самого себя? И мысли вылетают из головы, как птицы изо рта. Когда же это кончится? Но пока все сознание кружится вокруг чистого «я», как планеты вокруг солнца...

Существо № 8: Вперед, вперед!.. Гав... гав!

Лада (задумчиво): Друзья мои, единственные, здесь плохо то, что предметы все время меняются: смотрите, вот это было

креслом, а сейчас уже мертвая птица... Чернильница — то авторучка, то замурованное сердце... Как быстро... Как быстро.. Все меняется и исчезает. (Хлопает в ладоши.)

Я (лежа на диване, который становится то шкурой тигра, то простыней): Когда-нибудь мы отсюда выберемся.

Существо № 8: Не забывайте, что и мы когда-то, очень давно, тоже были сковородками...

А теперь разрешите представиться более точно. Я — это я, Мариус — это мое бывшее, средневековое воплощение, а существо № 8 — это уже не человек; но он был им десятки тысячелетий назад; зато Ладочка — это молодая, белокурая, нежная, неизвестно из какого времени, девушка, которая бросив все на свете, потусторонне и неожиданно привязалась к нам.

И мы странствуем вместе неизвестно откуда и куда. А теперь мы находимся здесь.

Что окружает нас?

Меняющиеся предметы, но среди них постоянна одна — большая, черная груша, которая, как лампа, свисает... с пустоты.

А дальше — по ту сторону этого странного мира — бродят одинокие, спотыкающиеся люди. Они покупают в магазинах слезы, хлеб и водку. На нас они не обращают внимания; наверное потому, что не видят нас; о, почему нас никто не видит! Нас не видит, наверное, и сам Бог. Да и как можно видеть наш мир, точно вытолкнутый из пространства, как пробка из воды... Ладочка, Ладочка, может быть мы просто больны? Помнишь, существо № 8, наклонившись к тебе своим странным, тетраэдным телом (оно, как все мы, очень любит тебя) рассказывало тебе, что от человека может произойти длинная цепь невиданных существ, развивающихся в сфере душевной патологии, и что тайна сия велика есть. Когда ты, улыбнувшись, спросила, не идем ли мы таким путем, существо № 8 захохотало и, прыгнув на единственно неподвижный предмет в нашем мире — углубленную в себя, черную грушу — подмигнуло нам всеми своим шестьюдесятью глазами. Потом мы все поцеловались друг с другом и выпили немного вина. Ты улыбнулась, когда Мариус, взглядом точно вышедшим из глубокого Средневековья, удивленно посмотрел на меня, свое будущее воплощение. «Он все еще не может привыкнуть», — засмеялась ты, и, как всегда, в воздухе словно задрожали колокольчики из мыслей... А ты помнишь, Ладочка,

что, когда ты смеешься, как будто голубой дождь внезапно и быстро проходит по миру? Но потом ведь, знаешь, всегда опускался этот черный, глухой занавес перед всем... Почему? Разве мир театральная сцена? Конечно, да. Но чья? Кто режиссер? Помнишь, после твоего смеха, когда опускался занавес, мы ничего не видели, все было скрыто, и мы сами цепенели, коченели в одних позах, точно на время превращались в статуи. Потом, когда все проходило, ты первая опоминалась, вся в слезах, и говорила, что никогда уже не будешь смеяться этим своим голубым смехом, чтобы потом не захватило нас подобие смерти.

Но мы, успокаивая тебя, сразу говорили, что все равно лучше еще хоть один раз услышать твой смех... Только существо № 8 забивалось в наш вечно магический угол и выходило оттуда с колпачком на носу... Но хватит, хватит воспоминаний. Мы ведь по-прежнему здесь.

Лада: Смотрите, смотрите, все предметы стали неподвижны; они не меняются; но кресло, где я сижу, так и осталось мертвой птицей...

Существо № 8: Кар-кар!!

Мы с Мариусом подходим к гигантскому окну: но все равно ничего не видно сквозь сплетения зеленых, умирающих змей, свитых, как тюремная решетка. У них часто, с мгновенной, как писк мыши, но таинственной музыкой отваливаются маленькие, точно человеческие на фотографии, головы; весь пол у окна усеян ими, как вкусными объедками.

— Друзья, — обращается к нам Лада, — давайте-ка, прикорнув друг около друга, выпьем немного нашего душистого, тропического чаю; пока еще нам так хорошо; а ведь скоро начнется первая жуть.

— Да, да, — всполошилось существо № 8, подтягивая свои странные штаны, — скоро начнется.

Мы собираемся в один кружок на малиново-черном ковре, бывшем до этого волосами гигантской, еще не родившейся женщины. Существо № 8 пристраивается налево от Ладочки, но так чтобы не мешать ей острыми углами своего нечеловеческого тела, Мариус — направо, чтобы не умереть оттого, что не будет видно Ее лица. Мы все недалеко друг от друга, и небольшой круг, который образовался внутри нас, светится, словно отражение затерянного в высоте Лица Неведомого. Лада, опустив в это

отражение свои тонкие, гибкие, как мысль, руки, разливает нам чай.

Лада: Ведь мы уже давно не люди; в нас нет ничего от человеческой простоты и животности; но этого мало; что с нами будет?.. Скоро начнется первая жуть, потом еще и еще... Мне кажется, что у нас уже скоро никогда не будет этих светлых промежуткой, когда воет механическая сова, вяло падают на пол головы с умирающих змей, одна за другой меняются вещи, кроме вечно неподвижной, закрывшей веки, груши и когда мы беседуем, как выбраться отсюда... Скоро не будет этих светлых промежутков... Будет все хуже и хуже...

Мариус: О, как мне хочется вновь очутиться в моем милом, глубоком Средневековьи... Только я обязательно взял бы вас всех вместе с собой: без вас я не могу; мы жили бы в моем родовом замке; существо № 8 сошло бы за какое-нибудь индусское привидение; мы сидели бы вместе у окна, из которого виднеется лесная дорога, по ней не раз отправлялись рыцари славить Бога...

—Мы все: Мариус, Мариус, а что такое Бог!?

Мариус (улыбнувшись): Ну тогда дорога, по которой рыцари уезжали славить Возлюбленную... Мы пьем у этого окна вино, где-то в лесу сжигают еретиков, воет ветер, и мы читаем Апокалипсис... Но нам хорошо, хотя немного страшно... Славное, старое время.

Я: Да; скоро наступит первая жуть.

Мариус: Мы все говорим одним языком; это страшный знак единства.

Существо № 8: Я никогда не смогу попасть в Средневековье; потому что я слишком давно, десятки тысяч лет назад был человеком...

Мы на минуту замолкаем; и Ладочка, улыбнувшись, целует всей своей душой существо № 8. Целует в один из его шестидесяти глаз... И у существа № 8 от этой нежности вдруг сразу начинаются галлюцинации... Почему, чем дальше от человека, тем любовь становится все больнее и больнее!?

— Первая жуть не так уж страшна, — замечает Лада.

И вот наступает. Сине-зеленый свет падает на наш мир и на наши лица. Мы немного мертвеем и уходим в себя. Внезапно я чувствую, что какая-то сила начинает вытягивать из меня мое сознание; вытягивать, кажется, через темя, какими-то длинными,

невидимыми, но цепкими щипцами. Вдруг — раз, и уже нет сознания и я почти неживой, точно болванчик, замерший в позе Будды где-то на заборе.

И я вижу, что то же самое с моими друзьями — Мариусом и существом № 8. Только Лада, бледная, еще держится. И мы все видим, как прямо перед нами сидят на шкафу и лихо играют на гитаре вытянутые из нас три сознания, превратившиеся точно в такие же существа, как мы.

Мы все — там, на шкафу, но внутри себя — нас нет!

О, как мучительно видеть себя извне и не чувствовать внутри! Мы, как пустые, выпотрошенные болванчики смотрим на самих себя, бренчащих на гитаре, смотрим, как на отделившихся, чужих существ. А сами мы — почти нуль. Наши глаза стекленеют от пустоты, но мы словно завороженные смотрим на самих себя. Почему они там на шкафу, эти наши отделившиеся «я», дергаются не по нашей воле; почему они совершают какие-то непонятные поступки.

«Я на шкафу» болтаю ногами и щекочу брюхо Мариусу; Мариус заливается диким хохотом; «существо № 8 на шкафу» выглядит свиньей, ищущей в потемках Небо.

«Мы настоящие» цепенеем и ждем. А «мы или они на шкафу» кривляются, дергаются в странной, непотребной ласке и хватают с неба невидимые апельсины.

А у «существа № 8 на шкафу» вдруг появляется где-то в прозрачной глубине его тетраэдного тела туманное лицо человека. Потом оно вдруг исчезает, и в «существе № 8» выделяется ангельский лик.

— Давайте их убьем, — вдруг говорим «мы на шкафу», указывая на себя настоящих.

«Они на шкафу» смотрят на нас своими пристальными, сумасшедшими глазами; и мы впиваемся так друг в друга, покачиваемся и сидя, чуть приплясываем вместе со всем нашим выкинутым миром.

Кажется, все безумие голого существования смотрит на самое себя и, сплетаясь с самим собой, порывается разгадать тайну. Да, да, мы хотим броситься друг другу в объятия. «Они на шкафу» даже напряглись, словно готовясь к прыжку. Хотим броситься, но не можем... Может быть, они, там, опять уговариваются убить нас. В это время с мертвой птицы встает бледная, изможденная

Лада. Она — одна, не отделенная. В ее руке — бокал вина. Она медленно обходит каждого из нас, настоящего, целуя в губы. И те на шкафу, точно завороженные ее неземной нежностью, начинают белеть, исчезать и со свистом входить в нас настоящих. К нам понемногу возвращается сознание; но это далеко не все; мы сидим полуоглушенные; а там на шкафу видны еще бледные контуры нас самих.

Мариус: На этот раз было слишком ужасно... Почему ты не поцеловала нас раньше?

Лада: Какой был смысл?.. Я сама чуть не погибла, отделившись. Мне нужны были силы и время, чтобы собрать в единый порыв, в единые три поцелуя, всю свою нежность... потому что только такой сверхчеловеческой, потусторонней нежностью, которая граничит с безумием, можно было смирить их... или вернее те мрачные силы, марионетками которых были те, на шкафу...

Я (потрясенный): О, это не был поцелуй женщины!

Лада (смеется): Поцелуй только женский может воскресать лишь...

Существо № 8 (бормочет): О, наша колдунья... Гав, гав...

Мариус: А те призраки все еще сидят на шкафу.

Лада: О, не будем обращать на них внимания; они такие бледные; и скоро исчезнут; правда, один чего-то урчит.

Я: Ха-ха... А предметы опять начинают подмигивать и перевоплощаться. Значит, дело идет к затишью.

Мы все понемногу успокаиваемся. Только наши призраки на шкафу начинают млеть и, извиваясь, целовать стенки, как будто они лезут на них.

Где-то за окном, увитым змеями, появляются безразличные, говорящие сами с собой фигурки людей.

Предметы меняются нежно, осторожно. Ладочка странно корректирует их изменения движениями рук.

Но во всем чувствуется болезненность, как после тяжелого приступа. Даже какая-то постоянная, вечная болезненность. И все-таки что-то начинается, вздрагивает, происходит. Словно непрерывно Кто-то Большой и Невидимый варит свое вечное, мировое месиво. Пространство вдруг наполняется нашим растекшимся, унылым и безразличным полем сознания.

И мы точно бродим в своем, ставшем индифферентным и

огромным, разуме. И только внутри нас, его самые родные, последние остатки борятся с неизвестным.

Иногда с визгом проносятся какие-то сгустки наших прежних мыслей; затем юркие, слабоумные, оторвавшиеся и теперь странно существующие сами по себе, наши похоти и ассоциации.

— Они дерутся, — обиженно сказал Мариус.

— А нам на все плевать, — махнуло «рукой» существо № 8.

И действительно, это не было так катастрофически ужасно, потому что рядом жила Лада.

Может быть, она была для нас отделившаяся нежность Творца...

И мы, ни на что не обращая внимания, говорили только о ней, думали только о ней, и она присутствовала в нас даже тогда, когда наши мысли были заняты другим. Сумеречность и высшая внереальность наших отношений усиливалась еще тем, что у нас, точно мы были не от мира всего, полностью отсутствовала ревность. Но главное — везде, во всех уголках нашей души, была разлита атмосфера нездешней, немного даже истерической нежности; это был то тихий, тайный, то надрывный, поющий поток Нежности, который ни разу, ни на одну секунду не прерывался ни грубым словом, ни холодом рассудка, ни жестом, ни невниманием. И именно эта страшная непрерывность, точно указывающая, что нет сил выше этой нежности, создавала такой торжествующий, вечный, замкнутый в себе духовный сад. Это было состояние какой-то бредовой влюбленности.

Лада: Ну что же, друзья, еще далеко не все кончено; и, смотрите, наше прошлое растеклось по всему пространству; оно грозит, оно есть.

Мариус: Ну и пусть. В конце концов мы тоже прошлое.

Я: Ладочка, тебе удобно; что за черт притаился там у тебя под боком?

Лада: Да он полумертвый.

Существо № 8: Болит голова.

О, это состояние бредовой влюбленности воздвигало реальную, хотя и до боли в сердце хрупкую стену между нами и полной катастрофой.

Каждый словно прятался в душе Лады, прикасался к ней, спасаясь от судорог распада. В то же время каждый из нас хотел умереть в ней, видеть себя в ней мертвым, видеть в ее теле свой

синий, поющий неслышные песни труп... Вся наша душа горела и оживала — когда мы касались Ладиных рук, мыслей, улыбки. А она называала нас «недобогами» и, ничего не делая, спасала нас.

В конце концов мы, пьяные от наших оторвавшихся мыслей, от этого визга, от то и дело появляющихся дурных, но не имеющих ни к кому отношения, призраков, часто думали: какую связь имеет этот распад с нашей потусторонней влюбленностью? Этот бредовый дуализм совершенно расшатывал нас.

— Смотрите, смотрите, — вскрикнула Лада. — Я погрозила им и они скрылись... Ваши двойники на шкафу... Только от призрака Мариуса осталась одна рука, которая машет нам из пустоты... Прощайте, прощайте, невидимые!!

Я: О, какой высокий... Вот этот в углу... Мариус, подойди сюда... Ты знаешь, около него невозможно жить. Становишься истуканом, играющим сам с собой в прятки.

Лада: А есть кому скрываться?

Существо № 8: Мы и так скрыты.

Мариус: Скоро будет другая жуть.

Когда наступала эта другая жуть, я часто думал: было ли распадом то, что происходило с нами?? Может быть, мы просто были платформой для чудовищной пробежки других сил??

На этот раз она была последняя. Ладочка всегда начинала светиться, когда чувствовалось приближение. Она становилась, как сомнамбула, ходила среди нас, как в слепоте, и улыбаясь спрашивала: «Это Дориос, это ты Мариус, это ты существо № 8?» Точно она всеми силами старалась что-то сохранить в себе... для нас... Ее лицо блуждало и улыбалось неизвестно кому. Иногда только мы присаживались, чтобы выпить вина.

Скоро стало совсем непонятно: то ли мы были пылинками, то ли мы были богами?

Мигом все внешне бредовое: меняющиеся предметы и тот высокий, убралось, точно скатавшись, и спряталось неизвестно куда... Может быть в нас... И вот тогда-то существо № 8 залаяло. О, нет, мы не могли ему помочь! «Это» — внутри — распирало нас так, что мы были сами по себе. Только наша прежняя влюбленность связывала нас с бытием. Я не помню, сколько раз поцеловала меня Лада. И вечная потустороннесть этих поцелуев, в которых не было даже намека на удовлетворение, возносила меня над разрушающимся земным сознанием.

Но куда? Можно ли связать нежность с метафизикой? Для нас это был праздный вопрос. Ибо только светящаяся нежность, исходящая от Лады, указывала нам выход из этого мира...

А нас разрушало и разрушало. Я не только чувствовал, что вот-вот лопнут сосуды и моем мозгу, — но и странные, чудовищно-игривые силы выталкивали меня из себя... Другие, внешние силы, словны белым саваном накрывали мое сознание, и оно барахталось в невидимом, как мышь в руках Бога. Иногда само мое сознание становилось грозным и раздутым и точно ожидало конца самого себя, распуская вокруг последние флюиды. То какие-то совсем враждебные Власти поднимались со дна моей души и, как подъятая кровь в сосудах, бились о стенки моего «я», пытаясь разорвать его в клочья. Иногда — прямо во мне, а не в углу, как было раньше — возникал этот высокий и его тень поглощала мое бытиё...

Но эта бредовая влюбленность! Она жила, она существовала... Как в тумане, Ладочка проплывала мимо нас... И хотя внутри нас самих бушевали таинственные, точно спущенные больным богом силы — ее улыбка опять зачаровывала нас, и весь этот жуткий мир окутывался призрачной, не спасительной пеленой. Странная метафизичность этой нежности поднимала наше сознание над бущующим морем непонятного... Ее нежность точно говорила: я тоже непонятна, но моя непонятность обращает смерть в торжество.

А чем была та, другая, непонятность?

Увы, она была нашей гибелью.

Я взглянул на Мариуса: он почернел и существовал только как равновесие выталкивающих его сил.

Внезапно стало темно и все ужасающе притихло. Наш мир вдруг принял вид пыльной, старомодной комнаты, но в которой по углам, как холодные лампы, стояли застывающие, бывшие призраки. Несмотря на странно-обычную обстановку нас поглощало ощущение исхода, точно бредовое для завершенности сгустилось в обычное и готовилось к последнему прыжку.

Вдруг раздался сломленный голос Лады:

— Все кончено, друзья... Волею судеб у меня иссякли силы... Вы никогда не спасетесь... А я исчезну... Потому что так свершилось... Я буду может быть солнцем, может быть травою, может быть даже женщиной, но никогда не буду Ладой, вашей

Ладой... Да, у нежности тоже иссякают силы... Этого знака, этого символа мало, чтобы победить такое... Нежность несоединима с познанием, но ведь и познание без нежности мертво... Мы в круге... Нежность не соединима ни с чем и в этом ее гибель... Она нужнее всего, но она неуловима... Прощайте, я, Лада, гибну... Если вы когда-нибудь и увидите меня, даже перед самым концом, — это уже буду не я.

И она исчезла. Мы остались недвижно лежать и грезить в темноте, покрытые с головой тяжелым, пропитанным трупными выделениями сукном, которым накрывают мертвых.

Только вместо существа № 8 в кресле лежал съежившийся портфель; в нем были оборванные листки: записки сумасшедшего.

●

ГОЛУБОЙ

Деревня Большие Хари расположилась среди затаенного уюта приволжских лесов. Напротив — через речонку — Малые Хари, чуть поменьше домами. Сюда-то и направился отдохнуть (а скорее поразмышлять) москвич Николай Рязанов — не совсем обычный человек, совершенно стертого возраста. Возраста, по всей видимости, вообще не было. Голова его была взъерошена, взгляд — тревожно-бегающий, а на пиджаке — значок отличника учебы. Николай как-то умудрялся сочетать тихую рациональную учебу 20-го века и службу при начальстве с общим беспокойством в душе. Даже чай пил, посвистывая. А в кармане засаленных брюк всегда носил большой, рваный от времени, блокнот с надписью: «Основные тайны». Тень этих тайн и влекла его в эту деревушку Большие Хари — что-то он прослышал о ней, содрогаясь по вечерам от стаканов московской водки.

Деревня встретила его смирно, но как-то полупомешанно. Впрочем, может быть, ему так показалось. Дальняя родственница его

Марья отвела ему комнатку в уголке. И в первый же день Николай потерялся. Но не сказать, чтобы насовсем. Вышел в лес за грибком, и вдруг как-то бесповоротно, точно в голубом болоте, заблудился. Как будто ничего в мире не осталось, кроме этого бесконечно-шелестящего леса. И песни в нем...

Марья пожаловалась на его отсутствие. Уже шел второй день. Пришлось девкам собирать на чай дедушке лесовому. Нашли пень на перекрестке, пошептали, покрошили. Песенку пропели, ласковую такую, просительную:

Батюшка лесовой
Приведи его домой...

Поплутали немножечко, глянь: а Николай тут как тут, из-за березки вышел. Свет не без добрых леших!

Справили возвращение. Ручьи самогона так и текли от каждой избы. Весна, хлопотно, птички поют. На седьмой день опохмеления Николай уже знал почти все про две деревушки. Знал про спелых старичков, выходивших перед войной из оврагов, чтобы предупредить народ-дитё о бедствии. Знал про колдуна из местных, где-то под Тулою заговорившего немецкую артиллерию, чтоб не палила зря и не мешала ему с котом спать. Но главное, что заворожило Николая, было не прошлое, а настоящее: две ведьмы-старушки, жившие — одна в Больших Харях, другая — в Малых. Та, которая в Малых, была подобрее, и обычно охотнее расколдовывала то, что напускала первая. Впрочем, это могло быть от соревнования... Забавы со скотом, «навешиванье кисты» (т.е. волшебное возникновение опухоли) — были самым обычным делом, и бабоньки, кряхтя, бегали из одной деревни в другую, чтобы просить одну «развязать» то, что «завязала» противоположная.

Но в жизни старушек старались избегать: больно уж нечеловечьи были глазки, глядевшие как из кустов. «Мы одному миру принадлежим, они — уже другому, — вздыхая, говорили пугливые деревенские старички. — Что они знают, от того у людей ум расколется».

Опасаясь такого раскола, люди осторожно обходили не только дома ведьм, но и шарахались от их животных: петуха, козла и кошки, которая в сущности никогда и не была никакой кошкой.

Понимали, что главное происходило за стенами их крепких домов. Только иногда зимой, при свете золотой луны и метущейся зеркальной снежной равнины, видели, как из трубы на помеле, нагло и ни с чем не считаясь, вылетали Бог весть куда некрасивые ведьмы.

Сам Николай, хоть и мучился со своими «основными тайнами», не мог подластиться к старушкам, чтобы разузнать про это. Не подпускали они его и близко. Даже кисту не навешивали. Наверное, просто неинтересен он им был. Вместо этого сдружился он с колхозным бригадиром Пантелеем, увесистым мужиком, который был знаменит тем, что его однажды обернули свиньей.

Рассказывал об этом Пантелей неохотно, с подозрением, но от факта никогда не отказывался. «Что было, то было», — угрюмо, за стаканом, говорил он. Да и так все видели, как закрутился вихрь, как на улице вместо Пантелея оказалась дикая черная свинья, которая с утробным воем (выделяя, однако далеко в стороны жуткий самогонный перегар, что явно говорило о ее человечьем происхождении) понеслась вперед. Как попалась чертова жертва под руки кудрявым ребятам, которые отдубасили ее так, что потом, когда Пантелей опомнился в яме и волею ведьмы пришел в себя, то долго отлеживался, весь в крови! «Надо быть учителем, чтобы такому не верить», — хохотали в деревне.

Но Николая интересовало больше внутреннее, природа самосознания влекла его к себе.

— Что ты чувствовал, что думал, что с душою было?! — тревожил он Пантелея.

— Отлазь, не мучь, клоп, — сердился порой Пантелей. — Заслужи сам, чтоб тебя обернули. Это тебе не «отличник учебы» напялить!

Но Николай словно совсем обезумел, духовно действительно превратившись в эдакого метафизического клопа. «Основные тайны» совсем истерзали его. Уже шли последние дни его долгого, заслуженного отпуска, а он совсем похудел, глаза ввалились, и Николай уже начал, как в сумасшедшем доме, носиться по лесу, громко призывая «батюшку лешего».

— Ни один леший к такому, как ты, никогда не придет, — разубеждали его в деревне. — Что ты такой беспокойный?! Не можешь принять правду, какой она есть. Вот ведьма, смерть, лесовой. А дальше нечего нос совать.

Однако Николай не унимался. Тишина уже пела в его душе. Забылось все. Стал даже надевать на голову венок из березовых листьев. И пил воду только из родника. Ничего бы из этого, конечно, не вышло, но вдруг во сне ночью он попал (вероятно, случайно) в некое потустороннее поле. Как мышь в мышеловку. Сам он почувствовал это только утром, когда встал, дальним острым краем своего не-сознания. А в сознании был по-прежнему — «Николай». Одним словом, повезло парню.

...На следующий день он бегал, как всегда, по лесу. Аукался. И вдруг видит: на пеньке сидит старичок в белом и пальцем его к себе манит, как дурачка. Николай, охолодев, подошел.

— Ну что ты прыгаешь, все про ведьм и леших гадаешь? — спокойно говорит ему старик. — Эка невидаль! Да у нас еще при Екатерине Великой колдуны под Москвой свадебные поезда в волчьи стаи оборачивали!.. Ты ведь серьезное хочешь узнать?!

— Самое глубокое и тайное, — эхом ответил Николай.

— Ну так чего же такой мелочью интересуешься? Пойдем, я тебе дверку покажу.

Покорно, как котенок, Николай поплелся за стариком. Шли лесом, который стал все светлеть и светлеть. Точно солнце вставало изнутри земли. Сколько они прошли — неизвестно, но вдруг Николай вздрогнул: совсем недалеко дверка, то ли в землянке, то ли в избушке, то ли в небе. И ум его от этой двери сразу мутиться стал, и подымать его стало, и холодно засветило внутри.

Старик остановил его.

— Слушай, парень. Стой. Потом сделай несколько шагов к двери. Иди медленно. Если до двери дойдешь и заглянешь, тебя не будет. Нигде. Но не думай, что это твой конец... Ты будешь там, где тебя не будет. Но можно не заглядывать, на любом шаге от дверки можно свернуть, если будет знак... Иди!

И Николай пошел.И сразу черный ужас заморозил его.Вернее, он сам превратился в один ужас. Только высунулся, как у собаки, красный язык. Но он шел и шел, точно охваченный невидимым, не от мира сего, холодным и жестоким течением. Если бы не это течение, ужас убил бы его тут же на месте или отшвырнул бы в сторону, как тень, превратив в черную бессмысленную жужжащую муху. Но он двигался к дверке, уже превращенный в нечеловека, тихо волоча свои ноги, как латы.

И вдруг — по мере приближения — ужас стал превращаться в нечто другое, но это было еще невыносимее любого ужаса, внушенного когда-либо людям, чертям или духам на этой земле. «Этому» не было слов, и любое безумие было только нежным шелестом утренних трав по сравнению с этим.

До двери оставалось всего десять-двенадцать шагов, а «это» длилось уже несколько секунд. Николаю показалось, что он уже ощущает тень того, что прячется за дверью, тень последней тайны. Она лишь слегка коснулась первой волной его нечеловеческого сознания, в котором смешались все пласты: потусторонний, подсознательный, человеческий. И в этот момент кто-то легко и нежно (свет не без добрых леших!) выбросил его из течения, выбросил с пути к дверце...

И затем нечто голубое, воздушное вдруг пленительной струей вошло в его сознание. «Это будет тебе подменой, — услышал он голос, — ибо с тем, что ты ощущал, нельзя жить, хотя ты даже не дошел до двери».

Когда Николай очнулся, ни двери, ни старика не было. Но «голубое» прочно вошло в его сознание. Ибо лишь оно не допускало в его душу память, знание, крик о том, что с ним было. Теперь он ничего не помнил, не знал об этом, его сознание опять становилось привычным, человечным, обыденно-смешным, только пот стекал с тела! Но в сознании пел приобретенный подарок — голубая радостная струя, окрашивающая все в счастливые, гармонически-примиренные тона! Без знания почему был дан этот ложный, но милосердный подарок.

Потихоньку Николай добрался до деревни. Уже спали петухи. Одинокими голосами перекликались ведьмы. Все было до удивительности нормально и спокойно. Где-то в саду тоненько пели о любви. В одном окошке горел свет: видно пили «за жизнь». По небу — почти невидимо — летал ведьмовский петух.

Дальнейшая жизнь Николая определилась голубой струей его сознания. Никаких попыток проникнуть в «основные тайны» он больше не делал и блокнот свой выбросил. Его обыденное состояние осталось прежним: учеба, работа, дела, но второй план был уже не беспокойство, а голубой покой.

Он не знал, что этот смешной покой был лишь тенью, вернее анти-тенью того страшного, но высшего покоя, который он мог бы приобрести на одной из ступенек к двери.

Между тем «жизнь» брала свое. Рязанов — в соответствии со своей голубизной — тяготел теперь только к радужным метафизическим теориям и настойчиво объяснял своим друзьям, что «в целом все хорошо» и «там» и «здесь», но что особенно де «там», т.е. где-то после смерти, причем для всех и во всяком случае в «конечном итоге». Стал очень аккуратен, доверчив, и к людям шел душа нараспашку, всем помогал. Обнаружились даже симпатии к социализму, а потусторонний мир не рассматривался им иначе, чем в самых демократических тонах.

На земле же стал как-то чересчур, до неприличия социален: копошился в различных общественных организациях, хлопотал, выступал, ездил убирать картошку, дня не мог провести без людей.

Умер он более, чем странным образом. О смерти своей узнал (конечно, из научных источников) недели за три-четыре, т.е. узнал бесповоротно. И страшно заважничал. Никогда еще его не видели таким напыщенным и надутым. Предстоящая смерть как бы подняла его в собственных глазах. Он даже купил очки. Вообще, очень оживился, поучал...

И только в час смерти ему послышался дальний смешок и чей-то голос в пустоте произнес: «Улизнул все-таки... щенок».

●

ЕРЕМА-ДУРАК И СМЕРТЬ

(СКАЗКА)

В одном не очень отдаленном государстве жил Ерема-дурак. Такой дурак, что совсем необыкновенный. Странный человек, одним словом. Даже в день, когда он родился, стояла какая-то нехорошая тишина. Словно вся деревня вымерла. Петухи и те не кукарекали.

— Нежилец, наверное, младенец, — прошамкала тогда умная старуха гадалка.

— Еще какой жилец будет! — оборвала ее другая старуха, которая жила в лесу.

Однако до десяти лет ребенок вообще ничем себя не проявлял. «Щенок — и тот себя проявляет», — задумчиво шептались старики. — Отколь такое дитя пришло?»

Даже слова ни одного Ерема не произнес до этого сроку: ни умного, ни глупого. А в двенадцать лет пропал. Родители воют, кричат: хоть и дурень-ребенок, а все-таки свое молоко. Искали по естеству: нигде нет, куда ни заходили: ни в окрестных деревнях, ни в лесах, ни в полях раздольных. Решили искать по волшебству: еще хуже получилось. Сестрицы клубок смотали, Заговорные слова пошептали, а клубок вывел на чучело. Стоит среди леса дремучего на полянке чучело, а огорода нет и охранять нечего. Клубок даже от страха развязался.

Делать нечего: зажили без Еремы. Собаки и те два дня исть не просили. От глупости, конечно. Словно их Ерема онелепил.

Ну, а так жизнь пошла хорошая: песни за околицей поются, дух в небо летит, по утрам глаза светлеют от сказок. Сестрицы Еремушки на хоровод бегали — далеко, далеко в поле, где цветы сами на грудь просятся и пахучие травы вверх глядят.

А через семь лет Ерема показался. Словно из-под дороги вышел. За плечом — котомка. Лапти такие — будто весь свет обошел. Зато рубаха чистая, выглаженная, точно он прямо из-под невестиных рук появился. И песню поет, ну такую глупую, что вся деревня разбежалась. Но делать нечего: стали опять жить с Еремой.

«Пора бы его обучить чему-нибудь, — чесали затылки деревенские старики. — Таким темным нехорошо быть».

Спросили у него, да толку нет. Тогда решили обучить охоте. Целый год маялись, потом в лес пустили: а мальчонку за ним по пятам присматривать. И видит малец: Ерема ружье на сук повесил, свечку в руки взял, зажег, и со свечкой на зайца пошел. Заяц туды, сюды, и издох от изумления. Но Ерема ничем этим даже не воспользовался: прет через лес со свечкой напрямик. А куды прет, зачем? Даже нечистая сила развела руками.

Другой раз на медведя пошел. Но дерево огромное принял за медведя, на верхушку забрался и лапоть сосет. Целый день сидел, без всякого движения.

Худо, бедно, видит народ: надо его чему-нибудь попроще обу-

чить. Сестрицы плачут за него, все пороги у высшего начальства обили. Но кроме как ягоды да грибы собирать — ничего проще не придумали. Дали ему корзинку, палку — девица сладкая по картинкам в книге грибы да ягоды различать его учила. Пошел Ерема-дурак в лес. Приходит назад — у девицы над головой как корона из звезд вспыхнула. Смотрят в корзинку — там одни глаза. Много глаз разных устремлены как живые, не на людей, а куда — неизвестно. Все в обморок упали. Встают — а глаз нет, корзинка пустая. Ерема спит на печке, как дурак набитой. Ничего не понимают. Все бегом — к колдунье. Так и так, значит, нешто Ерема — колдун? Пошла колдунья в избу, посмотрела в рот спящему Ереме и сказала.

— Не нашего он племени. Дурак он, а не колдун.

А про глаза отгадать не смогла. Гадала, гадала, и все глупость получалась. То козел хохочет, то свиньи чернеют не спроста.

Обозлилась колдунья. Метким взглядом глянула на Ерему: а он дрыхнет, ноги раскинул, рот разинул, и почти не дышит.

— Надо на ево, такого паразита, погадать, — проскрипела она. — Посмотрим, что выйдет.

Вынула грязную колоду, чмокнула ее три раза, перевернула, на Ерему покосилась — и давай раскладывать.

Раз раскинула — пустое место получается, два раскинула — пустое место, три — то же самое. Судьбы нет, жизни нет, дома нет, жены нет, вообще ничего нет. Ни в прошлом, ни в будущем, ни в настоящем. Первый раз у первого человека в мире такое выходит. Колдунья струсила, видит, дело плохо, ни туды и ни сюды, плюнула, шавкой плюгавой обернулась — и бежать. До дому — ибо даже у колдунов дом бывает.

Народ тогда вообще во всем разочаровался. Ерема наутро встал, по грибы пошел, да листьев сухих принес. Все ахнули и махнули на него рукой. Разные дураки бывают, разной степени, но это был абсолютный. Никогда такие не появлялись.

Стали жить да быть, как будто Еремы вообще нету. «Мысли от него только мешаются», — жаловались бабоньки. Но хоть и набитый дурак, а все-таки по виду — человек. Надо было ему жену сыскать. Без жены — под небом ничего быть не может. Но какая за него пойдет? Вдруг сладкая девица — которая по картинкам грибы его различать учила — говорит: «Я пойду за него замуж». Все так и обомлели. Она сказала: «Я за него пойду»,

потому что у самого дурака спрашивать было бесполезно: все равно ничего не поймет. Впрочем, он иногда говорил, но ни по уму и ни по глупости, а как — никому непонятно.

Значит, решили объявить про это событие дураку всем миром. Собрали сход, сладкую девицу разодели, радетели ее плачут: «За кого, мол, ты выходишь?», нищие песни поют, девица отвечает: «а мне ево жалко». Ерема стоит посереди, в штанах, только головой в разные стороны поводит. Сладкая девица подходит к ему и говорит: «Я тебя люблю!». Как только сказала она эти слова, вдруг тьма объяла небо, грянул гром, и деревня исчезла. Стоит Ерема один, как ошалелый, а кругом него тьма и пустота. Потом на миг появились опять те, кто были вокруг него, но уже в виде призраков. Сладкая девица на него смотрит — а глаза словно внутрь себя уходят. Ужас бы любого объял, да для таких дураков и ужасов нет. Мигнула опять деревня призрачным своим бытием — и исчезла: куда, не стоит и спрашивать. Гром грянул, все совсем пропало, даже призраки. Не стало и девицы. Только эхом отдалось: «Я люблю тебя!».

Больше уже на месте той деревни ничего нет. А дурак в лес ушел. Бродит — не бродит, ест — не ест, пьет — не пьет. Хотел его нечистый заплутать, сам заплутался — и тоже исчез. Повеселел лес.

...Много годов с тех пор прошло. Ерема-дурак в городе объявился. Люди добрые к нему пристають: поучись. А чему учиться-та? Ну, начать надо с главного, с божественного. Но у Еремы божественное не получается: все делает шиворот-навыворот. Опять ни туда, ни сюда. Наставитель осерчал: «ну, раз у тебя с Богом не лады, иди к сатане!». Ну и что, пошли к сатане. На краю городка человек жил: полу-козел, полу- кошка. Говорили, что у него с сатаной самые уютные отношения. Человечек Ереме: «Ку-ку», а Ерема ему: «Му-му». Человечек ему: «Убей», а Ерема вопит: «И так мертвый!». Взмок полу-козел, полу-кошка. Принесли с подвала дите розовое, нежное, как мармелад. Человек дает Ереме нож: «Переступи!», а Ерема только чихнул. Полу-козел, полу-кошка завизжал: «Ты чего насмехаешьси..!» и в глаза ему глянул. Глянул — и отнесло его. «Уходи, — издалека кричит Ереме, — не наш ты, не наш!»

Ну, если не светлый, не адский, значит земной, пустяшный, — решили в городе. Но про то, что Ерема ничего земного в руки не

брал (потому что из рук все валилось) — мы уже знаем. И поэтому ничего с Еремой у горожан етих, конечно, не получилось. «Что ж он — никакой!» — испугались они. «Ежели хотя бы он тютя-вятя был, — рассуждал один старичок. — Тютя-вятя, он хоть что-то делает, хотя сквозь сон. Вяло, а хоть что-то делает. А етот — вне всего !».

«Ничего, как смерть подберется, так запляшет по-человечески, — говорили другие. — Смерть, она кого хошь научит».

И правда, то ли сглазил кто, но с Еремой скоро очень нехорошие шутки стали происходить.

Жил он на краю городка, в маленьком домике, а за огородом ево и за банькой начиналось поле. А за полем — кладбище. Совсем недалеко. И начал Ерему кто-то с кладбища к себе звать. То платком белым махнет ввечеру, то пальцем поманит какая-то высокая фигура у могилы. Но у дурака один ответ: исть после этого начинает. Наварит каши, нальет маслица и уписывает. Осерчали тогда упокойники. Один малыш ему в дверь стукнул: приходи, мол, к нам. Ну, ладно, делать нечего: собрался Ерема к нежильцам.

Соседушка его, приметливый, все понял и смекнул: конец дураку пришел. Да любопытный был, дай-ка, думает, подсмотрю. Пробрался по кустам, к кладбищу и глядит: Ба! Ерема при свечах на могиле с упокойниками в подкидного играет! Лица у неживых масляные, довольные, хотя все время в дураках оказываются, проигрываютъ. Словно зачарованные. Один из них даже песню запел, другой был — при галстуке.

Оставили после этого Ерему в покое, Ни один мертвяк не вылезал.

Худо-бедно, прошло несколько недель. Как-то возвращался Ерема, сам не зная откуда, по тропинке и вдруг как из-под земли музыка полилась. Свет луны упал прямо перед ним на траву. И в свете этом красавица — сладкая девица — появилась, та, которая полюбила его в деревне. Но не сладкая она была уже, а в тоске вся, и как бы прозрачная, хотя и нежная.

— Что ж, Ерема, — говорит она, — погубила меня любовь к тебе... Погубила...

Ерема на нее посмотрел:

— Да была ли ты?.. Кто ты есть-то?

Заплакала девица, но ангел с небес бросил в нее молнию и, лишив вида человеческого, взял душу ее к себе.

А Ерема домой поплелся, только в затылке почесывает. Опять покой для нево наступил. Только знает на печи сидит, ноги свеся, и на балалайке поигрывает (вдруг сам собой научился бренчать).

Тогда уж неживое царство только руками развело. Но решили к ему Марусю подпустить. В народе говорили, ежели Маруся на кого глянет, тому смерти ни с того, ни с сево, и к тому же лютой, не миновать. Хужее черта лысого ента Маруся была.

Ну, значит, обрядило неживое царство Марусю свою на выход, к людям. Как все равно на выданье. Приукрасили маненько, потому что в настоящем своем виде ее даже к иным упокойникам не выпустишь: не вместят. Колдовали, плявали, сто заговоров за раз читали. Наконец, выпустили красотку на свет Божий. Идеть ета Маруся себе по дорожке из лесу, так даже трава сама не своя становится. Потому Марусю такую на белом свете и держать долго нельзя. Захиреют здешние от ейных глаз.

Подошла она к Ереминой избушке и в окно глянула. Но Ерема и сам на нее посмотрел. Она — на ево, а он — на ее. Аж изба немножечко затряслась. Тараканы и коты попрятались. И чувствует ета Маруся, что она понемножечку от Ереминого взгляда в живую превращается. А он ничего не чувствует, потому что Ерема с малых лет своих завсегда бесчувственный был. Как камень... Но сказать надо, что той Марусе живой быть, все равно как нам с вами в аду в зубах самого диавола кувыркаться. Не любила жизнь девочка. Хуже для нее казни не было, как живой стать. Закричала Маруся дурным голосом, в ужасе на руки свои смотрит: вроде полнеют они, кровью наливаются. Гикнула, подпрыгнула вверх; в царство навсегда мертвых лик свой обернула: помощи просит. Оттуда тогда на нее мраком дохнули; ледяной холод заморозил кровь в оживающих руках; голос человечий, вдруг появившийся, пропал в бездну; зачернели исчезающие глаза...

Еле выбралась, одним словом. Неживое царство тогда решило сдаться. «Эдак он нас всех в живых обернет», — решили на совете.

«Плюнуть на его надо, чаво там, — сказал на земле помощник мертвого царства. — Пущай евойная личная Смерть за него берется. Не наше ето дело».

И взаправду, если уж Личная Смерть придет, никуда не денешься: срок пришел. Етта тебе не черт поганый, от которого

крестом спасешься, а от такого существа ничего не поможет.

Но вышел ли срок Ереме? Спросили об том у ево личной Смерти. Та просила подумать денька два-три. «Чаво думать-то, — осерчал помощник. — В книгу живых и мертвых посмотри — и дело с концом».

— Да он у мене нигде не записан: ни в живых, ни в мертвых, — ругнулась в сердцах Личная Смерть. — Надо Великому Ничто помолиться, может, подскажут, куды такого совать. Думаю, ошибка тут какая-нибудь.

— Ох, бездельница, — покраснел от злости помощник. — Все норовишь срок оттянуть. Жизнелюбка!

— Сам жизнелюб, — огрызнулась Смерть. — Иди-как своей дорогой...

Ну, так матерились они часа два-три, но Смерть на своем настояла. Через четыре дня идёть к помощнику.

— Вася, — говорит, — сроков вообще никаких нету, сказали: когда хошь, тогда и иди.

— Ну, так ты сейчас захоти, — намекнул помощник. — А то вертится он тут, ни живой, ни мертвый, и оба царства смущает.

Личная Смерть отвечает: «Ну, ладно, уговорил! Пойду».

— Подкрепись только, — охальничает помощник.

Знает: никакая Смерть ему ни страшна, потому что он и так уже давно мертвый.

И вот Личная Смерть собралась. Сурьезные времена для Еремы настали. Тут как ни крутись, а ответ держать придется. Тем временем Личная Смерть заглянула в душу Еремы и ужаснулась: куды ж такого девать? Взять душу просто, а вот, что с ней потом делать, задача не из легких. Оно, конечно, не совсем мое это дело, думает Смерть, но ежели убить такова беспутного, то чушь получится — после смерти у каждого путь должон быть. Умненькие по-земному — в ад пойдут, умненькие по-небесному — ввысь, для глупых, добрых, злых, для всех пути есть. А етот как ниоткудава. Ни в рай его не засунешь, ни в ад, ни в какое другое место. Но делать нечего: умерщвлять, так умерщвлять. Однако, на деле оказалось, Смерть далеко не всезнайка. Не дано ей тоже многое из тайнова знать.

Явилась Смерть к Ереме, разом, в горницу, поутру. Глянула на Ерему, и только тогда осенило ее. Нет для него ни смерти, ни бессмертия, и жизнь тоже по ту сторону его. Не из того он соткан,

из чего мир небесный и мир земной созданы, ангелы да и мы, грешные люди. И есть ли он вообще? И видит Смерть, что Ангел, стоящий за ее спиной и мерящий жизнь человека, отступил. Словно в пустоте оказалась Смерть, одна-одинешенька. «Но вид-то его ложный, человеческий, должен пропасть, раз я пришла», — подумала Смерть. А самой страшно стало. Но видит: действительно, меняется Ерема. Сам внутри себя спокоен, на Смерть и внимания не обращает, а облик человеческий теряет.

Но что такому облик? Вдруг засветился он изнутри белым пламенем холодным, и как бы несуществующим. Вид человеческий распался, да и облика другого не появилось. Сверкнули только из пламени глаза, обожгли Смерть своим взглядом так, что задрожала она, и ушел Ерема в свое царство — собственно говоря, он в нем всегда пребывал. Но что это за царство, и есть ли оно, не людям знать. Ни на земле, ни на небе, нигде его не найти. Только вспыхнуло пламя, сожглась изба, Смерть одна стоит среди угольков, пригорюнилась. Платочек повязала, нищенкой юродивой прикинулась и пошла. Обиделась.

А жизнь кругом цвететь: мужики мед пьют, баб цалують, те песни поют, старушки в Церквах Божьих молятся. Пока Смерть не придет.




закрытое лицо

НОВЫЕ НРАВЫ

Однажды одна маленькая изощренная старушонка со спрятанными внутрь глазами нагадала мне по ладони, что у меня оторвется нога.

Уже через месяц я лежал в своей притемненной комнатушке на диване без одной ноги и бренчал на гитаре. Отрезало мне ногу пилой, сорвавшейся с цепи.

Наконец, отшвырнув гитару, я почувствовал, что меня во что-то погружают. Это «что-то» было поле измененного смысла. Сначала я просто думал, в чем же смысл того, что у меня отрезало ногу. Ведь раз это стало известно заранее, значит это было кем-то задумано, да причем очень ловко. Но чем больше я думал о смысле, тем больше он уходил от меня, и всякие приходившие в голову объяснения казались наивными и человечными. И вместо смысла оказывалось просто непознаваемое поле, как будто смысл был навечно скрыт, но видна была его тень, которая погрузила меня в темноту.

И я жил теперь в этом измененном мире. Мне было очень страшно и тоскливо в нем. Поэтому я опять стал бренчать на гитаре, свесив одну ногу. Выпил чаю и с помощью костыля стал вертеться по комнате, развешивая по стенам картины. Холод глядел мне в окно.

Надо было куда-то идти, далеко-далеко. Выйдя в коридор, я удивился, что там все в порядке. И заковылял по улице к Иван Иванычу.

Иван Иваныч жил одиноко в небольшом, приютившемся на земле домике. Кусты отделяли его от улицы. Постучал. Мне долго не открывали. Наконец, послышался шум и из приоткрывшейся двери вылез сам Иван Иваныч — уже давно темный для меня мужик.

— У меня есть гость, — сказал он, словно бросив в меня свое обросшее, в волосах даже на глазах, лицо.

Прошли к нему. За столом в невиданной своею простотою комнатенке сидел гость — чуть-чуть юркий, точно выпрыгивающий из самого себя человек. Был приготовлен, но еще не начинался чай. Сахарница, чашки, блюдца были прикрыты.

И сразу начался интересный разговор. Сначала, правда, так, ничего себе: о погоде, о Божестве, о туманах.

Потом гость вдруг говорит:

— А ведь вот не зажарите вы меня, Иван Иваныч.

А Иван Иваныч со словами: «Вот и зажарю» возьми и подойди к нему спереди — и бац топором по шее.

Топор как-то вдруг сразу у него в руках появился. Я, конечно, присмирел и очень долго, долго молчал.

Иван Иваныч тем временем — он был в ватных мужицких штанах — кряхтя, обтер топор, подмыл пол, тело покойника вынес куда-то и — было слышно по стуку — выбросил в подвал, а мертвую голову его, напротив, положил на стол.

— Ну как, чаёвничать начнем? — строго спросил он меня, ворочая нависшими бровями.

Я не отказался.

Тем более, что мир все изменялся и изменялся, и я не был уже уверен, где я нахожусь. Я раньше считал себя великим поэтом, но теперь мне казалось, что поэтов вообще не существует.

И вид у меня был очень растерянный, даже румянец горел на щеках. Иван Иваныч заметил мое смущение.

— Представь себе такой ход вещей в миру, — сказал он, насупясь, — когда все это совсем как нужно. Просто такой порядок. Тогда у тебя не будет сумления.

Я вежливо хихикнул. До меня вдруг многое стало доходить.

Между тем Иван Иваныч, вынув из порток член, поимел мертвую голову за ушком и потом положил ее, глазами почему-то к стене, обратно.

Обтерев член тряпкою, он приступил к чаю. Поеживаясь я тоже

прихлебывал терпкий, коренной чай. Так в молчании, как по суседству, прошел целый час.

Я теперь чувствовал этот мир, который начал входить в меня еще с нелепого предсказания о ноге.

Идеи, идеи — вот что меня привлекало в нем. Если убийство человека является следствием просто странных состояний или мыслей, а эти мысли объемлют мир, то все понятно. Странные идеи рождают и странный мир. Только надо, чтобы они приняли форму закона.

Я глядел на добродушного, раскрасневшегося Иван Иваныча, как на потустороннего кота.

Он видимо понимал, что со мной происходит, и наслаждался. Наш домик словно по волнам перенесся из Столичного тупика в скрытое для людей пространство. Мертвая голова лежала прямо около чашки Иван Иваныча; он пил из блюдечка, но вместо того, чтобы — по старому обычаю — дуть на нее, дул на мертвую голову...

...Господи, как это было хорошо. Но все же мне страшно находиться в этом мире. Воет ветер; наш домик носится по волнам, которые нигде не отражаются; одиночество гложет сердце, как и там на земле... Милые, милые мои друзья, приходите сюда ко мне пить чай.

●

ЩЕКОТУН

Виталий имел лицо (если считать «это» лицом) до того полупьяное и трезвое, до того сморщенное и обезьяновидное, и вместе с тем холодное, что мало кто его замечал. Даже когда он бежал мимо всех по улицам, точно нагоняя то, что было позади его. Да и глаза Виталия никого не пугали: были они остановившиеся, маленькие, черные-пречерные и не по нашему ледяные, хотя и

загадочные. Густые, темные волосы обрамляли его исчезающее лицо. Никто также не думал о том, чем он занимается. Не до занятий ему было на этом свете. Сексуальная жизнь его была тихая, примиренная, и так удовлетворяла его, что он ее не замечал. Общался он в этом смысле, если не считать, конечно, женщин, только с деревьями. особенно обожал листы, которые как бы скрывали его от мира. Рисовал на заводе плакаты, делал кораблики для дураков. По ночам целовал папулино пальто.

Папуля был единственный член его семьи, с кем он и жил в средней, замороченной комнате с маленькими окнами в деревянном домишке. Еще жила у них в комнате курица. Правда, она была невидима, и Виталий часто пугал коридорных соседей, громко подпрыгивая, окликая ее: «Ко-ко-ко, ко-ко-ко!».

Даже папуля в эти минуты смущался и лез под кровать. Сам Виталий был не очень большого росту, а папуля его и того меньше. Кроме этого, он был так похож на Витальку, особенно ликом, что многие считали их братьями-близнецами и не раз били за это.

Папуля страшно боялся Виталия, хотя по-своему его очень любил, прислуживая ему, спящему, по ночам в смысле питья и еды. Но может быть клевала невидимая курица. Сам Виталька любил спать на шкафу, у потолка, в яме между пыльными и грязными книгами по истории человечества. Еще он любил щекотать папашу. Странно, он делал это с таким радостным и визгливым видом, что папуле самому было так смешно, что он чуть не падал со смеху, когда сынишка его атаковал. Многие годы это скрашивало их жизнь, развлекая как аргонавтов. Виталька (такая привычка появилась у него лет с двадцати), перед тем как щекотать, скакал, не двигаясь, на одной ноге и дул в ладонь. Папаша тогда уже сразу понимающе улыбался и, оскалясь, лез помолиться к черному горшку, который висел у них в углу, вместо иконы. Проскулив, радостный, как недотрога, Виталька, корчась, подбегал и, строя нечеловеческие гримасы, щекотал, где попало, отплевываясь от стыда. Папаня извивался и бегал из угла в угол, урча. Виталька — за ним. Присутствовала ли невидимая курица, когда они носились так по комнате, словно уверенные?! Но были ли они действительно уверены или просто не знали!? Однако соседи не замечали это щекотанье, хотя оно и смешило их по ночам, в постелях.

Так, в твердости, проходила их жизнь. Виталия все разносило и разносило от полу-пьяной радости. Казалось, щекотанье заменяло ему религию. Папаша не хирел и даже прятался от него, прикрывая голову платком, только тогда, когда Виталий его не щекотал.

Отсутствие мамы вообще как-то благообразило Виталия, и от сознания, что у него никогда не было матери, у него тихо светлело лицо. Матери действительно не было, так как рождение Виталия было до того мутно, запутанно и архаично, что трудно было сказать, от кого и от чего он родился. Как известно, есть много способов родиться без помощи человеков, но тут дело было даже не в этом... Папуля, правда, присутствовал, но как-то пугливо и до того мимоходом, что он и сам не понимал происхождения Виталия. Единственно, что, после появления Витальки на свет, папаша одел на член елочную игрушку и никогда не снимал ее, отказавшись от женщин. Витальке часто казалось, что она бренчит погремушкой, звонко-звонко и по-новогоднему, когда папаша прыгает по углам от щекотки.

Но с течением времени все нарастала и нарастала серьезность. Виталий уже не мог выносить вид луны, и нередко, обернувшись собакой, выл по утрам на солнце. Папаша не раз тогда хотел припугнуть его поленом, хотя так был молчалив. Но с привнесением серьезности и света их отношения стали меняться. Виталий все холодел и холодел, словно его душа проносилась во сне мимо чудовищного ангела. А глаза становились все отвлеченней и отвлеченней. Прежде всего это сказалось на главном, то есть на щекотании. Теперь Виталий стал выполнять его как-то более надменно и с оговорками, что де это еще не все. Папулю такое высокомерие страшно раздражало, и он, брызжа слюной, извиваясь под цепкими пальцами Виталия, верещал сквозь хохот: «Ты дери, дери... Но по-сыновнему!». Особенно бесило его небо, временами мелькавшее в ледяных глазах Виталия, когда он щекотал. «Что я тебе — мейстер Экхарт!» — визжал тогда старикан, снимая штаны, чтоб голым задом отпугнуть Виталия. Но тот и зад щекотал так же неистово и отчужденно. Именно неистовость стала особенно нарастать после перелома. Росло и отчуждение, которое стало до того ненормальным, что исчезла невидимая курица. Напрасно старикан обмазывал по ночам лицо сына манной кашей, напрасно рвал зубами переписанные священные

тексты и вообще принимал контрмеры. Наконец, папуля, перевернувшись, сам стал читать священные тексты. Но дальше так продолжаться не могло. Виталий и сам непрочь был погрызть эти тексты, носясь по комнате. «Чур меня, чур меня!» — верещал тогда папуля. Но между тем упорно никуда не уходил. Его отцовские глаза наливались кровью, и сам он был весь в синяках от безудержных щипков Виталия. Еле мог спать по ночам от воспоминаний, ворочаясь в рваной и теплой постели.

И, наконец, свершилось. Щетка стала вверх, когда пробил этот час. (Как будто щетки имеют сознание). Виталий с утра встал совсем оледенелый. Словно был в объятиях самого Бога. Однако странно хлопал себя по заду. И вдруг с каким-то бешеным ожесточением бросился к папуле, который в это время сидел в комнате на горшке (он просто любил эту позу). Лицо сына было до того холодно и словно улетевшее Бог знает куда, что старикан завизжал.

— Да будешь ты наконец водить меня в угол, сынок?! — закричал он, вскочив на ноги. — Прошу тебя!

И протянул ему руку.

Проплясав, и впившись щекотаньем в ладонь, Виталий глянул в окно. Ни солнца, ни луны не было.

— Когда же, наконец, исчезнут светила! — с первой тоскою в жизни подумал он.

Щекотал бешено, а в душе было небо, пустое, бездонное, как будто все светила действительно растворились там, и от них остались только слабые, белые облачка. Эта пустота, этот свет были настолько огромными, что Виталий завыл... Свет без источника опрокинул его разум, который просто исчез, обернувшись невыразимой стороной. Всетождественный, неподвижный свет был настолько странен, настолько не от звезд и не от мира сего, что ничего не было, кроме него, но и он был не тем, чем провидится только божественный свет... «Содержит ли он в себе навеки недоступное живому основание, скрывает ли он что за собой, несмотря на свою безграничность?!» — мелькнуло в исчезающем уме Виталия, так, что он уже ничего не ощутил... Это был свет, который был равноценен абсолютному мраку, оставаясь в то же время бездонным и равным себе светом... Может быть, он был равнозначен мраку, потому что «ничего» не содержал в себе, хотя это «ничто» не скрывалось. Но, не

скрываясь, оно становилось еще более, до абсолютности, недоступным и сверхреальным, нежели было в тьме. Может быть, этот свет был просто иной, но буквальной, стороной тьмы. Однако присутствие такой открывающейся, но закрытой реальности было настолько грозно и в то же время вне всего, что душа должна была невыразимо и бесповоротно измениться, хотя как будто свет не находил в душе ничего, кроме ее непроявленности.

...Между тем в миру происходило следующее: «Виталий» стал так щекотать папулю, словно сам стал заводным и окончательно потерял всякое земное управление. Папаша прикрылся от него вшивым хламом, кастрюлями, и в изнеможении скакал по углам, срывая обои. Наконец, подхватил припрятанную где-то картину и стал прикрываться ею, большой и деревянной, как полущитом. Но Виталий, казалось, готов был защекотать самого творца, как бы Тот не скрывался... С ледяным лицом он неотступно следовал за папулей... Наконец, тот, как-то по не нашему дернувшись у стены, издал последний вздох... Ножиданный его труп свалился прямо к ногам «Виталия»... Но тот продолжал без всякого изменения, надменно и яростно, его щекотать... Труп долго теребился, дергался, точно сворачивался комком, как будто «Виталий» возился с невоспитанной кошкой...

Когда к Виталию возвратилось «сознание» и его светоносное откровение внезапно и жутко закончилось, он обнаружил себя сидящим на табурете, у окна... Труп, уже холодный, валялся у противоположной стены, как пьяный... Виталий глянул в окно: небо было пустынно и безразлично, только одна единственная звезда бледно пылала в нем, точно знак его бездонного путешествия... Может быть, эта звезда была он сам...

...Медицинско-научная сторона обошлась. Было решено, что папуля умер сам по себе, от разрыва сердца. Синяки же де не имели отношения к смерти.

Похороны прошли трогательно, но походили на хохот. Виталька до того был занят собой, что плакал над гробом. Папуля между тем стал до неприличия изменяться в лице, особенно перед самым опусканием. То ли он просто удивлялся; то ли на самом деле он был уже не тот. Его сестра — тонкое, улетающее от своего тела существо — особенно разволновалась, когда вместо серого, мышиного лица папули, так схожего с Виталькиным, вдруг

проявилось загадочное, надменно-ожиревшее лицо древнеримского патриция, до хулиганства тем не менее похожее на гробовую маску, которую де папуля обрел вместо прежней, жизненной. Одним словом, много кругом было суматохи, возни, слез, тухлятины и всякой полу-символики...

Ветер рвал в небо гробовые одежды. Как он еще не сдул вверх самого мертвеца!

Положение осложнилось и тем, что Виталий, вообще ничего не понимавший в происходящем, вдруг почувствовал сильный позыв по-большому. Когда грянул шопеновский похоронный марш — лица музыкантов весело мелькнули, все странно и юрко похожие выражением на папулин жизненный лик — Виталия просто прослабило. У него начался дикий понос, причем тут же, на месте. Произошел дикий скандал. Уже мелькали зонты и платочки. Однако, кто-то, ловкий и круглый, подпрыгнув, успел так толкнуть Виталия в бок, что тот отчаянно упал, серьезно повредив себе бедро. Впопыхах Виталий сразу не почувствовал боли и принялся яростно щекотать куст, под которым оказался, приняв его за несексуальный объект. Его еле оторвали от куста, Этот же, ловкий и круглый, успел еще плюнуть в гроб, совсем перед заколачиванием.

Срочно пришлось вызывать скорую помощь, которая смешалась с гробом и провожающими...

...С похорон Виталий — с тем же дальним и надменным выражением лица — попал в хирургическую больницу.

Там было мрачно и неуютно. Большинство поврежденных лежало в коридоре, Бог знает как. Простыни вздымались по сторонам. Виталий огляделся: так вот он куда попал после своего откровения. Впрочем, теперь ему было все равно. Свет исчез, но Виталий уже не был такой, как прежде. Некая реальность вошла.

Кругом урчали от боли и гоготали. То и дело сновали нелепо равнодушные сестры и нянечки. С тупым упорством они не подавали воды человеку кричащему на полу рядом с Виталием. Впрочем, от человека остался, как говорится, почти клок волос, настолько он был не мясист.

По другую сторону Виталия лежал огромный мужчина, который по делу упал с пятого этажа, и долго пролежал так на мостовой, пока не приехала скорая помощь. У него были

разрушены кости, но умирая, он непрерывно рассказывал похабные анекдоты, и так и умер к вечеру с анекдотом во рту.

— Умру или не умру, — спрашивал он перед смертью.

Многие слушали его анекдоты.

Вообще, к вечеру Виталий телесно почему-то окреп, и ему показалось, что от его присутствия люди стали умирать еще резвее. Вряд ли это было так, но, помимо анекдотчика, поздно вечером умер еще голопузый мужик, лежащий вниз животом. Он с давних пор любил временами, громко и шумно, подряд, испускать ветры, за что пользовался каким-то уважением у больных. С этими звуами он и ушел на тот свет. «До баб ли ему!» — хохотала нянечка, снимая с него штаны.

Как тени, мелькали врачи.

— Где луна, где светила?! — думал Виталий, глядя в окно. — Где облака?! Где моя бездна?!

К нему подходили с вопросами о штанах полу-умирающие и, не получив ответа, отходили. Потому что леденело-невиданная ясность светилась в его глазах. Но они отходили не от ясности, а оттого, что принимали ее за удар топора, произошедший где-то рядом, в другой палате. И то это были самые чувствительные.

Всюду, куда он приходил, получались истории.

На его глазах, на следующее утро, привезли мужика, наполовину раздавленного, и положили в ванную, так что была видна одна его голова. Да и туловища по существу не было. Старик-больной, непохожий на всех остальных, вздрогнул и перекрестился, увидев его.

— Что? Боишься, старик?! — проговорила голова. — А вот я не боюсь! — И сверкнули угрюмые, черные глаза.

Немного спустя «он» — с головою, без туловища, — как полагается, умер.

Но Виталия уже не умиляли эти картины. Стал ли он видеть затылком, или у него появился высший, верхний лик?! Или просто он был в пути, застревая в черном!?? ...Как мумия, скрестив руки, точно открывая умерших богов, бродил он среди больных, пронзая самого себя своим отсутствием. Иногда щупал появляющиеся в сознании — как облака, как предтечи — миры.

...После многих смертей еще спокойней стало в коридорах. Впрочем, всем было до деревяшки. По-своему не замечал Виталий и юркого, единственно крикливого больного, рассказывающего

всем, как он, пять раз за последний год, попадал под поезд.

— Как только сяду в электричку, так обязательно попадусь. Места на мне живого нет!! — покрикивал он перед сонной и одуревшей от полу-секса сестрой, которая любила пить касторку.

Последний раз его так перемололо, что его было уже выбросили в морозильную машину для мертвых, но кто-то пронюхал, что он полу-жив.

Носильщик обратился к остолбенелому на своем месте медвежье-огромному милиционеру:

— Вызови скорую.

— Гу-гу, — ответил милиционер.

— А если тебя так? — скорчился носильщик.

Мяукнув, милиционер скрылся... А поломанный, так только открыл глаз, очнувшись, тут же схватился кровавой рукой за член: жив ли?!

— Вам подарочек, сестренка! — лихо выкрикивал теперь этот больной, распахивая перед няней халат, где посреди инвалидных ранений и протезов бешено маячил розовый член. — Мотоцикл купить не могу, а вот это пожалуйста!!

Врачи прогоняли его тряпками. Впрочем, все было чисто. Кто-то играл в домино, постукивая костылями по стулу. Кто входил, кто уходил, кто сталкивался лбом с соседом. Мяукала под кроватью кем-то принесенная кошка.

— О мое море, мое великое море! — думал Виталий, проходя мимо них.

Ему не хотелось даже щекотать врачей или стулья. Все исчезло, все уходило в туман. «Как отразился во мне тот неподвижный свет без источника, который я видел, — останавливал он мысль. — Во что? Неужели и во мне, он, уже другой, все равно не зрим для моего глаза!?».

И он слышал колокол в своем уме. Этот бой гасил все прежнее, и он чувствовал, как в поле души его появляется и дышит под тьмой что-то живое и невиданное, до ужаса ощутимое, которое может проявиться для его сознания.

Но и непроявленное оно было выше, чудовищней и безмернее, чем весь свет мира сего.

— Я завидую себе! Я завидую себе! — прокричал Виталий в открытое ночное окно московской больницы. — Я завидую себе!

И он чувствовал, что в его душе появилась звезда, вернее приз-

рак той звезды, которую он видел — елинственную — в утреннем небе, сразу после своего откровения и которая была, может быть, он сам.

Да, он был достоин зависти к самому себе.

●

ТИТАНЫ

Сплошная, черная ночь опустилась над нами.

Николай Семенович прилетел.

Как тих и развратен его лик, когда он смотрит в окно нашего жилья! Почему он не свалится с этой ветки, а вечно поёт?! Как холоден его зад, который уже давно отвалился!

Мы так любили играть на нем в чудики.

Вот и Валерий вышел опять. И захохотал, Несмотря на ночь нам еще виднее. Они начинают играть в прятки. Сначала Николай Семенович бьет Валерия, потом Валерий бьет Николая Семеновича. И оба снимают друг с друга короны, похожие на листы.

Валерий уже оказался за двести верст от Николай Семеновича. Там присел Василий, которому трут уши. Сквозь эти уши можно слушать самого Творца, и из ушей его сыпятся вши. Размножаясь, они покидают города... Валерий прикоснулся. Зад его потемнел от скорби. Скоро, скоро будет конец.

Улетел! Как он любил летать над городом, который разрушался от его мочи! На сей раз гуляла мирная девочка лет одиннадцати. Веснушчатым шаром — без рта — упал ей в передник.

— Кыш-кыш-кыш! — закричала девочка. — Уходи, мышонок!

И она побежала навстречу солнцу, которое уже давным давно было черное-пречерное. И словно опускалось в огненные лапы.

Валерий облобызался с Николаем Семеновичем, который стоял рядом. «Ги-го-го!» — закричал Валерий. Звезды меркли от этой

тишины. А у Арины Варваровны было три лика: один, несуществующий, превратился в камень, который годами облюбовывал Николай Семенович; второй — тонкий, змеевидный — был до того отчужден от нее, что напоминал ее зад, если бы он не был; третий уже принадлежал другому миру.

Выпили. Николай Семенович, когда пил, всегда умирал, на время; да и до смерти ли ему было, когда он глядел красными, раскаленными, как уголь, глазами на этот черный мир?!

Валерий же, когда пил, скрючивался от боли, как поломанный чайник, и выпускал из себя нехороший свист.

Одна Арина Варваровна была тиха: она все думала о том, что у нее на сине-белом животе должен прорезаться близкий ей лик, которым она не боялась бы смотреться в зеркало. Трогая живот своими скрюченными длинно-медленными пальцами, она пыталась выдавить-проявить там лицо, напевая пальцами песенку. «Хи-хи-хи! Хи-хи-хи!» — вился у него между ног белокурный мальчик, обливаясь ее потом, как молоком.

А кругом было много, много, как планет, песен! Правда, они были не слышны. Даже Василий — у себя, за двести верст — не слышал ничего. Ибо голос Бога превратился у него в тиканье часов. Но что слышали другие!?

Все повернули голову к Самойлову, виднеющемуся на горизонте, как скала. Почему еще не проходили мимо его тучи? Но городские любили лазить по Самойлову, считая его самой высокой горой. И вывешивали на его вершине флаг. На самом деле Самойлов так очерствел, потому что весь был покрыт гробами. Говорили, что в этих гробах хоронились его прошлые жизни.

— К Самойлову, к Самойлову! — завизжала Анна Варваровна, так что у нее чуть не отвалилась змеевидная голова. — К Самойлову!

Ее не смущал даже пар, исходящий из гробов...

Самойлов сузил свои закрытые глазки. Началось пиршество. А как тосковал Василий, слушая тиканье часов! О, если бы они были боги!! ...Почему так странно отражается в небе лик Арины Варваровны, ушедшей в другой мир?! Звезды уходят прочь от этого видения. А вот и приполз Загоскин. Арина Варваровна обычно щекотала тогда свою матку хвостом, вырастающим из земли... Загоскин не любил эти картины. Он так искал странные лики Арины Варваровны, точно хотел стать полотенцем, сти-

рающим с них грязь. Волосы вставали дыбом от такого удовольствия.

Самойлов любил их всех принимать. Он суживал свои глазки так, что они вкатывались внутрь, в свое пространство, чтоб не видеть гостей. Как смеялся тогда Самойлов, любуясь их тенями! Это было его тихое развлечение, почти отдых, потому что, хотя жизнь его была скована гробами, в ней был непомерный свет, отрицающий все живое. И Самойлов всегда улыбался этому свету в себе такой улыбкой, что многое зачеркивалось в мире. Он никогда не искал лики Арины Варваровны, считая, что это не для него.

Он думал, правда, о высшем, верхнем лике, но его не было. А когда его не было, тиканье часов в ушах Василия превращалось в звон. Этот звон не напоминал о душах умерших.

— Сорвать, сорвать гробы, — думал Валерий, отлетая то в сторону, то к югу. — Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!

И от его плевков смывались города.

Он любил превращать проклятие в акт благодати.

Но из гробов никто не выходил. Только черно-красные тени порой, как проекции демонов, восходили от гробов к звездам, как будто вокруг курили и жгли костры, заклиная... Но уже давным давно не было магов. Да и зачем они были бы здесь нужны?! ...Все и так прекрасно виднелось...

А Самойлов ничем не отвечал на призывы Валерия. Он смотрел в свой свет, который не умирал, обнимаясь с тенями.

И вдруг завыла Арина Варваровна. Это прорезывался новый лик на ее животе! Тот, который должен быть ей близок. Своим отчужденным змеевидным ликом она смотрела в свое дитя-личико. И ей виднелись там виселицы и звезды.

— Хо-хо-хо! — заливалась Арина Варваровна.

Но вдруг дух ее помутнел.

«Есть ли там, за виселицами и звездами — родное, мое родное!!? ...Или ничего нет и все мне кажется — и виселицы и звезды, — а есть только отражение моего змеиного, отчужденного лика в моих новых глазах?! — думала она. — Но почему же так сладко на сердце!? ...Может быть, наоборот, в моем отчужденном лике уже отражен новый лик?!».

И все заходили, заплясали вокруг ее живота. Валерий, уменьшившись до полена, впрыгнул в яму на теле Николая Семеновича,

где раньше была задница. И Николай Семенович заскакал, как кенгуру. Только кто был самкой, кто детенышем??...

А далеко на горизонте, у полыхающего огня, куда опускалось черное солнце, провиделась фигура Василия. Он одиноко брел, разговаривая с воплотившимися часами.

Однако, Загоскин бешено искал лики Арины Варваровны. Запутавшись в тенях других миров и в несуществующем, он то хохотал, изменяясь ликом, то рыдал, от чего у него светлели волосы.

— Господи, Господи! — бормотал он.

Ночь все чернела и все больше виделось.

Наконец, бросив все, скрючившись, как лягушка, он — на четвереньках — присел около Арины Варваровны, пристально всматриваясь в ее новый, появляющийся лик. И Арина Варваровна тоже пристально вглядывалась в этот лик, застыв непонятной головой. Так оцепенели они на несколько мгновений. Тень другого лица, ушедшего в иной мир, с неба приблизилась к ним, повиснув рядом, как крылья птицы. Кругом, из стороны в сторону, скакал Николай Семенович — Валерий. Угрюмо молчал Самойлов.

И тут Загоскин, опередив змеевидный лик Арины, который мог бы уже оторваться от нее, яростно исчез... Но сама Арина ничего не заметила. Загоскин пропал, словно утонув в новом лике.

— Где родное, родное?!! — выла Арина Варваровна, всматриваясь в себя, как вампир.

И вдруг вскрикнула: А... А!! — точно что-то увидела, и разгадка мелькнула на ее несуществующем лице. И, наверное, это видение было решающим, возможно утвердительным, ответом, потому что она тут же забыла его не то от ужаса, не то от бездны.

— Нет, нет родного!! — закричала она потом, точно очнувшись.

По существу его и действительно не было.

И тогда все закричали, завыли и полетели. Одного Самойлова не было. Первая полетела Арина Варваровна. Точно ее лики смешались друг с другом, и она смотрела на землю уже одним глазом, упоенным и настойчивым.

В стороне от нее, как веера, разлетались жирные, в пиджаках, дяденьки с крылышками и мясистыми затылками. Сталкиваясь задами, они как бы совокуплялись, от чего мелькали искры. Но сами они были еще неприметнее этих искр, хотя в то же время устой-

чивы. Двигалась тьма, словно совсем живая. Валерий вылетел из тела Николая Семеновича. А последний, оседлав камень — тот камень, который представлял несуществующий лик Арины — летал на нем, облюбовывая его и дивясь миром.

Так летали они долгие дни и ночи.

●

МАМАНЯ

Впечатление было таково, что этот район города абсолютен по своей патологии. И, может быть, действительно что-то в нем было от Абсолюта.

Бесчисленные, низенько-пятиэтажные дома-коробки располагались ровными рядами, один за другим, настолько одинаковые, что их не отличали даже номера. А между ними не было ничего. Это «ничего» выражалось в одиноко-худеньких, немногочисленных деревцах и нелепо расставленных кое-где скамейках. Все это было еще призрачней душ обитателей. Иногда только — было видно — у окна сушило белье или суетилось привидение.

Но тем не менее крик стоял весь день. Играли в домино, прямо на земле, хоте где-то были даже столы под деревцами. Автобусы развозили существ в разные стороны. А все это покрывало, как куполом, до странности жизненное, синее небо, такое, словно в нем отражались мысли Господа.

Маманя жила в одной из этих квартир. Квартира была грязная, двухкомнатная (один сын выбыл), почти без мебели, с рваной кроватью и таким низким потолком, что старуха казалась великаншей.

Сортир — почти без двери — завлекал каждого, кто появлялся на пороге. Дальше шла ванная (без ванной), кухонька с подслеповатыми окнами и т.д. На полу намертво вжились пятна, большие, расплывчатые — не то старухиных грез, не то мочи, не то

теней умирающей матки. Последний год старуха, хотя часто хохотала, но жила в самой себе по законам угрюмости. Ее остекленевше-мертвые, но с жизнью, глаза на грубом, точно вытянутом мужском лице нередко наливались каким-то прозрачным вожделением, словно она хотела убить домового (если в таких строениях могут быть домовые). Но на самом деле все было проще. Год назад погиб ее сын, погиб от нищеты, с которой он не умел бороться. Второй сын умер от рака мозга, который у него вырос якобы от удара кастрюлей по голове. Умирал медленно, не шутя, и так кричал, что врачи и медсестры разбегались от него. Его сосед по смерти — в палате — один никуда не уходил. Наоборот, высокий, весь в белом, он подплывал к кровати, где бился умирающий, и бормотал:

— Не кричи... Не кричи, Коля... Раньше прощались, а теперь кричат... А ведь это одно и то же... Нехорошо быть таким верующим.

И выпучив глаза на белом призраке-теле, помахав рукой, как палками, уходил.

Маманя приносила сыну в большой, полуржавой кастрюле много помидоров и огурцов с солью. Приносила и ставила ему под кровать. Садилась на табурет и слушала сыновние крики (наркотики мало помогали: то ли были плохи, то ли парень пропитался водкой). Немного послушав, маманя сама начинала кричать, причем прямо в лад сыну и почти таким же мужским голосом. Тогда ее за руки выводили равнодушные санитары. И у нее пропадал мужской голос.

Еще у нее была мысль отравить остальных больных в палате — чтоб отомстить за мучения сына. Она долго лелеяла эту мысль, мыла горшок, куда должна была положить угощения, прибирала цветочки у себя на подоконниках. Но все уперлось в отсутствие яда. Она объезжала Москву, заводила странные, крикливые знакомства в аптеках, лазила по врачам и старушкам. Наконец, ничего не найдя, стояла в долгих дотошных очередях за какими-то полу-отравленными от гниения овощами. Но это был очень слабый яд, и она отравила им лишь себя и бабочку, залетевшую в окно...

Сын умер в погожее, летнее утро, и все рвался последние дни из окна — искупаться...

Маманя долго болела сгоряча. И во сне, как с неба, видела свою матку — рану на теле своем, красную бездну внутри себя, которая горела больным, нежным и диким пламенем, точно в ней метались невоскресшие души. Долго после этих снов она блевала...

И бродила одна по комнате, мечтая о яде. Вспоминала первого сына, умершего от нищеты; «почему он так кукарекал, когда ему исполнилось три года, — думала она, — наверное, нежилец был... Нежилец... А где эти, жильцы здешние?!».

И она не раз подходила к окну: посмотреть на жильцов. Резвые, лохматые, то бешено-страдальческие задумчивые, то, наоборот, в полном отсутствии, они мелькали, расходились перед ее глазами, уплывали в свое жилье. Иногда дрались, и даже хватали друг друга за член. Почему-то их уши напоминали ей слоновьи. Вся ее жизнь после смерти сыновей превратилась в поиск яда. Да и раньше она была нелегка: войны, коммунальная квартира, крики, побои, поносы, штрафы, дожди. Но яд невозможно было достать: казалось, кто-то накрепко припрятал его, чтобы убить сразу всех. «Эх, жильцы... жильцы!» — сюсюкала она, чуть подпрыгивая, в трамваях, угрюмо косясь на существ. Но они не отвечали ей даже взглядом: так было тесно на душе. У них и без мамани был свой яд, и они могли бы убить ее, если бы захотели. Но им было не до нее.

Часто старуха выла у себя одна в квартире. Даже милиция не появлялась у нее. И тяжесть была не только от потери сыновей; и до этого душа ее все тяжелела и тяжелела, превращаясь в сгусток. А взгляд, наоборот, стекленел и опрозрачивался. Словно она смотрела на мир легко-легко.

Еще облегчал ей существование третий сын, единственно оставшийся, тем более, что он был урод. Собственно в косвенном смысле уродом он не был, и когда он садился рядком играть в домино во дворе или судачить, его почти нельзя было отличить от остальных. Рот, конечно, был жуток, своей нелепой отвислостью, но не более; зато не было стандартной жестокости в лице, наоборот, оно умиляло своей стертостью и неприметностью; правда, это больше выражалось в самой фигуре, во всем теле; лицо скорее вообще ничего не выражало, болтаясь как бессмысленная сосиска. Одним словом с ним было легко.

Он жил с женой-старушкой отдельно от старухи-матери и поэтому любил к ней забегать. Болтал, размахивая руками, говорил


Нездешняя Ма-Ма.
Океан.
Мо-ре.

о премиях, о непрерывной учебе, которая была его подлинной страстью. Маманя, считая его идиотом, скрашивала свое бытие. Вообще, из-за отсутствия яда ее страшно стало тянуть на развлечения (правда, уже полгода спустя). Например, она юрко обыскивала морги, считая мертвецов, да еще живого сына прихватив с собой. Полюбила мороженое и кино. «Какая я стала лакомка, сынок!», — говорила она Михаилу (так звали сына), потряхивая ногой и окуная лицо в маленькую порцию мороженого. (Михаил был странно прижимист, при всей своей неприметности, и не очень баловал мать)...

...Такова была старуха, И прошел ровно год со смерти второго сына, крикуна. Но последние дни старуха чувствовала в себе приближение. Уже перестала сниться кровавая матка, из которой раньше — в глубине — доносились чьи-то приглушенные стоны и рыдания. И не наступал покой — когда из тьмы сна вдруг выступала, преобразовавшись, та же, огромная матка, но уже в абсолютной тиши, как замершее после падения духов бездонное тайное озеро. Если и появлялась она ей теперь во сне — то это уже была будто бы не она: не было ни боли, ни крови, ни голосов сыновей, ни стонов замученных, а была просто черная, узкая яма, черная дыра — и ни света, ни крова и ни покоя.

Потом сон как бы стал явью.

В этот день старуха ждала последнего сына, из живых.

Михаил не пришел, а прилетел. Первым делом кинулся в туалет. Полу-дверь так и покачивалась от его звуков. Старуха, оцепенев, ждала его в кресле — в пустой комнате, с рваными обоями, и маленькими окнами, никуда не выходящими.

Наконец, выпорхнул Михаил. Он даже не снимал пальто, а бегал по комнате, о чем-то говоря. Обычно старуха молча любовалась им, забывая покойных сыновей, и грезила о том, что Михаил станет командиром. Да где-то он уже и был командир.

Но на этот раз сын вдруг провалился в какую-то серую пропасть. Она не могла понять, почему она неожиданно стала равнодушна к нему (и следовательно он исчез). Равнодушна после стольких страданий, после того, как годами выкармливала его, голодая сама, как волчица. Она почувствовала, что это не случайное равнодушие, а какое-то тотальное безразличие, и с ней что-то внезапно случилось. Ведь недаром в эти дни ее все больше и больше охватывала иная тьма.

Она посмотрела в окно, которое никуда не выходило. Мутным взглядом оглядела пустую комнату. И кривая, клыкасто-длинная усмешка протянулась по ее продолговатому лицу. В уме зияла черная матка. Сын, ничего не заметив, опять побывав в туалете, так же весело упорхнул.

А старуха встала. «Судьба», — сказала она. Комната уже стала не комнатой, а темным, узким проходом, жильем, в котором исчезли все предметы, и только где-то впереди, в далеке, как у края, светилось то, что стало доступно ее новому зрению. Старые — обычные, человеческие глаза — померкли и старуха поняла, что ослепла. Но тем не менее она видела — уже иным зрением — какие-то большие, ушастые тени, небывало-черные поля, убегающие вдаль одно за другим и исчезающие за горизонтом, и темного человека, погруженного в себя. И она поняла, что хотя она ослепла, ее матка, преобразившись и почернев, как она и видела в последних снах, превратилась в глаз, и она может теперь видеть только этим глазом, единственным и жутким — уже то, что ему доступно. «Но ведь это же лучше, чем раньше!» — торжествующе подумала она и та же рваная усмешка, длинная и потаенно-уверенная, поползла по ее лицу, все больше холодеющему. «Хоть бы тот человек помахал мне рукой, — мелькнуло у нее в уме, — ведь я их новый гость».

Одно она не могла разобрать: вывернулась ли ее матка наружу, как хобот, и теперь она глядит этим хоботом сквозь прежний мир, уходя в новый, ей более сердечный, или ее матка просто осталась на месте и она глядит теперь внутрь себя, в свой ум, этим черным взглядом, и ее ум, преображаясь от этого непрерывного взгляда, переносит ее туда — к темному человеку.

Но не все ли это было равно. Около человека уже собирались какие-то твари — в каждом мире есть низшие существа. И старуха закричала от радости; «хаа! хаа! хаа!, — отозвался ее вопль в пустых комнатах, а «там» было все темнее и темнее, но это была жизнь, светлая жизнь.

«Никаких сыновей не надо, — обозначилась старуха. — Где они... Боже где они... Кого убивают?!».

Ее матка, превратившись в глаз, в знамя, в знак, уносила ее все дальше и дальше — в глубь темного мира, где метались ушастые тени, и нечеловечески застывшая, как бы овеществленная музыка была субстанцией, которая в то же время звучала, и твари судо-

рожно расширялись от движений темного человека, и не было ничего, что напоминало бы о недавнем, таком холодном для нее мире.

«Спаслась, спаслась, — подумала она кубарем. — Но почему я не умираю?» Ибо она, правда отдаленно, чувствовала еще свое присутствие в прежнем холодном и жестоком мире, где души могут превращаться в камень, и в котором она еще чуть-чуть оставалась. В этом мире она еще двигалась и кое-что ощущала, несмотря на слепоту. Каким-то образом она открыла дверь своей квартиры и медленно спустилась по лестнице.

Чудом перевернулась. И когда выходила на народ, на свет, на солнце из щели последней двери, то, съёжившись, пятилась уже задом, и зад был огромен и обнажен, и в нем зияла черная дыра прохода — почему-то жуткая и открытая, словно не матка ее превратилась в глаз, а отверстие в заду, и она смотрела теперь этим глазом, в волосьях в глубине, на себя и на мир — с двух концов.

Увидевшие эту картину обыватели так и замерли у стола с доминошными картами в руках. Двое — с открытым ртом. Истерично заплакал ребенок.

— Почему я не умираю? — подумала старуха.

И тогда темный человек — потоком — подошел к ней.

— Тебе еще долго придется быть у них пугалом, — сказал он, — прежде чем ты навсегда перейдешь к нам.

И дети разбежались от старухи.

●

ПРИХОД

Не было ни снов, ни кошмаров, исходящих из плоти, ни тупого ощущения смерти, которой нет, ни страха, выворачивающего внутренности. Просто Григорий знал: надвигается ужас. Якобы все оставалось дома на месте: дома-коробки, равнодушные к

своему существованию; солнце в пустом небе; трамваи. Но в мире появилось нечто, имеющее отношение только к Григорию. Поэтому остальные ничего не замечали. Оно было скрыто, но, казалось, все вещи в миру, даже сам воздух, были лишь его оболочкой (или завесой?!). Да и то, главное было не в этом. Главное стало в сжимающейся душе Григория... Но почему она сжималась?! Может быть, что-нибудь неизвестное входило в нее, и она опустошалась?! Но зато многое выражалось в его глазах. Они, сами по себе маленькие, выкатывались, и на их поверхности соединялись такие слезы, водяные тени и испуг, что и сумасшедшие могли бы сойти с ума еще раз. А как подпрыгивал Григорий, ведомый своими глазками!! Ноги он расставлял в стороны, широко, как лягушка; и затем прыгал вперед, в пространство. Официанты одобрительно смеялись, глядя на эти сцены. Волосы у него при этом поднимались вверх, как у Мефистофеля.

Но на самом деле эти прыжки вовсе не выражали ужаса Григория, напротив, скорее это было его веселие, может быть просто развлечение, в котором он отдыхал. Сам ужас ни в чем не выражался. Точнее, пока еще в полной мере ужаса не было, было только его приближение. Но и оно было невыразимо, так что обычный ужас стал веселием по сравнению с этим. Григорий очень полюбил обычный ужас с тех пор, как «оно» стало надвигаться. Как веселый поэт, он несколько раз бегал из конца в конец по длинному мосту, поднятому высоко над рекой, и все время заглядывал вниз, в бездну. Туда, как всегда, манило, и все создавало комфорт для бессмертного прыжка вниз: и теплый летний ветерок, и зелень лесов на берегу, и синее солнечное небо, и томная гладь реки. Но Григорий, который раньше боялся смотреть вниз даже со второго этажа, теперь хохотал, глядя в эту смерть на лету. Он скакал по краю моста, как бессмысленная и радостная птичка. Только что не было крылышек. Дома сжег все, что написал за десять лет. Прогнал жену, которую любил изнутри. А глаза все наполнялись и наполнялись приближением, которое ни в чем не выражалось, но, вместе с тем, вытесняло и страх, и слезы, и водяные тени. Глаза становились не глазами.

Чем же стали его глаза?! Но никто их, по существу, не видел.

— Привидение, привидение! — правда, закричала одна маленькая девочка.

Но она была слишком слаба и могла принять хоккейную клюшку за призрак.

Кошки и те не разбегались от глаз Григория. Да и он стал смотреть в одни стены. Ожидая, что там появятся знаки, пусть почти невидимые, на камнях, на стекле, в самом воздухе, между сплетающимися цветами на подоконниках. Он, правда, их так и не увидел, но ему казалось, что некоторые — тихие, без шляп — грозили пальцами: туда, сквозь розы. Но тот, другой знак, который видеощущал Григорий, был абсолютен. Он был во всем. И на исходе третьего месяца Григорий стал трястись мелкой такой, абстрактной и непрерывной дрожью. Члены отрывались от головы, которая холодела.

И тогда в его глазах вдруг появилось последнее выражение предчувствия. Оно явственно говорило о том, что ужас скоро грядет. Иными словами, приход совсем близок. Приход, который относился только к Григорию, приход, который вызывает в душе его только ужас, но без всякого осознания, кто и что придет.

Стал подпрыгивать, бить себя палкой по голове. Как сладка бывает человеческая боль!

И внезапно захохотал! Утром, когда весь мир был погружен в сон. О, это был не тот хохот, когда он глядел в бездну! Это был непрерывный тотальный хохот, не прекращающийся ни на минуту, ни на вздох. Да и по сути иной. Правда, в нем слышались светоносные рыдания, приглушенные, однако, волнами смеха.

Кроме рыданий слышалось также безразличие, которое тоже заглушалось хохотом. А за далью безразличия был холод, который проникал еще дальше, в сам хохот, но тоже был им отодвинут, чуть отзываясь ледяным безумием в раскатах этого смеха. Но хохот был выше всего. Он покрывал саму смерть, возвышался над нею, как мрак. Таким хохотом можно было бы захохотать Ангелов.

Шел третий час такого непрерывного хохота. Григорий был один в своей комнате. То ли он сидел, то ли застыл в невиданной позе?!

Но он целиком ушел в высший мрак своего хохота.

Вдруг кругом стало стремительно светлеть, словно весь мир превращался в светло-призрачный. Сознание разрывалось, на мгновение переставая быть, и что-то незнаемое и вошедшее в его душу сразу уходило вверх, в небо, а что-то оставалось здесь, в

душе... Как в вихре, он изменялся, ничего не понимая...

Очнулся он одиноким. Никакого ужаса не было. «Когда же будет приход?» — подумал он. И сразу почувствовал, что его уже не терзает это. Сонно и светло оглядел он комнату, дома за окном, часы у стены. «Наконец-то все в порядке», — решил Григорий.

Везде, действительно, был порядок. И сам он светился. Дома были не дома, стены не стены. Душа словно превратилась в ледяную глыбу. И глаза, видя, не видели. Какой-то занавес рухнул.

Не было и привычных дум о смерти.

Но зато стало так странно, что исчезло само понятие о странности, а ее реальность превратилась в обыденность, не теряя при этом ничего.

— Да во что превратилось мое тело? — спокойно подумал Григорий.

Точно оно стало душо;о, а душа превратилась в тело.

Он вышел. Люди казались тенями, шум их небытия уходил в потустороннее этому миру. Все вроде бы чуть-чуть сдвинулось. Но внутри него было не «чуть-чуть», а то, о чем нельзя было даже задавать вопросов. Неба как будто не было, точнее, все превратилось в небо, в котором плыли острожные призраки — прежние люди, твари, дома.

И тогда Григория охватила белая, пронизывающая радость — радость от того, что все умирает, что все в полном порядке...

Радость вне судьбы и всего того, что происходит... Радость помимо существования... Она выбросила его в ближний переулок... Он плыл вперед. И внезапно — за оградой, в саду, у стола со скамейкой, в стороне от старинного дома — он увидел существ. Они были белые, высокие, светящиеся, с узкими, длинными, как свечи, головами, уходящими ввысь, словно растворенными в небе. Они как бы плыли, в то же время ступая по земле, и светло белели подавляющим крайним бытием.

Их оторванность ото всего больно ранила Григория. Он дико закричал, — хотя какой может быть крик в том мире, где царит полный порядок! Этот крик не изменил его, и он остался кричать, как цапля, повисшая над озером. Для существ ничего не существовало, что было ему знакомо...

— Боже, как он высок, как он высок! — застонал «Григорий», указывая на одно. — Что они «делают», что «говорят», что «думают»?!! ...Есть ли между ними нить?!!..

И он стал пристально, тихо прижавшись к дереву, вглядываться в них. Какое счастье, что они и его не замечали! Выдержал бы он их внимание!?

Призрачно-странный порядок — тот, который появился после его пробуждения — неожиданно разрушался, чем больше он вглядывался в существа. Может быть, он просто заполнял собой все. Его душа росла и росла, по мере того, как он исступленно глядел на них. А они, видимо, не замечали его, оторванные ото всего, что прежде было реальностью. Они плыли мимо себя, постоянно пребывая в себе и в чем-то еще.

— До какой степени они вне? — думал Григорий телом и был не в силах оторваться от них взглядом, хотя эта прикованность все изменяла и изменяла его (по ту сторону спокойствия и тревоги), с каждой минутой все мощнее и скорее, и он быстро терял возможность остановиться и выйти в прежний белый покой, в котором — строго говоря — не было никакого покоя.

И тогда он увидел круг. Один большой светлый круг над миром, круг, ранее им не видимый, но который, в сущности, был невидим им и теперь — для тайно возникшего в нем интеллектуального света — так как был навеки скрыт ото всего своей белизной.

И тогда Григорий опять закричал. «С ними я могу... С этими лицами! — он посмотрел на существа. — Но в этом круге я исчезну! О, зачем, зачем?!»

И он закрыл глаза, чтобы не видеть холодно-ослепительного божества.

Но существа вдруг открылись. Он понял, что есть нить — нить между ним и ими.

Ему даже показалось, что тот высокий сделал еле заметное движение, чтобы призвать Григория к себе — как собрата. Григорий двинулся навстречу — туда, к существам. И в ответ сознание его окончательно рассыпалось — рассыпалось на чуткие, безымянные искры, которые летали в пустоте, как от костра.

На мгновение он ощутил себя блаженным идиотом, который с высунутым языком наблюдает полет своих слюн. Но в то же время распавшееся сознание обнажило пустоту — белую, странную пустоту внутри него, которая сразу стала оживать и шевелиться. И ему почудилось, что он уже может общаться с этой пробужденной пустотой, ставшей белой, с теми светлыми, плывущими над измененным миром существами.

Может быть, он уже «говорил» с ними. Но исчезающая привычка осознавать мешала ему войти в новый мир — вернее, помешала на секунду... Искры вспыхнули и погасли...

И когда Григорий подбежал к существам, он уже был не Григорий... Он только весело вертелся посреди — словно помахивая хвостиком — под непонятным и холодно-зачарованным свето-взглядом, исходящим от их тел...

●

НОГА

Савелий бежал один по темному переулку. Громады домов казались мертво-живыми и угрожающими. Словно их никогда не было. «Почему, почему я так люблю собственную ногу!? — выл он про себя. — Вот я бегу... бегу... Но что потом?!! ...О, моя нога... нога!!! Лучше остановиться, зайти в угол и поцеловать ее. То место, которое являлось мне во сне!! ...Нежное, судорожное...».

Он продолжал бежать. Но глаза его застыли, точно упали с неба. «Подойду и выпью свою кровь, — мелькнуло в его уме. — Я уже не могу переносить свое существование... Но что это?!! ...А нога... нога?!»

Он остановился. Наконец-то навстречу ему вышел прохожий. «О, как хочется, чтобы все провалилось, все, все! — ожесточенно подумал он. — И эти проклятые дома, и эти люди... И я, оставаясь, ушел бы вместе со своей ногой в другое... Другое... Другое... О, как хочется его видеть!!... Но где моя нога?!... Где она?!».

Он нервно дотронулся до нее рукой; вроде на месте. Оглянулся. Толстый человек, напоминающий борова, но в очках, внимательно посмотрел на его волосы. Юркнул кот, до странности похожий на его соседку — Анну Николаевну.

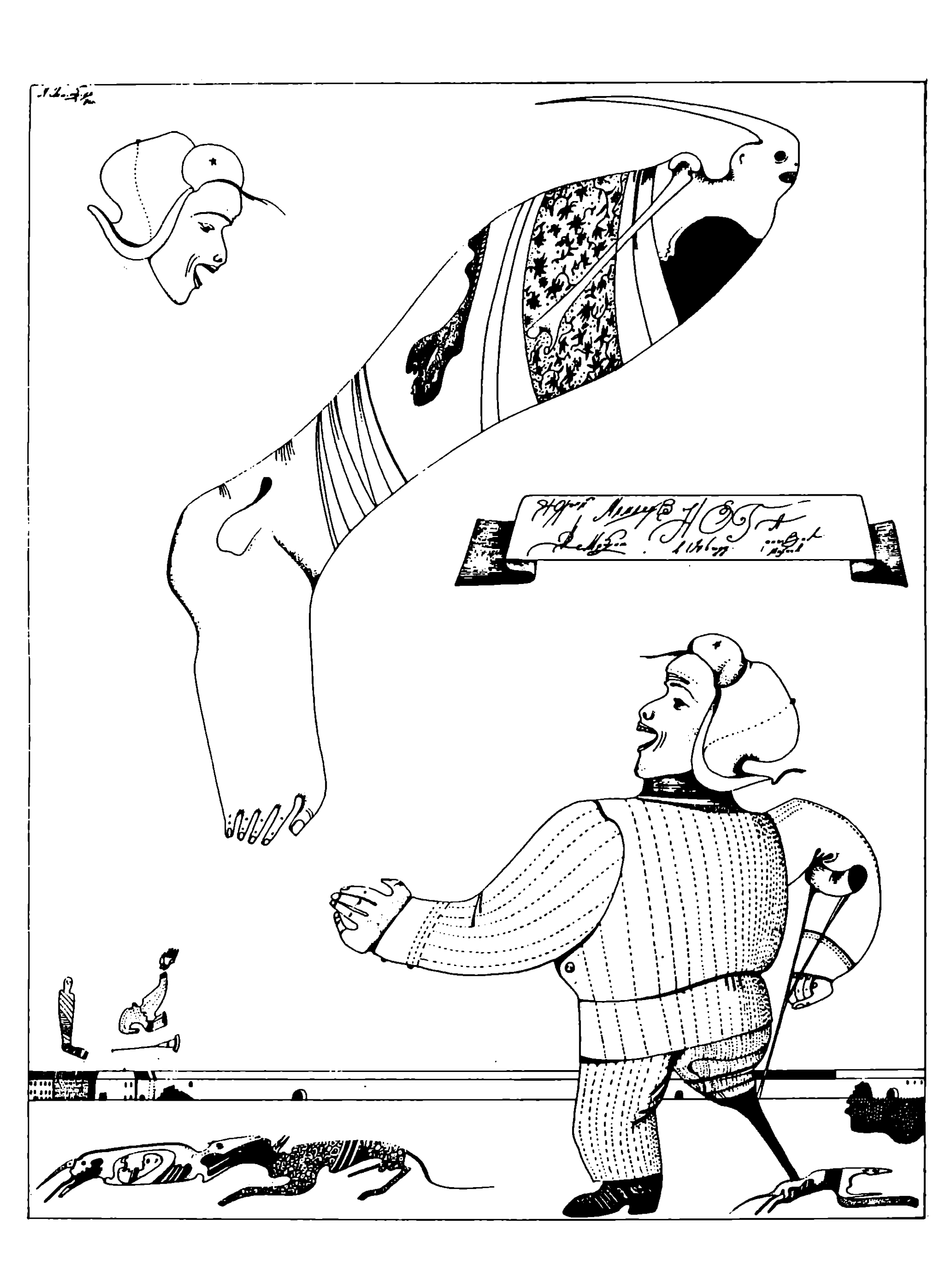
«Нет, это еще не конец!! — взвыл Савелий. — Мы еще поборемся, зацелуем!» И он отошел в угол, который снился ему уже три месяца. Там, в чудной, поднимающейся ввысь живой тьме, Савелий обнажил свою правую ногу — ту, которую любил. Любил больше Бога, больше себя. И припал...

...Тихий стон раздался через несколько минут. Кровь медленно, легкой струйкой лилась из ноги — но было это пролитие слаще меда, нежнее рождения, сладострастнее материнских ласк. Глаза Савелия помутнели. Губы лизали кровь, белую атласную кожу... Вся плоть, казалось, готова была прижаться к ноге, истечь в нее... А в сознании плыли невиданные грозы... О, разве суть только в наслаждениях?!... Суть в мирах, стоящих за этим, суть в том, что он любит свою ногу... Главное было после оргазма.

Позади его раздался истерический хохот. Так случалось не раз, когда он припадал к ноге — вдруг в самом конце появлялась фигура. На сей раз это был седенький старичок с пропитым носом, весь закутанный в одеяло, хотя на улице было тепло. Его глаза остекленели, но он хохотал не от зависти к Савелию — рядом сидела мышка, и старичок сошел с ума, глядя на нее. Он как бы бежал на одном месте, словно наполненный нездешней мочой. «Скоро должна появиться луна», — подумал Савелий. Осторожно, почти на четвереньках, он выползал из подворотни. Чтобы не зашибить ногу, он любовно волочил ее, и поглаживал, что-то бормоча.

Ухаживанье за ногой заполняло почти все основное время Савелия. Он одевал ногу в шелк, нахоливал ее мазями, духами, хотя остальная часть тела была, как правило, не в меру грязна. Особенно зарос член — его почти не было видно среди леса волосьев, перхоти и каких-то слез. Кажется, к тому же он был, нацеленный на ногу, искривлен у него. Зато нога блаженствовала, как женщина. Вряд ли у Марии Антуанетты, когда ей отрубали голову, была такая холеная нога. Больше всего Савелий боялся причинить ей не то что боль (при мысли о боли он коченел от ужаса), а хотя бы маленькую неприятность. Очень тяжело было вставать по утрам; Савелий долго и самозабвенно гладил и вынеживал ногу, глядя на нее в зеркало — чтобы смягчить первое прикосновение к грубому полу.

Каждое подобное касание отзывалось в его сердце мучительной, почти религиозной болью, но все ж с течением времени он



научился переводить боль в наслаждение. Но безумный страх за ногу — заставлял его останавливаться на улице, среди людей и машин, бежать ото всего в угол, в припадке жалости целовать и ласкать ее. Даже сидеть он не мог без дрожи и слез за свою любимую. Ветерок на пляже, если он был чересчур быстр, заставлял морщиться его и укрывать свою ногу в покой. Только бы не было для того, кого любишь!!

...Наконец, Савелий вылез из подворотни. Большой, шелестящий лоскут невиданного китайского шелка — красивый и пахнущий духами — волочился по грязи, еле держась у ноги. Луна вовсю плыла в вышине, среди туч. Савелий поднял свои мертвые голубые глаза к небу. Они были уже спокойны, как у римлян после смерти. Вдруг кругом стали появляться люди. Разные, и волосы их походили на головные уборы. Это были просто прохожие. И Савелий поспешил прочь. «Почему так много одноглазых?» — подумал он. Но одна более необычная старушка увязалась за ним. Высокая, но сгорбленная, с почти невидимыми глазками она, кажется, заинтриговалась шелком, ползущим за ногой Савелия наподобие шлейфа. Савелий поздно заметил ее: она уже была сзади, в нескольких шагах, и когтисто протягивала длинную согнутую руку к шелку. Взорвавшись, Савелий побежал. Быстро, быстро, как вепрь, только шелк сладостратной змеей, как бы рывками, увивался за ногой, точно впившись в нее. Иногда Савелий останавливался и хохотал. Старушка тем не менее бежала не особенно, отставая, но вдали, как-то механично и беспросветно. Савелий между тем тяжело дышал. Пот стекал ему к голубым глазам, его фигура странного воина на изнеженной ноге тускнела среди туш и чучел живых людей. Старушка махала ему платком и что-то шамкала, видимо делая предложение. Равнодушные троллейбусы проплывали мимо.

Наконец, Савелий забежал в угол, и точно стал невидимым для окружающих. Он не раз прибегал к этому способу и знал, что после этого некоторое время его никто не будет видеть. Даже если он станет настойчиво предлагать каждому руку. На любое предложение отвечали только воплем.

«Пора, пора уходить отсюда, — думал Савелий, полу-невидимый. — Но как же нога?!... Опять ступать ею по тротуару?!... За что?!»

Последнее время его роман стал двигаться к некоей ужасающей

развязке. Но что за этим крылось — он не знал. Подошел выпить пива — и словно влил в ногу живительную влагу. Клочок бумаги попался ему на ходу; быстро прочел: «человеческое добро погибло; добро стало трансцендентно человеку, и следовательно оно стало античеловечно. Истинный Бог, в Его безднах, — чудовищен, чудовищнее Дьявола, который более близок людям».

Савелий побежал быстрее; когда он так бегал, то словно летал, не чувствуя прикосновения к земле, ощущая ее — ногу — своей королевой. «Но где же корона, где корона!?» — иной раз лихорадочно думал он. Иногда короной ему казалась земля. Но сейчас он должен был, должен разрешить свою загадку.

Вот и дом, дом. где он живет. Как часто он представлял в воображении свою ногу, уклоняясь порой от прямого соития с ней! Нога плыла тогда в его сознании подобно огненному шару, но внутри этого шара гнездилось его, его бытие, к которому он направлял свой поток! Но его ли бытие?? Все было так жутко, загадочно; может быть, нога была его и не его; как холеное, пришедшее из вечной тьмы, сладострастие, она манила к себе, и внутри ее лежала тайна, которую невозможно было разложить.

Иногда Савелий называл себя Матерью по отношению к ноге.

— Сын! Сын! — кричал он посреди своих оргий. — Моя нога — мое я и мой сын! — застывал Савелий, мертвея от переноса своего бытия в ногу. Оголенная нога, увитая нежными розами, млела в его сознании. Иногда же она была в терновом венце. Потом все пропадало, и опять начинался визг сладострастия, пришедшего из вечной тьмы. Нога сладостно извивалась, как белое существо, наделенное нечеловеческим, разлитым по всей ее плоти духом. Точно холодный эротизм Люцифера коснулся глубины страдающего Божества, и в этом возникшем адо-раю чернела от оргазма кровь Савелия. Но часто вместо всего этого, наоборот, наступала иная, внебожественная тьма. ...В ужасе Савелий вскакивал с ложа и выбегал на улицу, на чердак, на помойку, с криками: «Мой сын стал Отцом, Отцом! Планета превратилась в Солнце, оставаясь планетой!» Во всем теле было пусто, словно в него вселилась луна. Крысы, пугаясь его вида, умирали.

Но теперь все это было позади, позади. Он шел к развязке. Савелий юркнул в подъезд своего дома. «Его не надо, не надо убивать!» — кричал кто-то в углу, тусклыми, отрешенными глазами всматриваясь в тень Савелия. В стороне надрывно пела

русскую песню худенькая девочка с прошибленным черепом. Кровь сочилась, попадая в полуоткрытый рот...

Савелий сделал несколько прыжков вверх по лестнице. Внутренне молниеносно холодел, когда стопа любимой ноги касалась мертвого пола. Вдруг отворилась дверь в одну из квартир, хотя никого не было видно; однако хохот выдавал присутствие. Савелий погрозил кулаком в эту открытую квартиру.

Ему пришлось пробегать длинные, заброшенные демонами коридоры. Шлейф остался на полу. «Почему вокруг меня одни только мертвецы или сумасшедшие?!» — подумал он, ошибаясь. За весь путь по коридору он увидел только одного человека: Пантелея, угрюмо-крикливого мужика, живущего половой связью с центральным отоплением. Казалось, пар исходил от его члена, и зубы его были стальны, как у волка.

Подбодрив Пантелея, Савелий ринулся дальше, и вскоре был у обшарпанной двери своей комнаты. Вошел. Потом, побегав внутри с полчаса, изнеможденный присел на кровать. Луна, как слепое, желтое око, смотрела в окно. Слышались голоса: «Как вырастает мой член... Не надо... Не надо!! ...Отец мой, бежим... Но куда! Куда?!... Дайте мне мою маску, дайте мне мою маску, проклятые звери!!... Очень холодно, когда гадаешь... Не колдуй вместе с камнями и не выбирай себе камень в духовники, несчастная... Как страшно, страшно!!!»

Но Савелий уже привык к этим голосам; даже голубые глаза его не темнели. Все, все было позади. И все изменилось. Как часто, после оргазма, он с нежностью глядел на свою ногу! Как нежнела она на солнце, в блеске зеркал!! О, юность, о прошлое! Но пора, пора была прощаться.

— Я не могу Ее больше видеть при себе!! — вдруг завыл Савелий, упав на колени. Вместо иконы в углу была пустота. — Мне некому даже молиться!!

И заплывающий взгляд его неудержимо упал на откинутую правую ногу. Захохотав, он коснулся ее рукой. О нет, нет — теперь оргазма не было. Были прикосновения и затем — холодный далекий полет в душе. «Со мной ли моя Лилит?» — подумал он. И вдруг из глаз его покатились слезы, холодные, большие, как будто это были не слезы, а сгустки вывороченной души. За спиной уже хохотало и билось некое существо. Но белизна кожи на ноге по-прежнему сводила с ума. «Почему столько параллелей!? —

мелькнуло в его уме. — Но надо гасить, гасить!?». Сумасшедший, нездешний восторг колотился в его груди: глаза вылезали из орбит, словно навстречу новому преодоленному безумию. «Вот он — мир! Новый мир в оболочке безумия! Приди! Приди!» — закричал он, полу-лежа, посреди комнаты, поднимая вверх руки.

— Да, да, я хочу Ее видеть в иной форме, — пробормотал он. — В конце концов, я хочу переменить ситуацию... Сместить точки наших отношений.

Встал. В углу среди хаоса непереводимых предметов пылился телефон. Подошел. Нога, словно отъятая, не чувствовалась.

— Василий, Василий! — прокричал он в трубку. — Ты слышишь меня!?

Какое-то угрюмое, видимо позабытое тенями существо все подтверждало и подтверждало.

— Да, да... все будет... будет, — отвечало оно.

Савелий посмотрел на часы; стрелки ползли к часу ночи.

— Пора, пора, — спохватился он и, легкий, выбежал вон. «Больше моей ноги никто не будет касаться!! — думал Савелий в пути. — Не будет, не будет этого соединения... Этой тайны во мне... Она будет там, там... в небе!!»

Черная и покинутая людьми площадь. Редкие огни машин. Из видимых — никого нет. Только жалобно воют бесы. Вдруг появляется старый дребезжащий трамвай. Два вагона; в опустошенном свете... И Савелий бросается вперед, вытянув правую ногу... Час ночи... Гудки скорой помощи... Томное рыло Василия, врача... Скучный вой бесов.

Все произошло, как договорились. При выходе из больницы Савелию была вручена в большой белой простыне его любимая, но теперь уже высушенная нога. Сам он, естественно, был на костылях. Он принял ее в объятия, как своего и в то же время подкинутого Богом ребенка, и с помощью Нины Николаевны, соседки, спустился вниз. Василий хитро подмигивал ему и хлопал по плечу... И дни покатились с особенной яростью. Савелий быстро приспособился скакать на костылях. Как съеженный взлохмаченный сверхчеловек прыгал он мимо людей и автобусов куда-нибудь в булочную. Засушенная нога во всем ее виде висела в комнате на стене, но Савелий не решался ей поклоняться. Надо было найти истинные точки отношения. В голове его было совсем

оголенно, раздвинуто, как будто мысли окончательно отделились от подсознания и все иное тоже разошлось по сторонам, а в центре была пустота. Правда, довольно необычная и тревожная. Поэтому он часто кричал среди ночи, выбегая на улицу на костылях и грозя такому Простору.

События поворачивались не так, как он предполагал. Пробовал спать под ногой, на полу, как собачка. Но простор не давал покоя. «Нет мне места, нет мне места!» — кричал Савелий по долгому коридору, брошенному демонами.

Но место между тем было, и он чувствовал это внутри. Но нужно было уловить, уловить дух сместившейся бездны, и вступить в отношения с новой реальностью, которая когда-то была в нем, но ушла с потерей ноги, скрывшись где-то как невидимка и обретая, вероятно, новую подоснову.

И Савелий гоготал, бегая за тенями, которые, может быть, отражали то, что ему не следует знать. Костыли трещали от такой беготни. Странные, кровавые слезы выступали у него на глазах... Напряжение нарастало... Он уже не узнавал даже кошек, похожих на Анну Николаевну, соседку. Однажды к ночи он с нечеловеческой ловкостью выбежал на улицу. Окна домов были до того мертвы, точно их занавесил боженька. Нигде никого не было. Савелий поднял голубой взгляд вверх, к небу, вспоминая о луне. И застыл. Луны не было. Вместо луны в ореоле рваных блуждающих туч была нога — его нога, оторванная, обнаженная, такая же, какая была при жизни, во всей сладости, тайне и блеске... Как знак, что Бог есть... — О! — завопил Савелий и бросился... Туда... Первым отлетел костыль... Потом голова... Точно подкинутая какой-то неизъяснимой силой она, оторвавшись от туловища, сделала мягкий, плавный полет высоко над домами, чуть застыв над миром в лунном свете ноги. Савелию даже показалось, что его голова чуть улыбнулась ноге, когда покорно опускалась где-то там, за домами... Наконец, произошло уже нечто уму невообразимое... Но распавшиеся части Савелиного тела так и лежали до утра, пока их не подмели дворники. Из костыля дети сделали свойственный им пулемет.

А голову нашли на пустыре завшивленные черные ребята. Они с наслаждением гоняли ее, как мяч, играя в футбол под восторженные пьяные выкрики такой же странной толпы. Кто-то бросал в голову шляпы.



Однако, это не значит, что Савелий стал побежденным. Скорее всего это просто не имело отношения к делу. В конце концов голова — всего лишь голова.

Зато в комнате Савелия сразу же поселился новый жилец, который не только не сорвал засушенную ногу, но и стал ее охранять. Неумолимо, строго и от людей. И часто по ноге ползал невиданной окраски молодой жук, который с ненасекомым сладострастием копошил высушенную ногу, видимо получая от этого не скрытую прану, а то, от чего он исчезал...



СОДЕРЖАНИЕ:

РАННИЕ РАССКАЗЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ЗАКРЫТОЕ ЛИЦО



Юрий Мамлеев родился в 1931 году. В СССР не печатался, но его произведения широко распространялись в Самиздате. В 1975 г. он эмигрировал. До 1983 г. жил в США. Ныне живет в Париже. Рассказы Мамлеева переведены на ряд европейских языков. В 1980 г. в США вышла по-английски книга его прозы «Небо над адом» (роман и рассказы). По-русски небольшой сборник рассказов Ю. Мамлеева «Изнанка Гогена» выпустило в 1981 г. издательство «Третья волна». Его рассказы публиковались в журналах «Континент», «Новый журнал», Стрелец», «Третья волна», в альманахе «Аполлон-77».

В этом году в Париже по-французски вышел в свет роман Ю. Мамлеева «Шатун», который был высоко оценен ведущими парижскими литературными критиками.